Рут Вернер

ГОНГ ТОРГОВЦА ФАРФОРОМ




SHOUT
SHARE
IT

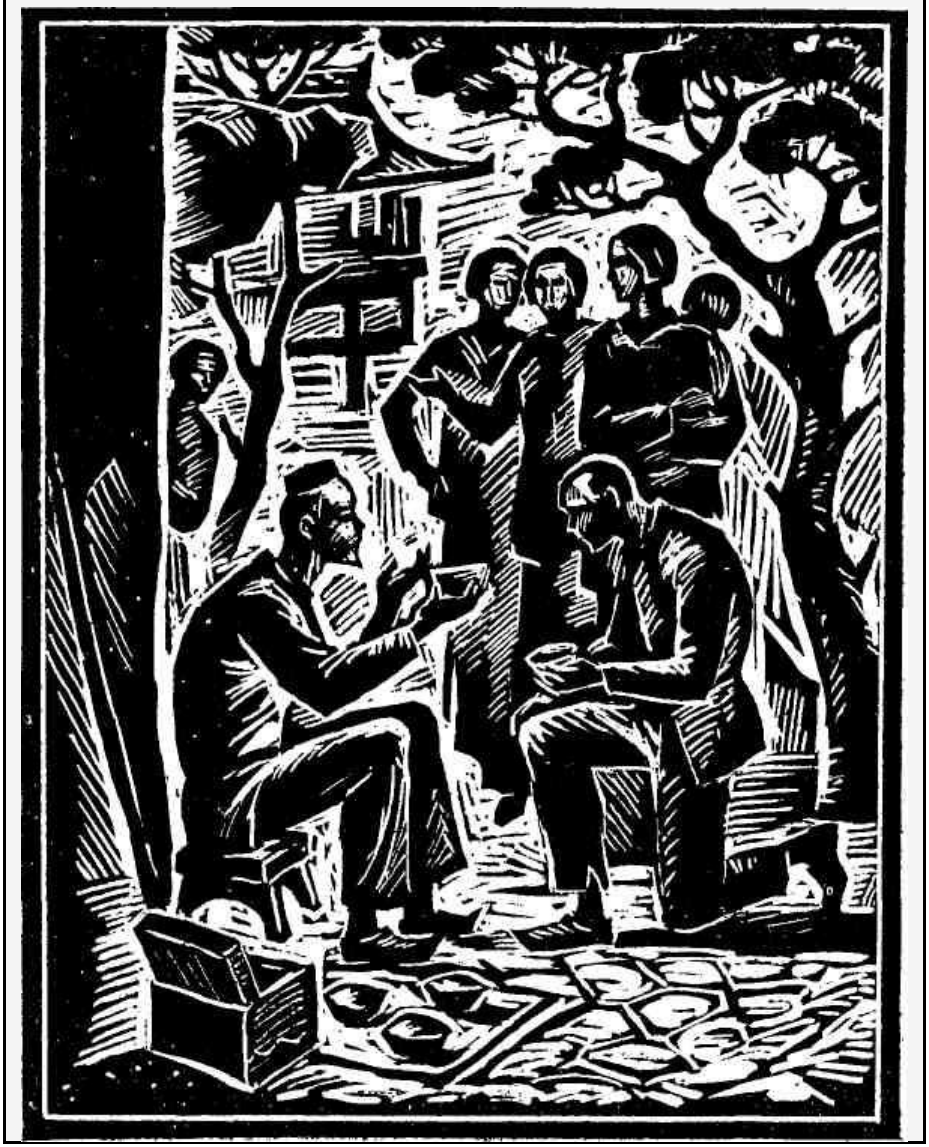
Annotation

В книгу лауреата Национальной премии ГДР Рут Вернер — в прошлом бесстрашной разведчицы-антифашистки, работавшей с Рихардом Зорге и Шандором Радо, а ныне известной писательницы ГДР — вошел сборник рассказов «Гонг торговца фарфором», в захватывающей художественной форме воспроизводящий эпизоды подпольной антифашистской борьбы, а также повести «В больнице» и «Летний день», написанные на материале повседневной жизни ГДР.

- Гонг торговца фарфором
  - ○
  - ○ БОЕЦ ОСОБОГО ФРОНТА
  - ○ ГОНГ ТОРГОВЦА ФАРФОРОМ
    - ■
    - ■ ГОНГ ТОРГОВЦА ФАРФОРОМ
    - ■ ВОСЬМЕРКА ЗАДНИМ ХОДОМ
    - ■ ТЕТЯ МЕЕЛЕ
  - ○ В БОЛЬНИЦЕ
  - ○ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
  - ○ 8
  - ○ 9
  - ○ 10
  - ○ 11
  - ○ 12
  - ○ 13

Гонг торговца фарфором





Рут Вернер

ГОНГ ТОРГОВЦА ФАРФОРОМ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

Перевод с немецкого

Москва
«Прогресс»
1981

БОЕЦ ОСОБОГО ФРОНТА

По улицам Данцига мчалась легковая машина; за рулем сидела стройная брюнетка, она сдавала экзамен на водительские, права, рядом находился инструктор, а сзади — экзаменатор, непрерывно командовавший, куда ехать. Эта вроде бы обычная ситуация была полна драматизма. Ведь в роли экзаменатора выступал нацист, жаждавший присоединения «вольного города» к гитлеровской Германии. В женщине за рулем он видел лишь представительницу ненавистной ему «низшей расы», провалить которую он должен во что бы то ни стало; героиня рассказа отлично сознает, что шансы на успех равны нулю, но отступать не в ее характере, и она принимает неравный бой. Битый час звучат раздраженные команды, вот уже не выдержали нервы у инструктора, «человека середины», гордящегося своей политической лояльностью; он бросает мужественную ученицу на произвол судьбы. И наконец-то первая незначительная погрешность. Без свидетелей этого вполне достаточно. «Вы не выдержали», — с облегчением рычит фашист. Женщина смотрит на него в упор, в ее взгляде ирония и презрение — «Что ты знаешь о выдержке!» Такой многозначительной сценой заканчивается рассказ «Восьмерка задним ходом».

Горе-экзаменатору было, разумеется, невдомек, что ехал он с Рут Вернер, закаленной в трудных испытаниях антифашисткой. И выдержки у нее хватило на сотни куда более серьезных испытаний. Не случайно в те дни она получила радостное известие: «Дорогая Соня! Народный комиссариат обороны постановил наградить Вас орденом Красного Знамени. Сердечно поздравляем Вас и желаем дальнейших успехов в работе. Директор». В те суровые годы такой высокой награды удостаивались немногие.

Псевдоним «Соня» для нее придумал сам Рихард Зорге, хорошо знавший ее по разведработе в Китае. Именно там в начале тридцатых годов отважная коммунистка вступила на трудный и рискованный путь разведчика. Словарь синонимов дает это слово в одном ряду с такими терминами, как «тайный агент», «шпион», «лазутчик», но мы давно, с детских лет, привыкли проводить различие между ними, придавая слову «разведчик» высокий романтический смысл. И право же, в том нет никакой натяжки, ведь в жизни и в литературе появился новый герой, резко противостоящий традиционным шпионам, которые за деньги или из других низменных побуждений рискуют головой, чтобы выведать государственную или военную тайну.

Новый герой опирался на передовое мировоззрение и был бескорыстным рыцарем идеи, во имя которой он готов пожертвовать радостями тихого семейного счастья, всеми благами спокойного существования и даже своей жизнью. Разведчики нового типа — в литературе (Штирлиц и др.) и в жизни (Зорге и др.) — выступали как убежденные противники войны и фашизма. Они видели в своей конспиративной деятельности выполнение партийного долга в особых условиях. Последовательные интернационалисты, они считали святым долгом защиту Советского Союза, надежного бастиона мира, и твердо верили в то, что мощь нашей страны спасет народы Европы от ненавистной чумы. В трудной и напряженной международной обстановке они стали бойцами особого фронта, существенным звеном разведки, которую по праву называют глазами и ушами армии.

Рут Вернер родилась в 1907 году в Берлине. Ее отец, известный экономист Рене Роберт Кучинский, не принадлежал к зажиточным слоям населения, и после окончания школы дочери пришлось пойти работать ученицей в книжный магазин юридической и общественно-политической литературы. В 1924 году Рут вступила в коммунистическую молодежную организацию, а еще через два года — в Коммунистическую партию Германии. С тех пор она неизменно считала партийную работу своим призванием. Вот почему Рут Вернер не побоялась стать «Соней», офицером разведки Красной Армии, и безотказно выполняла весьма рискованные задания, каждое из которых могло стоить ей головы или долголетнего тюремного заключения. С полным правом говорила она о себе, что является коммунистом не восемь часов в день, а вее двадцать четыре часа в сутки.

Друзья и знакомые в ГДР часто спрашивают Рут Вернер, не раскаивается ли она в том, что почти двадцать лет отдала опасному труду разведчика. «Я опять поступила бы точно так же, — отвечает писательница, — ведь огромная разница — пассивно терпеть фашизм или хоть что-то делать для его свержения. Сожалею лишь, что так поздно пришла в литературу. Сделай я это на двадцать лет раньше, годы практики, вероятно, дали бы мне возможность стать более зрелым автором».

Вернувшись в 1950 году в Берлин, «Соня» снова превратилась в Рут Вернер и приступила к работе в отделе печати ведомства информации, а затем перешла во Внешнеторговую палату ГДР. Еще в начале тридцатых годов Рут Вернер писала под различными псевдонимами для «Роте фане» и для нелегального китайского журнала «Поток», его редактировал известный прозаик Лу Синь, которого часто называли китайским Горьким. В

1953 году талантливая журналистка вновь берется за перо, ее брошюры — «Золотые руки», «Вокруг Лейпцигской ярмарки», «Всегда в пути» — и некоторые рассказы привлекли внимание такого взыскательного стилиста, как Франц Вайскопф. По его совету она оставляет работу, чтобы серьезно заняться литературной деятельностью.

За первый роман Рут Вернер принялась накануне своего пятидесятилетия, он вышел в 1958 году под названием «Необыкновенная девушка» и не раз переиздавался. Роман носит ярко выраженный автобиографический характер; его героиня — немецкая комсомолка, а затем коммунистка — отправляется в тридцатые годы вместе с мужем в Китай и принимает участие в политических событиях тех бурных лет. Живо написанная книга привлекла внимание широкой публики, и особенно молодых читателей. За ней последовал роман-биография о мужественной антифашистке Ольге Бенарио. Участница V Всемирного конгресса коммунистической молодежи в Москве (1928 г.), Ольга эмигрировала после прихода нацистов к власти в Латинскую Америку, однако правительство Бразилии выдало ее гестаповцам. Ольга попала в концлагерь Равенсбрюк, затем в другой немецкий лагерь смерти и в апреле 1942 года погибла в газовой камере, сохранив до конца стойкость и веру в победу правого дела. Успех романа «Ольга Бенарио. История мужественной жизни» (1961) перешагнул границы ГДР; его перевели на многие языки, в том числе и на русский. Тогда же пришло и первое официальное признание: писательнице присудили медаль имени Эриха Вайнерта. Окрыленная успехом, Рут Вернер обретает уверенность и создает книгу за книгой. В 1965 году появился роман «Через сотни гор», в нем автор поставил себе задачу показать, как после разгрома фашизма вырабатывалось новое сознание у трудящихся, зараженных нацистской идеологией. Не все удалось в изображении столь сложной проблемы, так, например, процесс «перековки» Урты Ленерт, главного персонажа романа, зависит подчас от случайных или особенно благоприятных обстоятельств и выглядит поэтому не всегда убедительно. Но в целом книга стала заметным явлением в литературе 60-х годов. Затем отдельными изданиями вышли повести «Летний день» (1966) и «В больнице» (1969), в обеих — особенно в первой — Рут Вернер сумела найти интересные краски и нюансы в изображении повседневной жизни ГДР. Современные проблемы настолько увлекли писательницу, что в новом романе, «Рыбы мелкие — рыбы крупные» (1973), она решила более обстоятельно показать сложность этих проблем и в сфере общественного, и в сфере личного.

Названные произведения, безусловно, укрепили авторитет Рут Вернер в писательской среде, принесли ей популярность в широких кругах читателей, но шумная и заслуженная слава пришла к ней вместе с книгами «Гонг торговца фарфором» (1976) и «Донесения Сони» (1977)[1]. Не удивительно, что за них автору присудили Национальную премию I степени. Особенно высоких тиражей достигли мемуары о «Соне». Читатели уже хорошо знали писательницу Рут Вернер, теперь они познакомились с отважной разведчицей, которая заслужила высокое звание майора и дважды была награждена орденом Красного Знамени (второй раз в 1969 г.). Обратившись к жанру мемуарной литературы, Рут Вернер подчеркивает трудности, стоящие перед каждым, кто хочет поделиться воспоминаниями, и указывает в своеобразном эпиграфе, что строила повествование так, чтобы с чистой совестью поведать правду о грозных событиях минувших дней. Она широко использовала свою переписку с родителями, с друзьями, другие достоверные материалы, это усилило правдивость ее бесхитростного рассказа и сделало «Донесения Сони» одним из замечательных образцов документальной прозы ГДР.

Книга Рут Вернер выдержана в подчеркнуто безыскусной манере; автор с предельным лаконизмом фиксирует в ней подчас весьма волнующие события. Герман Кант, высоко оценивший достоинства этой книги, счел ее лаконичность удачно найденным художественным приемом, во многом обусловившим успех произведения у широких читательских масс. Такой фактор успеха, разумеется, нельзя недооценивать, тем более что речь в данном случае идет о книге, по сути дела, политической. Написанная без громких фраз, без расхожих шаблонов и лозунгов, она располагала к себе читательские сердца своей естественностью, отсутствием стремления во что бы то ни стало поразить воображение человека, не искушенного в хитросплетениях разведслужбы, хотя такие возможности у Рут Вернер имелись в изобилии. Ведь мало кому выпало счастье работать с легендарным Рамзаем (псевдоним Рихарда Зорге), учиться в Москве, а затем исколесить Китай, Маньчжурию и многие страны Западной Европы. Лаконичность повествования порождена здесь привычной немногословностью разведдонесений, лаконизмом, присущим самой разведывательной деятельности.

Другим слагаемым успеха явилась предельная честность «Донесений Сони»: автор не прихорашивается перед читателем, он ведет подробный рассказ о буднях разведки, причем ведет его правдиво и самокритично. Нередко можно прочесть признания

вроде следующих: «Было легкомысленно передавать в двадцать два часа тридцать минут информацию по азбуке Морзе из комнаты отеля, полного гостей»; «Стоило нам приступить к опробованию аппаратуры на новом месте, как выяснилось, что сильный гул глушит и передачу, и прием. Оказалось, что поблизости находится электростанция. Я должна была бы подумать об этом…»; «Сейчас мне кажется, что я тогда допустила ошибку и действовала в Данциге весьма легкомысленно» и т. п.[2]. Подобная честность и самокритичность, безусловно, импонировали тем читателям, кто в избытке насытился героями без изъяна, образцовыми с головы до пят.

При всей четко выраженной идейной и профессиональной направленности «Донесениям Сони» присущ также элемент личного, глубоко интимного. Да и как могло быть иначе! Ведь перед нами женщина-разведчик, она сумеет перехитрить противника, но не в силах обмануть свою природу. И то, что «Соня» не пытается подавить в себе женское и материнское начало, делает образ автора очень человечным и симпатичным. Ведь и у разведчицы сердце не «железное», а полюбить ему было суждено трижды, и даже в трудных испытаниях оно полно материнской ласки к трем своим равно любимым детям. Возить с собой малышей из страны в страну, с места на место, каждый раз навстречу новой опасности, переносить разлуки, свидания и снова разлуки — такое под силу не каждому. И «Соню» не раз охватывали страх и отчаяние; беспокойство за судьбу детей давило тяжким грузом, но поступить иначе она не могла. Цельность ее позиции в решении проблем общественных и личных, разумеется, вызывала восхищение большинства читателей.

Любопытно, что необычный успех «Донесений Сони» вызвал в ГДР дискуссию о том, можно ли причислить мемуары Рут Вернер к произведениям художественной литературы. Масло в огонь подлила сама писательница, заявив, что взялась за перо в ответ на призыв партии к ветеранам написать воспоминания о себе и о минувших боях. В одном из интервью она сказала: «Я не считала «Донесения Сони» художественной литературой, так как здесь только факты и нет художественных образов. Разумеется, меня радует, если другие смотрят на мою книгу как на художественное произведение»[3].

Эта дискуссия примечательна потому, что во второй половине XX века в разных странах вышло немало книг, стоящих где-то на грани мемуарной и чисто художественной литературы. «Донесения Сони», безусловно, одно из таких произведений. С одной стороны, Рут Вернер воспроизводит в основном лишь то,

что видела своими глазами, подкрепляя некоторые факты документально. Она сознательно ограничивает повествование своим полем зрения, отказывается от вымышленных и эффектных сюжетных ходов. С другой стороны, рассказ все время ведется от первого лица, и обаяние личности автора, его духовный мир, энергичность действий, принципиальность позиции создают привлекательный образ рассказчика, который сам по себе мог бы конкурировать с литературным героем какого-нибудь романа об офицере разведки. А некоторые эпизоды и ситуации, о которых бесхитростно поведал автор мемуаров, по живости и занимательности соперничают с фантазией художника. Все это позволяет лучше понять успех «Донесений Сони» у немецких читателей, успех поистине массовый, редко выпадающий на долю мемуарной литературы.

Сборник рассказов «Гонг торговца фарфором» вышел на год раньше, чем «Донесения Сони»; целый ряд моментов роднит обе книги. Сборник «Гонг торговца фарфором» также стал бестселлером, и многие читатели, в том числе автор этих строк, оказывают ему предпочтение. Все три рассказа, входящие в книгу, автобиографичны, тематически связаны и объединены центральным образом отважной, разведчицы. Перед читателем проходит три периода ее бурной жизни, причем «связующие партии» отсутствуют, и это обстоятельство придает каждому из рассказов вполне самостоятельный характер. Рут Вернер создала в них живые запоминающиеся образы, прототипами которых явились многие соратники и противники разведчицы Сони.

Писательница в меру беллетризовала повествование, она не старалась удивить читателя элементами детектива, не стремилась искусственно нагнетать напряжение (запеленгуют или не запеленгуют, поймают или не поймают?!). В отличие от многих коллег по перу Рут Вернер не боится показать будни многотрудной жизни разведчиков, в которой «ничто человеческое им не чуждо». Не скрывая слабостей своих соратников, Рут Вернер снимает с них тем самым налет исключительности и делает их белее жизненными. «По собственному опыту, — пишет она, — я знаю, что любой герой в повседневной жизни бывает самым обычным человеком». Так, уже я первом рассказе (название его взято в качестве заголовка для сборника) сцены любви и ревности, мечты о личном счастье врываются в повествование именно в момент выполнения рискованного и ответственного задания (связь с маньчжурскими партизанами, выступающими против японских интервентов, и передача материала в «Центр»), когда, казалось бы, сознание грозящей беды и ответственности могли заглушить все другие чувства.

Вместе с тем разведчики трезво оценивали опасность своей работал «Поездки по железной дороге с взрывчаткой в багаже, встречи с партизанами — все это было сопряжено с риском. Как же мы жили в постоянной опасности? Сравнительно спокойно, без особой нервотрепки, хотя, обнаружь японцы ваши связи с партизанами, смертная казнь нам была бы обеспечена. Источником хладнокровия, несомненно, были мировоззрение и убежденность, что каждый наш шаг служит правому делу. Но мы редко облекали свои мысли в столь высокие словеса. Будничной жизни высокопарность не свойственна. Если живешь в постоянной опасности, у тебя только две возможности — привыкнуть или свихнуться. Мы привыкли».

Они привыкли держаться как европейцы-коммерсанты, за которых они себя выдавали, но старались избегать лишних расходов. («Профессиональным революционерам не к лицу чересчур обременять фонд международной солидарности».) Они привыкли отыскивать условные знаки, вырезанные на деревьях, привыкли к жуткой таинственности ночного кладбища — места встречи со связными партизанских отрядов, привыкли сами делать взрывчатку в чинить передатчик. И только к одному привыкнуть было невозможно: «…к зрелищу людских страданий в этой стране, а страдания детей особенно брали за душу».

Рассказ «Гонг торговца фарфором» читается с неослабевающим интересом. Надо отметить, что писательница умело драматизирует повествование во всех трех рассказах. Драматизация достигается тут, в частности, введением в произведение четко выраженного «гегеншпилера» (то есть образа противодействующего). У Рут Вернер это вовсе не традиционный отрицательный герой (такой встречается лишь в «Восьмерке задним ходом»), а свой, надежный товарищ, иногда даже испытанный соратник, в чем-то хороший, в чем-то плохой. Таким «гегеншпилером» в рассказе «Гонг торговца фарфором» является Арне, человек решительный и отважный, по-мужски привлекательный, но и вместе с тем не чуждый элементов анархизма, сектантства, а впоследствии левацких перегибов. Прототипом Арне послужил профессиональный разведчик, бывший моряк Эрнст Отто. Почти полтора года Рут Вернер работала с ним в Мукдене, именно здесь между ними возникла трудная любовь, с острыми конфликтами, с горькими и радостными минутами. Разлука пришла, как всегда у разведчиков, неожиданно; приняв очередную радиограмму, героиня рассказа прочла: «Выезжай с вещами в Шанхай. Арне получит нового помощника». Они встретились через тридцать лет.

В рассказе «Восьмерка задним ходом» перед нами другой участок того особого фронта, которому Рут Вернер посвятила лучшие годы своей жизни. И здесь повествование ведется от первого лица, в основу его положен эпизод в Данциге, когда героиня рассказа сдавала экзамен на водительские права. Тут в роли «гегеншпилера» выступает данцигский чиновник, «обыкновенный» фашист, с нетерпением ждущий часа, когда в Данциге будет установлен так называемый «новый порядок». Может показаться удивительным, что из всей польско-данцигской эпопеи разведчицы Сони писательница Рут Вернер отобрала лишь один и довольно безобидный эпизод. Думается, что причину этого следует искать в скромности и самокритичности автора, ведь в мемуарах записано: «Я считала, что делаю в Польше слишком мало, и поэтому была рада, когда год спустя, в июне 1938 года нас отозвали»[4]. Такое высказывание полностью в духе основной позиции Рут Вернер, чурающейся хвалебных самооценок. В вышеупомянутом интервью она, в частности, сказала: «Они (читатели. — *В. Д.*) уже знали меня как писательницу; после выхода «Донесений Сони» они видят во мне героя, но никто не может требовать, чтобы *я сама* видела в себе героя».

В этом небольшом по объему рассказе мы встретим интересный мотив, тесно связанный с «дуэлью», состоявшейся в автомобиле. Ведь «секундантом» в ней был «человек середины», вполне порядочный бюргер. Перед ним фашист пока еще был обязан изображать справедливость, а еле слышные подсказки опытного инструктора и его дружеское участие служили поддержкой женщине за рулем. И вдруг — в критический момент — попутчик позорно спасовал и трусливо бежал с поля боя. Вся сцена воспринимается как притча о тех демократах-«попутчиках», чье капитулянтство расчищало фашистам путь к власти, она вносит новое звучание в творчество Рут Вернер. К счастью для разведчицы, ее окружали другие люди; виселица или долгие годы тюрьмы выпали на долю многих из них. «Судьба остальных, — пишет Рут Вернер, — мне неизвестна, но я точно знаю, что никто из них не предал своих товарищей, вот почему я живу на свете и могу записать эту историю».

С наиболее сложным «гегеншпилером» мы встречаемся в рассказе «Тетя Мееле», завершающем сборник. В нем повествуется о швейцарском периоде разведывательной деятельности отважной «Сони». Теперь ее работа была направлена непосредственно против нацистской Германии. В горах французской Швейцарии она сняла небольшой дом на холме и въехала в него вместе с двумя детьми. («Дети всюду были со мной, где бы я ни работала. Я всегда старалась окружить их

теплом и уютом — ведь они были лишены родины».) Вместе с ними в эту крестьянскую усадебку въехала тетушка Мееле, которая взяла на себя ведение хозяйства и уход за детьми. Прототипом колоритного образа явилась Ольга Мут, няня в семье Кучинских; малыши прозвали ее Олло. Она пришла к ним за несколько лет до первой мировой войны, прочно вросла в жизнь чужой семьи и стала в ней своим человеком. Когда Кучинские эмигрировали в Англию, Олло не выдержала разлуки и вскоре последовала за ними. Потом она в качестве няни поехала с Рут Вернер в Польшу, а теперь помогала ей в Швейцарии. И вот женщина, всю жизнь нянчившая чужих детей, любившая их как своих собственных, которых у нее никогда не было, неожиданно превратилась в предательницу. Воистину удар в спину! К тому же его нанесли в труднейший момент — началась вторая мировая война. Писательнице удалось психологически убедительно раскрыть мотивы предательства в общем-то вполне приличного человека и правдиво передать трагизм возникшей ситуации. Впрочем, не сомневаюсь, что Рут Вернер сочла бы это тоже «высокими словесами», никакой трагичности она бы тут не усмотрела: такой была ее жизнь, жизнь человека с высокоразвитым чувством долга. «Ночью мы выкопали рацию, в последний раз я работала здесь. Через несколько дней я выйду в эфир уже на новом месте. Мы решили не делать долгого перерыва. Шла война, и мы обязаны были рискнуть, несмотря на возможные последствия предательства Мееле». Отвага и умение предельно мобилизоваться в нужный момент — характерные повседневные качества бойца особого фронта и в военное и в мирное время. В «Гонге торговца фарфором» автор пишет: «Откуда ему знать, что я плохо себя чувствую? Впрочем, разве можно не выполнить задание только потому, что чуть с ума не сходишь от боли и усталости, — такая мысль нам бы и в голову не пришла». Вот естественный ход рассуждений разведчика; ведь не случайно маршал Советского Союза А. М. Василевский отметил, что разведчик «…первый боец в цепи воюющих…»[5].

Итак, все три рассказа повествуют о совсем различных людях, о разных событиях — и все-таки об одном и том же: о трудных буднях напряженной и рискованной разведывательной работы. То, что долгие годы, словно в тайнике, хранилось в душе писательницы, выплеснулось в ее рассказах — искренне, страстно и очень достоверно. Ведь недаром сказал поэт: «Разведчик может век молчать, но он и дня забыть не может».

Книга, предлагаемая вниманию наших читателей, дополнена повестями «В больнице» и «Летний день», о них говорилось выше. Подчеркивая автобиографичность «Летнего дня», Рут Вернер

сказала: «Мы до сих пор ездим в те места, на лоно природы, уже тридцать лет подряд. Раньше мы выезжали с тремя детьми, потом без старшего, затем и без дочери; наконец и младший перестал участвовать в поездках, все выросли. Тут меня одолела сентиментальность, и я написала эту повесть». Некоторые критики упрекали автора в чрезмерной идилличности «Летнего дня». Думается, что для подобных упреков оснований нет. В удивительной гармонии семейных отношений, в картинах слияния человека с природой проявился естественный и устойчивый оптимизм Рут Вернер, которая охотно признается в том, что ее жизнерадостность «почти автоматически» проявляется в ее книгах. Не закрывая глаза на трудности, писательница отчетливо видит перспективу развития социалистической Германии и уверена в ее будущем.

Рут Вернер по-прежнему активно участвует в общественной жизни страны, считая это логическим продолжением своей прежней деятельности. Не случайно с трибуны VIII съезда писателей ГДР она бросила яркую метафору: «Писатели ведь тоже разведчики».

В. Девекин

ГОНГ ТОРГОВЦА ФАРФОРОМ
Рассказы



DER GONG DES PORZELLANHÄNDLERS
DREI ERZÄHLUNGEN
© Verlag Neues Leben, Berlin 1976

Редакторы *А. Гугнин, И. Ошанина*

ГОНГ ТОРГОВЦА ФАРФОРОМ

«Синяя звезда» — так называлась пражская гостиница, в которой я снимала комнату. Находилась она неподалеку от Пороховой башни. В тревожном волнении я вышла на улицу, быстро миновала большой универсальный магазин и очутилась на набережной Влтавы. Этот мартовский день 1934 года был необычайно холодным. Голые ветви деревьев заиндевели, над рекой плыли клочья тумана, поднимались вверх, редели, таяли под напором ветра, словно тонкая паутина, открывая вид на Карлов мост, холмы и Град. Редкой красоты зрелище, но любовалась я им недолго, секунда-другая — и в мозгу снова закружились беспокойные мысли.

Мне доверено задание, которое на несколько лет вперед определит мое будущее. Нужно выехать в Маньчжурию и попробовать закрепиться там надолго, лучше всего в Фыньяне. Беседовал со мной товарищ Карл. Мы были знакомы не первый год, но я понятия не имела, кто он по национальности — венгр, чех, румын? Много говорить ему не пришлось, я отлично представляла себе, что́ значит работать с китайскими партизанами в оккупированной японцами Маньчжурии.

Согласилась я не раздумывая, но хвалить меня не за что — для профессионального революционера все решает дисциплина. О своем быстром согласии я упомянула по одной простой причине: дело в том, что остальные пункты задания вызвали у меня тревогу и даже внутреннее сопротивление.

«Ты поедешь не одна, с тобой будет еще один товарищ. Он отвечает за вас обоих, и ему очень на руку, что ты уже знаешь Китай. Кстати, вам лучше всего ехать под видом супружеской пары».

Ну, уж этого-то вполне можно избежать. Отправиться на край света с незнакомым человеком, жить там, рассчитывая только на себя и на него, — и без брачных уз проблем хватит.

«Не смотри на меня так испуганно. Арне — хороший партийный товарищ. Ему двадцать девять лет, общий язык вы найдете. Дело, конечно, ваше, можете не жениться, но хоть притворитесь, что вы вместе, для тебя это наилучшее прикрытие. Он поселится в Фыньяне под видом коммерсанта, и тут ты опять-таки должна ему помочь. По профессии-то он моряк».

«Если я найду другой́ способ легализоваться, вы не будете возражать?»

«На месте разберетесь».

«А вдруг ничего не выйдет? Может ведь оказаться, что мы

вообще не…»

«Задание очень важное. С плохим человеком я бы тебя не посылал, сама знаешь. Завтра я вас познакомлю».

И вот завтра наступило. Через час встреча с незнакомцем. Моряк, тремя годами старше меня. Даже узнай я о нем больше — что толку? Есть тысячи возможностей отравить друг другу жизнь и ни одной — расстаться.

«Хороший партийный товарищ». Я уже не до такой степени наивна, чтобы только поэтому считать его хорошим человеком. Кстати, я давно отучила себя делить людей на хороших и плохих, хотя порой мне до смерти этого хотелось — ведь так проще жить.

Оставалось надеяться хотя бы на то, что хороших качеств у этого моряка все-таки больше, но и тогда нет уверенности, что мы поладим. Иные хорошие люди до такой степени действовали мне на нервы, что я с трудом выдерживала их даже в течение часа. Особенно я не терпела педантов, хвастунов, зануд и субъектов толстокожих, лишенных чувства юмора. Но с другой стороны, порядком наберется людей, которым действую на нервы я, — вот вам и вторая опасность.

Моряк — это неплохо. С такой профессией и по свету поездишь, и опыта наберешься, и за себя постоять сумеешь.

Что касается работы, я подчинюсь ему только в том случае, если он докажет свое умение руководить. А вдруг он упрям, себялюбив, мелочен или вспыльчив? Думай не думай, толку чуть: пусть даже мы друг другу несимпатичны, ладить все равно придется, и я уже догадывалась, какие меня ждут мучения.

На обратном пути я заметила в витрине универсального магазина детскую меховую шапочку и, мгновенно забыв о моряке, опять повеселела. На целых восемь месяцев работа разлучила меня с сынишкой, но очень скоро мы опять будем вместе и уже не расстанемся. Зимы в Маньчжурии суровые, и теплая шапочка будет не лишней. С каким удовольствием я впервые за все это время снова покупала детскую вещицу! Конечно, разумнее было бы дождаться приезда сына и сперва примерить шапочку, но нам и без того так часто приходилось сохранять благоразумие! Я шла с незавернутой шапочкой в руке, воображая, как надену ее на Франка, видела черный мех, светлые волосы мальчугана, голубые глаза, нежную кожу.

У меня даже голова кружилась от волнения, пока я ждала встречи с незнакомцем на квартире одного из товарищей. Хозяина дома не было, ключ мне передали накануне. Повесив пальто на вешалку, я прошла в нетопленую гостиную. Ждать пришлось недолго. Скрипнула входная дверь, послышались мужские голоса, в комнату постучали — и вошел Карл в

сопровождении моряка.

— Это Арне. А это твоя помощница. Знакомьтесь. Оставляю вас одних.

Я никак не ожидала, что Карл уйдет так скоро. Едва мы успели поздороваться, как он уже исчез. Мои холодные пальцы ощутили тепло чужой руки, я увидела светлые волосы, высокий крутой лоб — слишком большой для такого лица, — выступающие скулы, голубовато-зеленые глаза с узким четким разрезом.

Короткое рукопожатие. Мой взгляд скользнул к окну: пусть он начнет первым.

— Ты вся дрожишь. Замерзла?

Я не успела ответить, а он уже снял пальто и набросил мне на плечи — полы свесились чуть не до земли. Пальто было тяжелое, но мне вдруг почему-то стало легко-легко.

Мы заговорили о будущей работе. В первую очередь его интересовало, какие у меня навыки в обращении с рацией и умею ли я сама собрать радиопередатчик. Быстро выяснилось, что он понимает в этом куда больше меня. Ведь училась я в Китае, притом очень недолго, но он-то об этом не знал. Беседа текла вяло. Арне был немногословен, а я выжидала.

— Эта шапочка, которую ты комкаешь, — сказал он после долгого молчания, — она тебе не мала? По-моему, размер явно не твой.

— А это вовсе и не моя. Она для сына.

Он изумленно воззрился на меня.

— Для… для… У тебя есть сын?

— А ты не знал?

Он отрицательно покачал головой.

Я же просила сказать ему. Почему этого не сделали?

— Франку три года. Он поедет со мной.

Ну, сейчас начнется: подумала ли я о том, что ребенок свяжет меня по рукам и ногам, что женщине с ребенком опасности не по плечу, разве не лучше…

Тогда я скажу: да, без ребенка лучше, поговори с товарищем Карлом, пусть подыщет тебе другую помощницу.

Но Арне смотрел на меня и молчал.

— Ты что, против? — спросила я.

— Почему? — впервые улыбнулся он. — Куда же нам без юной смены?

Не помню, о чем мы еще говорили. Помню только, я отчаянно старалась держаться бойко и решительно, ведь мало того, что Арне заметил мою нетвердость в радиотехнике, так тут еще и ребенок. Пусть знает, товарищ — человек выносливый и дело свое

сделает, несмотря ни на что.

Решено было ближайшим рейсом выехать из Триеста в Шанхай, причем у попутчиков необходимо создать впечатление, что познакомились мы только на пароходе. На следующий день, после обеда, мы встретились еще раз, чтобы обсудить кое-какие детали. Каково же было мое удивление, когда Арне предложил вечером сходить в кино. Из трамвая, по дороге на явку в районе Вршовице, я заметила афишу какого-то французского фильма. Мне бросилось в глаза название кинотеатра — «Пилот». Пойти с Арне в кино здесь, в пригороде, — не слишком уж серьезное нарушение правил конспирации, и я порадовалась маленькому развлечению. Завтра я увижу сына, друзья привезут его из Германии. Разве в такую ночь уснешь?

Разлуку с Франком я переносила с огромным трудом. Жгучая тоска по сыну рождала во мне неудержимую тягу к другим детям. Склоняясь у магазина над чужой коляской, я прекрасно понимала женщин, которые крадут детей, чтобы ухаживать за ними, кормить, нянчить. Я провожала взглядом ребятишек постарше, шла за ними — только бы услышать их звонкие голоса. Долгих восемь месяцев Франк рос вдали от меня — это время безвозвратно ушло в прошлое и утрачено навсегда.

Встретились мы с Арне у кинотеатра, который внешне ничем не напоминал о пилотах. Ступеньки вели вниз, в маленький душный зальчик с жесткими стульями. Французский фильм «La maternelle» — «Материнское чувство» — рассказывал о судьбах приютских детей. Знала бы я, что со мной сделает этот фильм, ни за что не пошла бы с Арне в кино. Через каких-то десять минут по моим щекам неудержимо покатились слезы. Только бы Арне не увидел! Я боялся пошевельнуться и ругала себя за слабость, но что толку — слезы текли и текли. Вцепившись в подлокотники, я беззвучно сглатывала подступавший к горлу комок и ждала, пока двести сорок дней тоски наконец выльются слезами.

Дети играли превосходно, и сюжет был ужасно трогательный, так что даже зрители, у которых не было особых причин плакать, сидели с повлажневшими глазами. Арне повернулся и увидел, что я вся в слезах.

— Вообще-то я не такая… — с трудом выдавила я.

Он обнял меня за плечи.

— Я рад, что ты такая.

В Триест Арне выехал раньше меня.

Увидев сына, я в первую минуту остолбенела. Лишний пример тому, как неожиданно порой развиваются события, которых ждешь с огромным нетерпением. Чужой маленький

мальчик, и я для него тоже чужая. Стоим и смотрим друг на друга. Вместо того чтобы поздороваться, он вдруг закатился долгим тягучим кашлем, даже личико посинело. Коклюш. Три недели плавания и смена климата пойдут ему на пользу. Да и сама я решила отдохнуть после долгих месяцев тяжкого труда.

На пароходе я в первый же день разговорилась с попутчиками, ведь должна же я была сказать другим матерям, чтобы они не подпускали своих детей к Франку. Родители благодарили за предупреждение и наперебой давали советы, как лечить коклюш. Даже отцы не остались равнодушными. С Арне мы пока были «незнакомы». Он мало с кем разговаривал, наблюдал за мной и как будто не одобрял моих поступков. «Официальное знакомство» состоялось на третий день путешествия: если б не Арне, мячик Франка скатился бы за борт. С этой минуты мы почти не расставались, и объяснять ничего не понадобилось: «пароходные романы» были столь же в порядке вещей, как и курортные.

Франка пришлось изолировать от других детей, поэтому он отнимал у меня массу времени. В тридцатый раз прочитав вслух книжку с картинками, я принялась рассказывать истории собственного сочинения. Арне нередко бывал при этом, тоже слушал и как-то раз заметил с улыбкой, а улыбался он нечасто:

— Ты хорошая мать.

Похвала меня обрадовала.

Вечером, уложив Франка спать, я сидела возле него, пока не унимались приступы кашля. Арне в это время был на палубе: у него не хватало сил смотреть, как ребенок задыхается и ловит ртом воздух. Но сам Франк не придавал значения своей болезни. Едва кашель прекращался, мальчик, как все дети его возраста, вновь сыпал сотнями «почему?», приводя нас обоих в восторг.

День ото дня теплело. Вечерами мы час-другой проводили на палубе под звездным небом, облокотившись о поручни, глядели на море, молчали или тихонько рассказывали друг другу о своих столь непохожих жизнях, которые сделали нас единомышленниками. Порой я вспоминала Китай и рассуждала о том, что ожидает нас в Фыньяне. Никогда не забуду, с каким безграничным уважением Арне говорил о своей матери. Сколько же довелось вытерпеть этой самоотверженной рыбачке, воспитывая четверых детей при частенько пьяном, жестоком и грубом муже! Дети должны вырасти хорошими, честными людьми — ради этого она сносила унижения, жертвовала всем, боролась с нуждой, трудилась не покладая рук, Арне — старший из сыновей, но в свои пятнадцать лет еще послабее отца — вступился за мать, когда отец спьяну набросился на нее с

кулаками. Отец вышвырнул мальчика из дому, тогда-то Арне и нанялся юнгой на корабль.

Все бы ничего, если бы от игр с Франком к мирным вечерам на палубе вела прямая, гладкая дорожка, но днем у нас случались и конфликты, из-за которых хорошие вечера выдавались все реже.

Мы условились во время плавания не говорить о работе, но изо дня в день после завтрака Арне упорно спрашивал:

— Повторила?

На первых порах я отвечала утвердительно. Речь шла о радиокоде, который я выучила наизусть и ни под каким видом не должна забывать, а также о подробностях моих встреч с руководителями китайских партизан, сражавшихся в Маньчжурии с японскими оккупантами. Когда Арне задал тот же вопрос в четвертый раз, я попросила его прекратить, ведь в конце концов на меня и так можно положиться. Нет, возразил он, мы, мол, еще недостаточно знаем друг друга, а ежели что, отвечать придется ему.

Не кипятись, пусть спрашивает, думала я, но завтракала с тех пор без всякого аппетита.

Потом, глядя, как Арне с Франком строят домики и мосты, я забывала о своей досаде.

Утренние часы мы вместе со всеми пассажирами проводили на палубе, в шезлонгах. Арне взял в дорогу том Гегеля. Провозить марксистскую литературу, естественно, было нельзя. Если Арне нервничал или плохо понимал какое-нибудь место, он прищуривал глаза, и губы его кривились. Да чего же долго он читал одну страницу, не пропуская ни строчки, ни слова. В эти минуты я всей душой было с ним. Мне виделся кубрик и молодой матрос, впервые в жизни читающий Маркса и Ленина, причем совершенно самостоятельно! Он с отчаянием глядел на иностранные слова, на длинные, сложные фразы — сколько с ними приходилось сражаться, чтобы они наконец подчинились и обрели четкий, ясный смысл.

Теперь он просил меня растолковать сложные места в гегелевской «Науке логики».

— Ты ведь кончила школу, и отец у тебя профессор, небось сумеешь.

— Я Гегеля не читала.

— Заодно и почитаешь. Кстати, что ты знаешь о нем?

— Тебе от этого мало толку. Знаю, что отправной точкой для него послужили обычные в то время метафизические представления. Но он рассматривал явления уже не по отдельности, не изолированно, а пришел к выводу, что они

взаимосвязаны, развиваются и подвержены изменениям. Это уже была диалектика, что для той эпохи весьма удивительно. Тем не менее он остался идеалистом и считал тогдашние порядки вполне закономерными… Только почему я должна над ним корпеть, если Маркс объяснил все куда правильнее, не говоря уже о Ленине.

Но Арне уперся на своем и заставил меня читать Гегеля. Некоторые разделы я схватывала быстро. Арне, судя по всему, злило, что я так легко усваиваю новое, а еще больше ему досаждало, что я нисколько не переживаю, не сумев разобраться в каком-нибудь разделе.

— Тебе куда легче моего, но ты не хочешь напрягаться, пробежалась по верхам — и ладно. Я бы постыдился на твоем месте.

Он требовал, чтобы я еще раз прочла и обдумала непонятное. А я возмущенно отказывалась: прилежания у меня хоть отбавляй, только почему надо тратить его непременно на Гегеля и непременно сейчас, во время плавания? К тому же, говорила я, нам обоим не хватает подготовки, чтобы до конца уловить сложный ход мысли автора, на одной силе воли тут далеко не уедешь. Я сердилась па Арне, на его придирки и в то же время восхищалась основательностью, с какой *он* брался за дело. Только благодаря его упорству я целых две недели подряд корпела над Гегелем.

Мы лежали на палубе и загорали. К моему удовольствию, один из попутчиков, с которым Арне уговорился поиграть в карты, прервал наши чтения. Арне затушил наполовину выкуренную сигарету и сунул чинарик за ухо. Его знакомый ничего не заметил, провожая взглядом двух хорошеньких девушек. Воспользовавшись случаем, я шепнула:

— Выбрось сигарету.

Арне свирепо посмотрел на меня и швырнул окурок за борт, а я отлично знала, чем все это кончится, ведь не первый раз обращала его внимание на такие вещи.

— Это мелочи, и мне лично все равно, но ты же собираешься легализоваться и должен уметь вести себя как настоящий буржуй, — твердила я.

Он соглашался, но злиться не переставал.

На сей раз он весь день со мной не разговаривал. Чтобы доставить ему удовольствие, я читала Гегеля, порой откладывала книгу и задавала вопросы, больше ради примирения, а не ради самого вопроса. Все напрасно, Арне не реагировал.

В тот вечер на пароходе устроили праздник. Незадолго до начала Арне объявил:

— Я не пойду, а то, чего доброго, опять тебя опозорю.

Как же так, думала я, нам поручено важное дело, на судне мы единственные коммунисты, оба знаем, что нам еще долго жить бок о бок, и ссоримся из-за таких пустяков.

Я решила пойти на праздник вместе с молодой женщиной, которая путешествовала одна.

Неподалеку от нас сидел тщеславный и заносчивый француз, чьи выходки не раз возмущали меня. Вот и сейчас, желая заказать выпивку, он подзывал стюарда громким свистом. Я повернулась и сказала на ломаном французском:

— Как вам не стыдно! Надеюсь, вас не обслужат.

В зале стало тихо, все озирались по сторонам, за столиками шушукались. Заказ у него никто не принял.

Едва начались танцы, меня пригласил итальянский морской офицер и тотчас сказал:

— Как вы осадили этого пассажира! Спасибо.

Офицер производил впечатление человека неглупого и образованного. Мы говорили о книгах, он читал Барбюса и Ромена Роллана. Мой скверный французский — из вежливости он именовал его «оригинальным» — доставил ему немало веселых минут.

— Муссолини — фу! — сказал он тихонько во время второго танца и сделал вид, будто плюет.

Во время третьего танца он попросил разрешения задать мне один вопрос, только я не должна сердиться:

— Вы, наверно, целовали уже многих мужчин?

Рано или поздно этим должно было кончиться, хотя он и читал Барбюса, поэтому я ответила:

— Pas un, pas dix. Не одного и не десяток.

Он весело рассмеялся и сказал, что ему ужасно нравится моя непосредственность. А я не без задней мысли добавила: будет, мол, очень досадно, если он попытается увеличить эту цифру. Он разжал объятия и галантно заметил, что понял намек, а потом попросил разрешения изредка говорить со мной, конечно при условии, что не нарушит договоренности. Танец кончился, и скоро я ушла к себе.

На следующее утро, только мы с Арне поднялись на палубу, как офицер подошел ко мне и протянул пакетик жареных каштанов. Накануне я вскользь упомянула, что очень их люблю, и теперь с улыбкой поблагодарила. Интересно, где он ухитрился их достать?

Сказав еще несколько любезных фраз, итальянец ушел.

Едва он скрылся из виду, как Арне мрачно произнес:

— Я французскому не обучался, но, надеюсь, мне дозволено

узнать, что тут происходит?

— По-моему, у тебя нет на это никаких прав и тон ты избрал совершенно недопустимый, но сказать могу. — И я коротко рассказала о вчерашнем вечере.

— Ага, стало быть, заводишь шашни с фашистским офицером, ручки позволяешь целовать, как последняя дуреха обывательница.

Я встала и пошла в каюту. Франк примчался следом, взгромоздился ко мне на руки и обнял за шею. Через секунду все его тельце сотрясалось от долго сдерживаемого кашля, он задыхался, а я поддерживала его голову над тазом и твердила:

— Ничего, ничего, сейчас пройдет.

Измученный Франк лежал на койке, я сидела рядом, совершенно обессилев, и до тех пор рассказывала веселые истории, пока его ручонка не соскользнула с моего плеча. Я смотрела на спящего ребенка — личико осунулось, он даже есть как следует не мог.

Что же будет дальше со мной и с Арне? Нелепейший пустяк — и на меня обрушивается лавина глупейших нападок и оскорблений. В обычной ситуации я бы попросту стала избегать такого человека. Но наша ситуация не была обычной. Может, я все же научусь воспринимать его поступки менее серьезно или сумею отучить его так себя вести? Арне человек способный, у него масса достоинств — это я уже поняла. В марксистской литературе он был начитан не меньше моего, а что касается истории — тут я ему в подметки не годилась. Он был прямо-таки заворожен историей человечества. Кстати сказать, именно поэтому его раздражало мое пристрастие к художественной литературе. Он не понимал, как можно тратить время на «выдумки», если существует «настоящая история». В последние недели он занялся прошлым Китая. Разумеется, тут я кое-что знала — ведь, живя в стране, нельзя не интересоваться ее историей. Стойло Арне оседлать любимого конька, откуда только красноречие бралось! Однажды вечером на палубе он рассуждал о том, как представляет себе жизнь при коммунизме, и я заметила у него на глазах слезы.

Франк крепко спал. Я поднялась на палубу и попросила Арне:

— Давай поговорим. Пожалуйста.

Мы пошли на корму, где не было никого из пассажиров, и уселись там на чем-то. Я была настроена мирно и очень хотела положить конец нашим мелочным ссорам. Вот и выложила без долгих размышлений все, что думаю и чем в нем восхищаюсь. Но у меня сложилось впечатление, что слова мои не доходят до его сознания, будто он читал их в книге, написанной о ком-то

другом.

— Сказать, что я думаю о тебе?

Я кивнула, но чуточку перетрусила.

— Появляется она рано утром, что ни день в новом платье — дескать, смотрите, какая у меня красивая фигура, и каждое утро расточает улыбки минимум двум десяткам людей. Охотно заводит знакомства, нисколько не смущаясь тем, что здесь собралась сплошь мелкобуржуазная шушера. Блещет познаниями в английском и французском, особенно в присутствии своего необразованного спутника, который не понимает ни слова. Еще она с удовольствием обращает его внимание на то, что он пролетарий и совершенно не умеет держать себя в обществе. Ну конечно, он не встал, когда она подошла, — ах, какой ужас! — да к тому же черпал соус с тарелки ложкой, совал за ухо окурки — и все такое. При каждой такой оплошности она ястребом налетает на него. Он коммунист, он много учился, но отнюдь не хорошим манерам. Партия использовала его, моряка, как курьера. Раз в Бразилии его схватила полиция. Он имел при себе почту и вырвался. В него стреляли, пуля задела плечо, он убежал, прятался трое суток, отстал от судна без гроша в кармане и при всем при том начисто запамятовал о хороших манерах. И вот он на этом чертовом пароходе, впервые среди буржуев, он понимает, выделяться нельзя, и все время наблюдает за воспитанными задаваками, перенимает у них, какую вилку когда нести в рот… Ах вот оно что, бутерброды не едят руками, их режут на кусочки и берут вилкой! От неуверенности он потеет, как кочегар, но тонкой штучке из богатой семьи и невдомек! Только и делает, что пилит, пилит, все норовит показать, кто больше знает, кто больше умеет.

Арне сидел на канатной бухте, зажав ладони между колен, покусывал нижнюю губу и упорно не поднимал глаз.

Я сидела на ящике. Спокойно, спокойно, не убегай, надо выдержать, ведь выбора у нас нет — придется быть вместе. Обиды побоку, нужно найти компромисс, и это тоже — коммунистическая дисциплина. Наберись мужества, возьми себя в руки, не руби сплеча, ответь сперва на самые серьезные обвинения, которые он тут выдвинул, начни по порядку, так легче. Подожди, пока не удостоверишься, что в состоянии говорить, не боясь разреветься посреди фразы. Сделай несколько глубоких вдохов.

— Можно я отвечу по порядку? По-моему, чтобы быть приветливым к людям, вовсе незачем дожидаться бесклассового общества. Жизнерадостность — сестра приветливости. И легкомыслие тут ни при чем. Для меня это своего рода мораль,

определяющая мое отношение к окружающему миру. Если я подавлена, я стараюсь побыть одна, чтобы не отравлять настроение другим. Тебе ведь тоже больше нравится, когда я веселая. Далее. Ты прав, я люблю знакомиться с людьми, они меня очень интересуют. Забавные, странные, грустные, дурные, замечательные, у каждого своя судьба, предопределенная обществом и ими самими. Мне ужасно хотелось бы завести тетрадь, большую, вроде классного журнала, и записывать туда всякие истории и собственные размышления. Теперь о смехотворной проблеме платьев. У меня их целых четыре. Разумеется, я люблю их надевать. Неужели ты не чувствуешь, как чудесно вдруг попасть из холодного марта в южное лето, сбросить старую зимнюю одежду и бегать в платье без рукавов, без чулок, загорать, купаться в бассейне. Мне казалось, что ты тоже так думаешь и что для нас обоих это прекрасные часы. Вот что касается мелочей. Остальные твои упреки куда серьезнее.

— Извини, что перебиваю, но и для меня эти часы прекрасны, — сказал Арне.

В эту минуту на палубе опять появился тот офицер и направился к нам. Будь моя воля, пусть бы он умер на месте, прежде чем Арне успел его заметить, но жизнь не способна на подобные акты милосердия. Я отрицательно помотала головой.

— Я сейчас занята.

— У меня вахта до пяти, — сказал он.

— Тогда в половине шестого.

Условившись с ним, я перевела весь разговор Арне, тщательно обдумывая, какие свободы намерена отстаивать, независимо от того, согласится Арне или будет возражать. Он не вправе вмешиваться в мои отношения с другими людьми — ни сейчас, ни позже — и должен это понять.

Но в тот вечер все было испорчено. Арне помрачнел и сказал, провожая взглядом офицера:

— Идем.

— Нет, останься! Пожалуйста, останься. Ты должен дать мне возможность ответить. Я же только начала.

Но он ушел.

О серьезных конфликтах, в которых отчасти была виновата и я, мы так и не поговорили. Ведь до сих пор я ни разу не потрудилась войти в *его* положение. Твердость и суровость Арне по отношению к себе самому внушила мне мысль, что неуверенность ему несвойственна. И я успокоилась. Мне в голову не приходило задуматься, почему он так обидчив. Конечно, Арне занимал мои мысли, и даже больше, чем нужно. Сколько раз за время плавания я думала о нем, но всегда со *своей* точки зрения:

как *он* действовал на *меня,* каким казался *мне,* в чем *мне* мешал. Я всегда была весела, хотела быть приветливой со всеми, не портить никому настроение — и в то же время в отношении Арне вела себя бестактно, как последняя эгоистка. Бездумная эгоистка. Вконец расстроенная, я глядела в иллюминатор и действительно не знала, что с нами будет дальше. По толстому стеклу скользнула тень, потом другая — птицы, впервые за много дней!

Я бросилась на палубу. Все пассажиры уже были там, все наперебой галдели и бурно жестикулировали.

Скоро показалась полоска земли, а через несколько часов пароход бросил якорь в порту Коломбо. В таких долгих плаваниях любая перемена обстановки вызывает безудержную радость. Так было и с нами, даже Арне невольно развеселился. Мы втроем сошли на берег. Помню поездку по какому-то клочку джунглей — во всяком случае, я решила, что это джунгли, — и восторг Франка, когда он увидел скачущую по деревьям обезьянку. Направлялись мы в кафе — оно лежало на возвышенности, и оттуда открывался вид на холмистую равнину и море. Арне посадил Франка на колени. Все было так хорошо и спокойно, будто мы никогда и не ссорились.

Вечером мы как ни в чем не бывало вышли на палубу. Стояли у борта, совсем близко друг к другу, и молчали. С моей стороны молчание было слабостью, я же собиралась сказать, что признаю́ свою вину, но говорить вдруг почему-то расхотелось. Наши плечи соприкасались — так в переполненном вагоне чувствуешь рядом соседа. Но здесь был не вагон, здесь была тихая ночь и никого, кроме нас двоих. Я слегка отстранилась.

— Не надо бояться, — сказал Арне.

— Я и не боюсь. Чего бояться? — Ну вот, опять все насмарку. — Мне пора к Франку. Уже поздно.

— Ты еще выйдешь?

— Поздно, — повторила я.

— Я подожду здесь.

Мальчику было жарко, волосики слиплись от пота. Я осторожно подняла его и посадила на горшок, а он так и не проснулся. Наконец все в порядке, я снова уложила Франка на узенькую пароходную койку, как вдруг он открыл глаза и сказал:

— Коричневая обезьяна, розовый лимонад. — И опять уснул.

Он только недавно выучил цвета и теперь добавлял их к каждому слову. Так радостно было вместе с ним открывать мир.

Мысли вновь увели меня к Арне. До сих пор никто не считал меня охотницей до удовольствий, тщеславной мещанкой или злюкой. Я ошибалась, одно это уже более чем скверно. С другой стороны, разве Арне не мещанин, если встает в позу этакого

пролетария, а меня именует девицей из богатой семьи? В конце концов, мы оба с семнадцати лет в партии, именно об этом мы говорили часто и подолгу: как стали коммунистами, как оценивали нынешнюю ситуацию в мире, в разных странах. Такие беседы были вправду интересны и мне, и ему. А теперь вот упреки в мой адрес. Нет, не буду я ложиться и в который раз думать об одном и том же. Я сторонница скорых решений, даже чересчур скорых, слишком часто я действовала нетерпеливо, поспешно, резко, опять-таки в угоду своему характеру, своим желаниям, почти не считаясь с партнером. Арне ждет. Возможно, наше общее будущее видится ему в столь же мрачном свете, что и мне, или в еще более мрачном, потому что он натерпелся от меня куда больше, чем я от него. В эту минуту я вдруг отчетливо поняла, что замкнутый человек вроде Арне, чувствующий себя неуверенно в таком окружении, действительно может счесть меня легкомысленной. Ведь мои слабости, наверное, кажутся ему не менее серьезными, чем мне его обидчивость и упрямство?

Арне не слышал моих шагов. Он неподвижно стоял у поручня и глядел на воду, только белые барашки пены выдавали ее близость. Ветер лохматил его волосы.

Франк называл нас «желтый Арне» и «черная мама». Как-то раз, играя, он попросил у нас по волоску. Мы послушно вырвали по одному: светлый и непокорный у Арне, угольно-черный и тоже непокорный у меня.

Арне по-прежнему не шевелился, и мне захотелось пригладить его взлохмаченные вихры. Но дело прежде всего… Я подошла поближе:

— Я виновата во многом, признаюсь, но я не знаю, долго ли выдержу, если ты будешь так меня ругать.

— Ты бы уехала, если б было можно?

— Зачем думать о невозможном?

— Я бы от тебя не ушел.

Он поднял голову, все еще глядя на воду, потом посмотрел на меня и отвел с моей щеки прядь волос.

Погода стояла чудесная. Все ближе китайский берег, все больше встречных кораблей. Сгорая от любопытства, Франк одолевал Арне расспросами, и тот объяснял, что за флаги полощутся на мачтах.

Для Арне все теперь стало однозначно и просто, и он никак не мог понять причину моей сдержанности. А я не желала поддаваться настрою морского путешествия с его романтическими вечерами и бесцельным времяпрепровождением. Стычек у нас по-прежнему хватало, хотя до поры до времени они

как бы отступили на задний план. Плавание близилось к концу, впереди у нас суровые будни — что, если наша любовь не выдержит испытания? Ведь тогда все еще больше усложнится. Лучше уж не начинать вовсе, чем пережить мучительный разрыв, который не сможет стать окончательным, потому что работа привязывает нас друг к другу.

Арне не мог прочесть мои мысли, но сделал как раз то, что было нужно.

— Я знаю, — сказал он, — у нас с тобой все серьезно. Но раз ты пока не уверена, я подожду.

Растроганная его словами, я в ту минуту была готова забыть о своих опасениях. А он, ни о чем не подозревая, вытащил из кармана открытку: белый замок с зубчатыми стенами и башнями в пронзительно-розовых закатных лучах.

— Прочти, что я написал.

> «Дорогая мама! Спешу сообщить, что я здоров, чего и вам желаю. Остаюсь ваш сын А.»

— Как тебе нравится открытка? Самая дорогая в киоске.

Мне хотелось растолковать Арне, что матери было бы куда приятнее получить письмо, настоящее подробное письмо, и, размышляя об этом, я отсутствующим взглядом скользнула по открытке и брякнула:

— Барахло.

Секунду спустя я уже отчаянно проклинала свой язык.

— Ага. У рабочего, стало быть, нет вкуса. Да, где уж нам, при нашей-то серости.

Взбешенный, он разорвал открытку.

Тут я не выдержала:

— Мелкая буржуазия с ее пошленькими представлениями об искусстве действительно оказывает большое влияние на вкусы рабочих. Я вот думаю, когда мы победим, культурным воспитанием рабочих будут заниматься…

— Тоже мне, народница нашлась…

— Ты забыл добавить «интеллигентка», — вскипела я.

— Народники и были интеллигентами, поэтому добавлять тут нечего. Интеллигентами, которые хотели осчастливить народ.

— Ну, хватит. Я не позволю загонять меня в эту роль, для этого я, как коммунист, слишком много сделала, и, если ты намерен продолжать в том же духе, я потеряю к тебе всякое уважение.

Он испуганно посмотрел на меня:

— Я не хотел тебя обидеть.

История с открыткой была, по-моему, последней ссорой на

пароходе, но далеко не последним серьезным разногласием, серьезным — с моей точки зрения.

Однажды вечером, когда мы сидели на палубе, Арне спросил об отце Франка — так, к слову пришлось.

— Конечно, если не хочешь, не отвечай, — добавил он.

— Он был хороший человек, но мы разошлись… Да, первый… Сколько мне тогда было? Я ведь тоже тебя не спрашиваю… Нет, не секрет, восемнадцать… Нет, сейчас я одна.

Сама я не задавала Арне подобных вопросов, потому что знала, до добра это не доведет, только злиться буду, и все! Не из-за его прошлого, а просто потому, что он признает за мужчинами больше прав. Арне — член партии и, надеюсь, в работе будет смотреть на меня как на равноправного партнера, но вот что касается личной жизни — я замечала в нем много такого, что связало бы меня по рукам и ногам. Если поначалу я еще не вполне была в этом уверена, то разговор на пароходе банальнейшим образом раскрыл мне глаза.

— То, что было, — сказал Арне, — меня не интересует, но если в будущем начнутся какие-нибудь истории… я не потерплю.

Я же терпеть не могла подобных посягательств на свою свободу. Счастье, что я не пошла на уступки, только вот счастливой себя так и не почувствовала.

Шанхай! Три года моей жизни прошли в этом городе, и как больно не повидаться с теми китайскими товарищами, с которыми меня свела революционная деятельность, Если бы хоть можно было сообщить им, что движение международной солидарности вновь направило меня в их страну. Но в подпольной работе это недопустимо.

Я говорю о тридцатых годах. Китайская компартия вела тогда борьбу на двух фронтах: против президента Чан Кайши, который предал демократические идеалы своего предшественника Сунь Ятсена и отверг политику дружбы с Советским Союзом, а также против агрессивных выступлений Японии. В те годы китайские товарищи с благодарностью принимали помощь других коммунистических партий, а помощь эта была сопряжена с большими жертвами.

Мы с Арне намеревались задержаться в Шанхае, пока не достанем детали для рации. Часами мы бродили по городу. Арне чуть заметно улыбался, слушая, с каким воодушевлением я рассказываю о людях и о городе. С первых же минут в нем пробудился живейший интерес к стране, и я очень этому радовалась.

Как и было условлено, в Шанхае мы встретились с одним

китайским товарищем, который информировал нас о положении в Южной Маньчжурии, китайской территории, оккупированной японцами в сентябре 1931 года.

— Этот шаг, — говорил китайский товарищ, — направлен не только против Китая. Японцы продвигаются к границам Советского Союза. Вот почему ваша задача приобретает еще большую важность. — Затем он подробно остановился на действиях китайских партизан против японских оккупантов; центр партизанского движения располагался в горах Маньчжурии. Некоторые отряды ждут нашей поддержки. Он сообщил также, что европейцы пользуются большей свободой передвижения, на улицах и в транспорте их не задерживают и не обыскивают. Кроме того, японцы практиковали бесследные исчезновения китайцев, но не осмеливались устраивать такое с европейцами.

Этот человек произвел на меня глубокое впечатление. Мне хотелось рассказать ему, что я уже была в Китае, когда японцы напали на Маньчжурию, а в 1932 году в Шанхае на моих глазах развертывались военные операции. Мы догадывались, что он руководит группой партизанских отрядов в Маньчжурии, что наши радиосводки шли к нему в Шанхай и что он будет снабжать нас информацией для партизан. Жил он, наверно, вовсе не в Шанхае, а в другом городе. Но спрашивать о таких вещах не положено. Даже имени его мы не знали.

Спустя несколько месяцев мы увидели в газете его фотографию: он был арестован и казнен. Но работа продолжалась. Очевидно, его место занял другой. Так и мы обучили впоследствии двух партизан, на случай, если с нами что-нибудь произойдет.

За несколько дней нам с Арне удалось достать необходимые радиодетали. Мы решили, что в Фыньяне этого делать никак нельзя. К тому же китайский товарищ предупреждал о прямо-таки истерической слежке за иностранцами в Маньчжурии. Главное теперь — переправить все это через границу.

«Китайские чиновники при досмотре нервничают, но ведут его дотошно, так как видят в каждом, кто въезжает в оккупированную Маньчжурию, потенциального друга Японии и потенциального врага Китая. Японцы тоже нервничают и тоже дотошны, так как любой приезжий из Китая может оказаться участником антияпонского движения, а тем самым — потенциальным врагом. И запомните: будни оккупации в Маньчжурии — это наполовину война», — вспоминали мы слова китайского партизана.

Больше всего хлопот доставили нам два трансформатора для выпрямителя рации. Из-за тяжелых стальных сердечников они

весили пять-шесть фунтов каждый. В конце концов выход был найден: мы купили огромное вольтеровское кресло, этакое зелено-коричневое чудище, перевернули его, и Арне осторожно снял кусок ткани, закрывавший пружины. Потом мы засунули трансформаторы в пружины и привязали проволокой. Проделал все это, конечно, Арне, я только подавала инструменты. Для прочности Арне еще обвязал их крепкой веревкой и только после этого приколотил тряпку назад. Ничего не заметно. Десяток фунтов лишнего веса не чувствовался. Это самое кресло мы отправили в Фыньян поездом.

О сложности покупки деталей, которые не разрешалось приобретать частным лицам, я могла бы рассказать и подробнее. Но дело не в этом, гораздо важнее, что на первых порах мы работали очень слаженно. Сталкиваясь с трудностями, приходили к одинаковым решениям и, зная, что без риска не обойтись, оставались спокойны и радовались удачам.

Незадолго до отъезда в Фыньян я оставила Франка у знакомых — в Шанхае их у меня было порядком — и съездила с Арне в Ханьчжоу, на редкость красивый древний город.

День выдался чудесный. Рука об руку мы бродили по старым переулкам с их харчевнями, лавками, людскими толпами.

Арне забавлял мой интерес к уличным торговцам. Окна китайских домов выходят во внутренний дворик, а наружные стены глухие, поэтому разносчики либо нараспев выкликают товар, каждый на свой лад, либо призывают покупателей звуками музыкальных инструментов. Многие из этих «звучащих вывесок» были мне хорошо знакомы. Ведь достаточно было остановиться на углу улицы и прислушаться.

Женщины толпились возле торговца фарфором, протягивая ему разбитые чашки для риса. Сидя на маленькой скамеечке, он высверливал на изломах крохотные отверстия, складывал черепки и скреплял их тончайшей проволокой, будто врач, зашивающий рану.

Шов был едва заметен, и фарфор после этого служил так же долго, как новый. Вот наконец поставлена последняя скрепка, и я услышала, как Арне вздохнул. Он по достоинству оценил необычайную сноровку мастера, ведь и сам умел работать руками. Мы стояли и смотрели, пока фарфоровый лекарь не двинулся дальше, взвалив на плечи бамбуковый тлеет. Рядом с пестрыми коробками — в них лежали предназначенные на продажу чашки — к шесту была прикреплена дуга с маленьким гонгом и двумя металлическими цепочками. При каждом шаге торговца цепочки ударяли по гонгу.

В безоблачном настроении мы вошли в один из множества

буддийских храмов, посидели на скамейке в идиллическом парке у крохотного озерка, поговорили о Лаоцзы, Конфуции, о китайской Красной армии, о бамбуковой ветви, заслоняющей арку моста, о листьях лотосов на поверхности прудов, о прохожих, о Франке и о поездке в Фыньян. Только о предстоящей ночи не обмолвились ни словом.

Мы остановились в китайской гостинице: четыре двухэтажных домика, окружающих двор с фонтаном посередине. Второй этаж опоясывала деревянная галерея. Гости, друзья семьи, служащие гостиницы играли во дворе в мачжонг. Стук похожих на домино костяшек по деревянным столикам звучал ритмично и живо, как испанские кастаньеты.

Арне пошел за зеленым чаем — здесь никто не пил сырой воды. Я осталась одна. Бумажные перегородки отделяли комнату от галереи. Широкая кровать со столбиками по углам, на которые натянута москитная сетка. Желая проветрить комнату, я открыла дверь. На стуле лежал пиджак Арне, я набросила его поверх пижамы и вспомнила нашу первую встречу, когда дрожала от страха и холода, а он накинул мне на плечи свое пальто. Я сунула руку в карман, пальцы нащупали листок бумаги. Вытаскиваю: фотография, сделанная пять дней назад в Шанхае (там была дата), — Арне обнимает за талию китаянку, девицу легкого поведения.

Когда Арне вернулся, фотография еще была у меня в руке. Нет, обошлось без драмы. Разговор, вернее, монолог Арне состоял из обычных в таких ситуациях многословных путаных объяснений. Сначала он попытался внушить мне, что фотография, мол, просто так, ничего не значит, но, видимо, это жалкое оправдание и самому показалось смехотворным. Не придавай этому значения, мямлил он, это чисто физическая потребность, не более, он давно забыл, да и я тоже виновата, я же не… вот он и… и это не имеет ни малейшего отношения к его чувствам ко мне, ни малейшего… и он больше никогда… и так далее и так далее.

— Ругай меня, бей, только скажи, что все опять будет хорошо. Не станешь же ты из-за такого пустяка…

Я не ругала его, не била, не упрекала. Ведь он привык к таким вещам в портах и не придавал им значения.

Фотография! Может, он коллекционировал такие снимки, может, у него их целый альбом! Но почему он открыто держал эту карточку в кармане? Если он так же поступает с материалами для нашей работы, надо быть начеку.

Мы улеглись в постель. Я всего один раз сказала: «Оставь меня в покое», и через несколько минут он уже спал. Любители мачжонга еще долго-долго стучали холодными твердыми

костяшками.

До Фыньяна было около тысячи восьмисот километров. Весь свой скарб мы распихали по чемоданам и надеялись, что их обилие отвлечет чиновников. Мелкие детали передатчика мы спрятали на себе. Если в купе больше никого не будет, засунем генераторные лампы — их было две, каждая размером с детскую молочную бутылку — в подушки сиденья. Я специально купила Арне несколько пар носков и положила туда лампы. Таким же образом я везла для Франка две бутылочки с молоком и две с апельсиновым соком. Мысль разумная: в тряском поезде ребенку неудобно пить из чашки, к тому же молоко оставалось теплым, да и опасность разбить бутылочку уменьшалась. Трехлетний Франк был в восторге — он опять будет пить из бутылочки, как маленький! — и вовсю играл с нею, угощая тряпичную собачку, нас с Арне и соседей по купе — двух японцев. Японцы улыбались ребенку. Бутылочка в носке стала, как говорится, неотъемлемой частью поездки. Перед самой границей мне без труда удалось незаметно спрятать лампы в подушках.

Китайские таможенники открыли только верхний из наших чемоданов, тщательно просмотрели, взяли одну из уже опустевших бутылочек, стянули с нее носок, но не нашли к чему придраться.

Японцы на маньчжурской границе обнюхали все. Переворошили все наши вещи, потрясли полупустую бутылочку с соком и проверили ее на свет. Потом один из наших попутчиков что-то сказал им, и они занялись другими пассажирами.

Иногда мне кажется, что у детей есть еще пара глаз да затылке, о существовании которых мы не подозреваем. Когда я прятала радиолампы, Арне заслонил меня от Франка и отвлекал его игрой.

Мы были уверены, что ребенок ничего не заметил. Но только таможенники направились к выходу, как вдруг детская ручонка молниеносно скользнула в ложбинку между подушками и торжествующе извлекла оттуда носок с радиолампой. Франк не сомневался, что это питье, и попробовал стянуть носок. Капризничал он редко, однако теперь, слишком долго лишенный возможности пошалить, с криком вцепился в мнимую бутылку. Таможенники обернулись. Я быстро подсунула Франку сок, и он наконец позволил мне завладеть лампой. Секунда — и она исчезла в моей сумочке. Чиновники вышли из купе.

Когда Франк не очень приставал, мы смотрели в вагонное окно: крохотные глинобитные хижины, поля гаоляна и сои, узенькие песчаные тропинки, два-три дерева на могильных

курганах, бедные, зачастую полураздетые люди.

Арне в последнее время стал еще молчаливее. В поезде он схватил меня за руку и сказал:

— Эта глупая шанхайская история не должна все испортить, не стоит она того.

Что я должна была ответить?

— Будь опять веселой, как раньше, — просил он.

Он требовал слишком многого.

Поселились мы в гостинице «Ямато». Товарищеские отношения между нами сохранились, хотя я по-прежнему была подавлена. Мне казалось, бессмысленным упрекать его за то, что он не такой, как я, за то, что он не в состоянии понять, насколько глубоко уязвил меня и оттолкнул. Что будет дальше? Для Арне все просто, в Фыньяне полным-полно возможностей расширить фотоколлекцию. А я? Без толку думать об этом. Хуже всего, что Арне очень мне нравился.

У Арне был контракт на торговлю пишущими машинками, который добыл ему товарищ Карл. Мне удалось в Шанхае договориться с одной американской фирмой насчет сбыта технической литературы. Коммерция наша, правда, еще не встала как следует на ноги. Получая машинки и книги, мы с Арне каждый раз были вынуждены расплачиваться наличными. Но самое главное — у нас были бумаги, официально подтверждающие, что мы коммерсанты. Придет время, сбудем свой товар, мало-помалу завяжется и деловая переписка, пусть даже не слишком оживленная.

Контракты мы положили у себя в номерах на видное место. Детали рации спрятали за городом. Потом распаковали часть чемоданов, в том числе мой. Перед тем как закрыть его, мы осторожно протянули поверх вещей тоненькую ниточку и ушли. А когда через несколько часов вернулись, ниточки в чемодане не было, с превеликим трудом мы разыскали ее на пестром ковре. Что ж, другого никто и не ожидал. В гостинице мы говорили только о пустяках. Учитывая патологический страх японцев перед коммунистами, старались предусмотреть каждый шаг ищеек, чтобы он оказался безрезультатным. Обращались с иностранцами корректно, но ведь и шпионить за ними куда проще — приезжих в Маньчжурии было мало.

День за днем мы отправлялись на поиски квартиры, но безуспешно. Подошел срок первой встречи с партизанским командованием, а мы так и жили в гостинице.

Еще в Праге решено было связь с партизанами поручить мне. Я же буду обслуживать рацию. Все правильно, Арне —

руководитель, незачем подвергать его слишком большому риску.

Встреча была назначена в Харбине, в шестистах километрах от Фыньяна. Перед самым моим отъездом Арне вдруг объявил, что поедет туда сам. Я запротестовала. Ведь товарищ Карл поставил перед каждым из нас вполне определенные задачи. И Арне не мог ни с того ни с сего все переиграть. Почему он вдруг возражает против моей поездки?

— Ну, ты все-таки женщина, к тому же мать, может, это для тебя чересчур.

— Все это мы знали и раньше.

— Ты поедешь, а я буду сидеть тут сложа руки. Нет, не согласен я… А как с ребенком?

— Возьму его с собой.

Арне был очень привязан к Франку, и я надеялась, что он позаботится о мальчике в мое отсутствие, но теперь язык не поворачивался просить об этом.

— Повезешь малыша в такую даль, а потом на долгие часы бросишь его одного в гостинице? Ни за что. Раз ты едешь, Франк остается со мной.

Арне сходил и принес листок бумаги, разлиновал — он всегда так делал, прежде чем писать, — и с точностью до минуты записал Франков режим дня: когда вставать, что надеть, когда пить рыбий жир и какие нужны уловки, чтобы мальчик его проглотил.

Писал Арне медленно, без сокращений, как школьный диктант, и сердился, что я говорю слишком быстро. Пришлось мне взять себя в руки, чтобы не лопнуть от нетерпения.

— Не беспокойся насчет мальчика, — сказал он на прощанье, — и возвращайся скорее.

Фыньян был ничем не примечательный захолустный городишко, но даже в таком всегда можно найти что-нибудь приятное и достойное внимания. Ряды тополей на фоне неба, буддийский храм с красивой деревянной резьбой, каменный лев с устрашающей гривой, лавчонка, полная разномастных диковинных вещиц, луна над изогнутой крышей, матери с младенцами…

Зато в Харбине ничто не радовало глаз. Мне уже приходилось бывать здесь, и я ненавидела этот город. После семнадцатого года сюда устремились русские, бежавшие с родины враги революции, и среди них великое множество белогвардейцев. Кому не знакомы тягучие истории о бывших графах и князьях, работающих шоферами или гостиничными портье в городах Европы. В Харбине большинство из них не могли найти работы и постепенно опускались. Проституция, запойное пьянство,

наркомания, воровство, насилие — все это наложило печать на облик города.

Встреча с партизаном Ли должна была состояться в безлюдном месте, возле кладбища.

Я храбро пускалась в рискованные предприятия, которые заставляли других трястись от страха, но… боялась темноты. С самого детства. И очень страдала от этого, ведь в нашей работе многое разыгрывалось под покровом ночи.

Пересиливая страх, я пошла на кладбище в надежде, что Ли явится минута в минуту, как того требовал закон подпольной работы. Но его все не было. Мимо прошли двое пьяных, потом еще один человек, кажется, трезвый, но при виде меня он замедлил шаг и подошел поближе. Я бросилась наутек. Однако пришлось вернуться. На сей раз я притаилась на кладбище за могильным камнем у входа. Долгая тишина, потом послышались шаги. Смолкли. Наконец-то Ли? С пятнадцатиминутным опозданием? Тихо. Ни звука больше. А вдруг это не он? Тогда почему чужой человек остановился тут в темноте? Дрожа от страха, я прокралась к выходу. Кругом как будто ни души, но и удаляющихся шагов я не слышала.

Что это там на земле, возле кладбищенской стены, закутанное с головы до ног? Мертвец? Больной? Или кто-то устроился в затишье на ночлег? Я помчалась прочь.

Город казался мне теперь близким и добрым — ярко освещенная улица, гостиница, комната, которая запирается на ключ.

Возвращаться в Фыньян было рано; нужно пробыть в Харбине еще сутки: на всякий случай была согласована запасная дата встречи. Если Ли не появится и на этот раз, через неделю придется ехать сюда опять.

Почему он не пришел? Ведь от него так много зависело.

На следующий вечер, изнывая от страха, я целых двадцать минут прождала Ли — напрасно, он не пришел. Ни одного прохожего возле кладбища, о партизане ни слуху ни духу.

Три дня спустя, к вечеру, подавленная неудачей, я вернулась в Фыньян. Может, Ли забыл дату или перепутал место встречи? Заболел? Попал под подозрение? Арестован? Его арест мог повлечь за собой тяжкие последствия. Как хорошо, что через несколько минут я увижу Арне и сына, поделюсь с Арне своими тревогами, посоветуюсь.

Они были в гостиничной столовой. Арне усадил Франка на стул, подложив подушки, повязал ему салфетку, осторожно, чтобы волосики не попали в узелок. Попробовал суп — не слишком ли горячий? — и поднес ложку ко рту мальчика.

Промокнул ему подбородок и принялся самозабвенно кормить. Меня они заметили, только когда я очутилась у стола.

— Как я рад! — тихо сказал Арне. — Мне казалось, тебя нет уже недели две.

Он не сводил с меня глаз, а Франк рассказывал, чем они тут занимались — катались на дрожках, гуляли, играли в мяч, а по ночам спали в одной постели. Мы вместе уложили ребенка спать. Перед сном ему было разрешено посмотреть привезенную мной китайскую книжку с картинками: раз вместе с нами, раз — одному. Потом мы ушли.

— Хороший мальчик и такой развитой.

— Ты действительно брал его к себе в постель?

— Я думал, вдруг он сбросит одеяло или еще что случится. Хотел, чтобы все было в порядке. Он устроится поудобнее и мгновенно засыпает. Знаешь, будто это мой родной сын. Может, потому, что это твой малыш.

— Ах, Арне, ну что мне с тобой делать? — Я обняла его за шею. Он прижал меня к себе и долго не выпускал. — Пора к Франку.

Пожелав мальчику спокойной ночи, мы вышли из гостиницы и сели на свободную скамейку возле клумбы.

Наконец-то можно обо всем рассказать. Я не сразу сообщила Арне, что Ли не появлялся, сперва описала Харбин, неудачнейшее место для встречи и свой мучительный страх и долгое напрасное ожидание.

Лицо Арне едва различимо в темноте, но еще до того, как он выпустил мою руку, чутье подсказало мне, что сейчас произойдет.

— Ты правда была в условленном месте или слишком перетрусила? Ладно, все ясно. В следующий раз поеду я.

— Твое недоверие более чем оскорбительно. — Я встала.

Он догнал меня через несколько шагов.

— Ну ты и недотрога! Я же вовсе не хотел тебя обидеть. Просто меня разозлила неудача, и я не желаю, чтобы ты торчала там и тряслась от страха. Такая встреча действительно больше мужское дело.

— Просто удивительно, как ты умеешь все испортить.

Опередив его, я вбежала в гостиницу, быстро поднялась к себе, заперлась и легла спать. Конец, хотя ничего еще не начиналось, раз навсегда конец мечтам о любви, надеждам, иллюзиям. Хватит с меня разочарований. Впредь только деловое сотрудничество. Никаких придирок я отныне не потерплю.

Но дальше благих намерений дело не пошло. На сей раз сорвалась я, я обижалась, я вспылила, я вела себя по-детски. Теперь, когда Арне спускался вниз, мы с Франком уже

заканчивали завтрак. Я едва с ним разговаривала, он тоже ограничивался самыми необходимыми фразами. Лишь через три дня мне удалось взять себя в руки, и наши отношения могли бы — пусть даже несколько поостыв — вернуться в норму, но Арне был не тот человек, чтобы быстро забыть три таких дня. На этот раз он сам поддерживал напряженность. А на шестой день уехал в Харбин.

Я строго наказала ему при встрече с Ли выяснить, почему в первый раз он не вышел па связь. Как они объяснятся? Ведь ни тот ни другой толком не владеют английским.

Очень скоро я — да-да, я, а не Арне, пусть возмущается сколько влезет! — встречусь в Фушуне со вторым партизанским командиром. Немыслимо, чтобы и этот не явился.

После обеда я укладывала Франка спать. Чем теперь заняться? Вообще-то дел у меня хватало. На столе тетрадка с китайскими упражнениями, рядом — очень интересная для меня книга об искусстве Восточной Азии, на стуле корзинка с рваными чулками. Часы, пока Франк спал, были для меня отдушиной, два часа свободы, два часа можно ездить по городу и искать квартиру. Арне сейчас еще в пути. Странно, как быстро привыкаешь к человеку. Вернется он завтра вечером или нет?

Прошел день, другой — Арне не возвращался.

Мы уже говорили о том, что с Ли могло что-то случиться. Арестован? Его пытают, а он держится, не выдает место встречи, где я так долго ждала? Не выдерживает пыток, называет место встречи, а туда поехал Арне… Пока нет причин тревожиться. Вероятно, Арне, как я неделю назад, дожидается следующего вечера.

Третий день. Я считаю часы и кормлю Франка ужином. В тот раз я к этому времени уже вернулась. Укладываю Франка спать. Девять часов, десять. «Часы окликают ночной покой, и время видимо все до дна. И по улице кто-то идет чужой, чужую собаку лишая сна»[6]. Или что-то похожее. В шестнадцать лет я знала наизусть множество стихов Рильке. Как же начиналось это стихотворение? Пытаюсь вспомнить. Нет, забыла.

Лучше чем-нибудь заняться, чем сидеть и ждать. Упражнения: «Семья встает из-за стола», «Наводнение смыло дамбу». Как по-китайски «дамба»? Зачем мне это знать? Разумеется, не исключено, что Арне нынче на свой лад упивается свободой… Нет, не может быть, он так не поступит, знает ведь, что с каждой минутой на сердце у меня становится все тяжелее. Знает?

Часы бьют двенадцать. Стук в дверь — Арне.

Ли не пришел, но в гостинице мы говорим об этом только обиняками. Той ночью было так хорошо…

Как представительница шанхайской книготорговой фирмы я еду в Фушунь, промышленный город, центр добычи нефти и угля. Навещаю возможных клиентов, захожу в дирекцию довольно крупного завода, продаю пяток книг, принимаю несколько заказов. Вечером я должна встретиться с партизаном Хо.

Стою в темноте, жду. Несколько секунд — и слышится звук шагов. Кто-то приближается ко мне, я отступаю в сторону. Пароль, отзыв — все совпадает. Какое счастье.

Хо высокий, спокойный, скупой на движения китаец, родом он с севера. Ох как трудно объясняться по-китайски! Он предлагает встретиться на следующий день, чтобы спокойно все обсудить и даже кое-что записать. Дает мне записку — несколько фраз, надеюсь, удастся расшифровать их с помощью словаря. Пока ясно одно: партизанский отряд, которым он руководит, существует. Состоит отряд из рабочих, крестьян, учителя, двух студентов и еще одного человека… Что означает «май куо цзу кан эр-тэй»? Хо что-то рисует: коромысло с корзинами, наполненными… как будто орехами и сушеными фруктами. Я беру бумажку и рисую рядом две чаши. Бронзовые. Когда продавец ударяет ими друг о друга, слышится сильный звон. Почему-то я до смерти обрадовалась, что уличный разносчик тоже в партизанах.

— Верно, верно. Хорошо, — улыбается Хо.

Я знакома с китайскими обычаями, и Хо сразу проникается ко мне доверием. Но не только поэтому. Мы оба — коммунисты.

Партизанам не хватает взрывчатки. По поручению Арне мы с Хо обсуждаем, каким образом сконцентрировать военные операции на принадлежащей японцам южноманьчжурской железной дороге и на каком участке будет действовать его отряд.

По возвращении в гостиницу я зашила записки Хо в подол нижней юбки. Ненавижу рукоделье. Стоило мне попытаться связать что-нибудь для Франка, и всякий раз выходила просто-напросто тряпка для вытирания стола. Одно в шитье хорошо — можно спокойно поразмыслить. И вот, тщательно подрубая мелкими стежками подол, я обдумывала, как лучше всего доставить взрывчатку. Всех партизан, попадавших им в лапы, японцы именовали «террористами». Но ведь, если разобраться, на страну совершено нападение, правительство не защищается, и коммунисты первыми выступают против чужой реакционной власти — так какой же это терроризм? Отчего мне так хорошо в Фушуне? Оттого, что состоялась встреча с Хо, и мы наконец можем начать работу. Но есть еще одна причина.

Фыньян — убогий городишко. Чиновники, солдаты,

лавочники — вот и все население. К этому привыкаешь, даже перестаешь сознавать, чего тебе не хватает, — и вот попадаешь в Фушунь! Путь в дирекцию ведет мимо отвалов и производственных цехов. Китайские рабочие — с тарахтящими перфораторами в руках, у дымящихся вентилей, за рулем груженных углем автомобилей, у конвейера. Я заглядываю в их лица и уношу с собой память о них.

Мы с Арне часто приобретали химикалии и накопили уже порядочный запас; по отдельности все вещества безобидны, но вместе они способны поднять на воздух целые составы.

Когда я вернулась из Фушуня, Арне предложил собрать передатчик прямо в гостинице и там же его задействовать. Я решительно запротестовала:

— Максимум три передачи, и нас сцапают.

— Тогда зачем мы здесь? Надо начинать.

— В нашей работе ни в коем случае нельзя идти напролом. А без наружной антенны нас все равно никто не услышит.

— Если ты против, я сам буду вести передачи, — не унимался Арне.

Я разозлилась.

Благодаря удачному стечению обстоятельств все уладилось. Я наконец нашла квартиру: флигель во дворе большой виллы, которая, к моему удивлению, еще пустовала. Разумеется, если японцы займут большой дом, мне придется уехать. Но пока самое главное — поселиться там. Флигель был одноэтажный, три комнаты с кухней, вход отдельный. Сама вилла стояла под замком. Ванной не было, только кран с холодной водой; уборная, предназначенная, по всей видимости, для прислуги, находилась в дальнем конце просторного двора. Подобные мелочи меня не смущали; отсюда можно вести передачи — вот что здорово. Единственным неудобством было то, что квартира соседствовала с клубом немецкой колонии. Хорошего, конечно, мало, но выбирать не из чего.

Отношения с немцами у нас сложились весьма своеобразные. Арне — белокурый и светлоглазый агент по пишущим машинкам — был принят в немецкой колонии с распростертыми объятиями, так как японская конкуренция вынудила многих коммерсантов уехать из Фыньяна, Его подруга-семитка до поры до времени не вызывала нареканий. Меня даже приглашали в клуб, скрепя сердце я пила на веранде чай под ненавистными флагами со свастикой и навещала немецкого консула. Это было очень важно, ведь к тем, кто был вхож туда, японцы относились не так подозрительно. Мало того, мне приходилось сносить презрение первых эмигрантов из Германии, возмущенных моим

«подхалимским поведением».

Дом, где я решила поселиться, был отделен от внешнего мира высокой стеной. Мы с Арне прошлись по комнатам.

— В этой комнате мы, пожалуй, устроим спальню, рядом будет жить Франк, а здесь гостиная и рация, — сказал Арне. — Почему ты так на меня смотришь?

— Мы ведь ни разу об этом не говорили, я не знала, что ты думаешь съехаться с нами.

— По-моему, это естественно, раз все между нами ясно и хорошо.

— Не знаю. Представь на минуту, что рацию засекли. Тогда тебе тоже не отвертеться. А вот если я буду жить здесь одна…

— Все знают, что мы вместе. Или у тебя есть другие причины?

Да, другие причины у меня были, и нечестно прикрываться работой, хотя и эти аргументы не лишены смысла. По воле случая мы вынуждены были во всем опираться друг на друга, но дело не только в этом, наши отношения куда глубже. С другой стороны, я понимала, что нам с Арне ни за что не ужиться, ему нужна совсем иная женщина, которая принимала бы его таким, как есть, без всякой критики, без расспросов, без споров. Вот почему я сомневалась, так ли уж необходимо все двадцать четыре часа в сутки общаться с Арне.

— Я буду радоваться каждой минуте, проведенной с тобой, Арне, и это будет бóльшая часть дня и ночи.

— Почему только часть?

Потому что у меня иной ритм жизни, а ты требуешь от меня полного подчинения. Иногда так хочется побыть в одиночестве, знать, что можно отослать тебя домой, хотя я никогда этого не сделаю.

Я не ответила.

Арне был разочарован и обижен. Мой отказ он воспринял как доказательство, что я привязана к нему гораздо меньше, чем он ко мне, и перестал верить в мою нежность, в то, что он мне нужен и что я хочу, чтобы он стал частицей моей жизни.

Через некоторое время он снял комнату у немецких коммерсантов.

Мы твердо решили не допускать, чтобы дурное настроение отразилось на работе. Арне помог мне с переездом, почти целые дни проводил у меня, и я добилась, что он мало-помалу забыл обиду. Я щедро дарила ему свою любовь и сама удивлялась — до того ручной, покорной и терпеливой была я во всем, буквально во всем. Но если бы не редкие часы одиночества, я бы вряд ли смогла это выдержать.

На вокзале мы получили свой груз — шанхайское кресло — и, когда перевернули его у меня на квартире, с испугом посмотрели друг на друга: острое металлическое ребро одного из трансформаторов почти перетерло тонкую ткань под сиденьем. Проволока, удерживавшая трансформатор в пружинах, обломилась, и держался он только на веревке. Тяжелый трансформатор разболтался, провис — еще немного, и он бы с грохотом вывалился наружу. Любой японец-железнодорожник насторожился бы, ведь они натренированы на подозрениях, а подобная неудача могла бы поставить крест на всей нашей работе.

Для поддержания престижа мы были обязаны жить не хуже других европейцев-коммерсантов, но все-таки старались избегать лишних расходов. Профессиональным революционерам не к лицу без особой надобности использовать фонд международной солидарности.

Свою квартиру я обставила скромно. Почти год у меня не было собственного жилья, и теперь самые простые вещи — постелить циновку, повесить картинку, купить вазу — доставляли мне огромное удовольствие. Сразу после переезда мы собрали рацию. Вернее, собирал Арне, а я смотрела.

Арне присутствовал и при первой передаче. Мы тревожились, услышит ли меня партнер, а ведь даже не знали, кто он и где находится. Впоследствии мы назвали его Ляо, в честь товарища, который встретил нас в Шанхае, хотя на самом деле его, конечно, звали иначе. Когда он отозвался, мы с Арне обменялись счастливыми улыбками. Одно плохо — моя первая радиограмма касалась неудачи с Ли. В третий раз — вопреки протестам Арне я опять съездила в Харбин — он тоже не появился.

С партизанским командиром Ханем я встретилась в Гирине. Это был человек до безрассудства отчаянный и необыкновенно везучий. Его отряд — численностью гораздо больше, чем отряд Хо, — стоял лагерем в горах. Хань имел военное образование. Позднее мы с Арне встретились с ним в безлюдных, суровых горах, куда японцы боялись совать нос. Здесь Хань быстро, всего за несколько часов, научился пользоваться взрывчаткой.

Партизан попрощался с нами далеко от первых поселков. После долгого перехода мы с Арне выбрались на равнину и зашагали по узкой тропке. Я измучилась от многочасовых подъемов и спусков, но все вокруг было таким нетронутым и прекрасным, что меня охватило ощущение счастья. Вдруг Арне остановился: на тропинке лежал мертвый младенец, девочка. Тельце еще не остыло. Брошенных детей насчитывалось сотни

тысяч — так спасали от голодной смерти других ребятишек.

Мы молча пошли дальше. Невозможно было привыкнуть к зрелищу людских страданий в этой стране, а страдания детей особенно брали за душу.

С партизаном Хо Арне лично не встречался, всему необходимому его обучила я. Отряд Хо не был постоянным подразделением. Каждый из бойцов занимался своим будничным делом, не все знали друг друга, потому что собирались они только маленькими группками — и на военную подготовку, и на задания.

По моей просьбе Хо познакомил меня с китайской супружеской парой. Они тоже были коммунистами и поддерживали партизан. Оба достаточно владели английским, поэтому можно было подготовить из них радистов. Ван и его жена Шучжин переехали в Фыньян. Он бывал у меня под видом преподавателя китайского языка, а она — под видом портнихи. У себя я учила Шучжин обращаться с рацией, а платья, необходимые для алиби, она шила в основном дома. Вану учеба давалась труднее, чем жене. Серьезностью и основательностью он очень напоминал Арне, а веселая, смешливая Шучжин походила на меня. Как-то само собой вышло, что после работы мы иной раз любовно-непочтительно перемывали косточки своим мужчинам. Внешне Шучжин ничем не отличалась от многих других китаянок — хрупкая, как подросток, ни за что не поверишь, что у нее есть дети. А дети были, двое — четырехлетний мальчик и двухгодовалая дочка.

Однажды мы разговорились вот о чем: способны ли люди вроде меня и ее так же стойко выносить тюремные пытки, как, к примеру, Арне и Ван. Ее очень интересовало, что я думаю насчет детей: укрепляет мысль об оставленных детях мужество и стойкость матери или только изнуряет ее тревогой.

— По-моему, — ответила она самой себе, — стойкость зависит вовсе не от тяжести страданий и, может статься, именно дети дают нам силу.

Я часто вспоминала эти слова.

Мы следили, чтобы Арне не встречался с моими учениками. И на сеансах связи — за исключением того, первого раза — он тоже никогда не присутствовал. Так что в конечном счете раздельные квартиры обернулись для него благом.

Разъезжал Арне не меньше, чем я. Железные дороги интересовали его с военно-стратегической точки зрения.

Партизанские выступления ширились, хотя становилось все труднее подобраться к железным путям. Кроме того, планируя диверсии, нужно было учитывать расписание, чтобы на воздух

взлетали только товарняки или военные эшелоны, а не пассажирские поезда. О некоторых партизанских налетах писали в газетах. По тону комментариев чувствовалось, насколько встревожены японцы.

Хо и Хань сообщали мне о ходе операций, информировали о непрерывном численном росте отрядов, рассказывали биографии особо отличившихся партизан, которые в дальнейшем могли бы стать командирами новых отрядов. Арне снабжал сводки примечаниями, и я радировала их Ляо.

Разумеется, наши отряды были всего-навсего малой частицей движения Сопротивления. В горах Маньчжурии действовали многие тысячи бойцов.

Мы трезво оценивали опасности своей работы. Не привлекая внимания, радиопередачи можно вести лишь короткое время, особенно если нельзя перевозить рацию с места на место и почти невозможно менять длину волны. Мы с Арне решили так: если удастся отстучать сотую радиограмму, мы надлежащим образом отметим это событие. Такой юбилей был для нас куда важнее рождества или дня рождения.

Европейцы, живущие без прислуги, тотчас возбудили бы подозрения. Пришлось поэтому нанять няньку-китаянку и повара. Работали они у меня охотно, но случись что в мое отсутствие, и они впустят в дом японцев, в том числе с обыском, — выбора у них нет.

Поездки по железной дороге с взрывчаткой в багаже, встречи с партизанами — все это было сопряжено с риском. Как же мы жили в постоянной опасности? Сравнительно спокойно, без особой нервотрепки, хотя, обнаружь японцы наши связи с партизанами, смертная казнь нам была бы обеспечена.

Источником хладнокровия, несомненно, были мировоззрение и убежденность, что каждый наш шаг служит правому делу. Но мы редко облекали свои мысли в столь высокие словеса. Будничной жизни высокопарность не свойственна. Если живешь в постоянной опасности, у тебя только две возможности — привыкнуть или свихнуться. Мы привыкли.

Много месяцев я прожила во флигеле одна, но вот и в большом доме появился постоялец. Не японец — и то хорошо, но, как вскоре выяснилось, я угодила из огня да в полымя: он был немец, дворянин и к тому же нацист, представитель крупной германской сталелитейной компании. Я догадывалась, что на самом деле речь шла о торговле оружием. Затем до меня дошел слух, что он пьет горькую. Все ясно — надо срочно менять квартиру; если я не займусь этим, он позаботится, чтобы меня

удалили из флигеля.

Сосед въехал. Он и не подумал нанести мне визит, такое ему, разумеется, даже в голову не пришло. Решив выяснить обстановку, я в скором времени направилась к нему сама. Впервые я переступила порог виллы; холодные просторные комнаты, в самой большой сидел лысый пузатый мужчина — господин фон Шлевитц.

Он встал, с рыцарской учтивостью поздоровался и выставил на стол массу напитков. Я заметила, что он прихрамывает, а садясь, каждый раз охает.

— С войны. Верден. Штук тридцать осколков застряло. — Он хлопнул себя по упитанной ляжке.

Дворянчик оказался не только любезен, но и словоохотлив. Скоро я уже знала историю его семьи, вплоть до средневековых предков. Он действительно состоял в НСДАП, однако любил повторять: «Мы люди старой закваски».

Короче говоря, он презирал Гитлера как «плебея» и оплакивал кайзера — вот вам и вся «закваска».

Он поспешил заверить, что уезжать мне вовсе не нужно. Кстати, воду и электричество я получала из виллы. Счет? Какая мелочь, ему безразлично — маркой больше, маркой меньше. Мысль о том, чтобы он оплачивал электричество для рации, пришлась мне по вкусу, к тому же я была уверена, что свое оружие он продает японцам.

Позже я частенько заходила к нему поболтать. Он был остроумный и оригинальный рассказчик. И хотя от одиночества пил еще больше обычного, не становился при этом противным.

— Если, встретив меня где-нибудь, — сказал он однажды, — вы решите, что мне хватит, сделайте одолжение, отвезите меня домой.

К этому времени я уже почти не посещала немецкий клуб, где он был завсегдатаем. Раз он пригласил меня туда. Я отказалась. Он отлично понял почему и положил мне на плечо руку:

— Если кто-нибудь из немцев вас хоть пальцем тронет, сразу скажите мне.

Благодаря солидности своей фирмы он пользовался в колонии большим весом, так что с соседом мне повезло. Но везением я могла считать это, к сожалению, лишь до тех пор, пока не рассказала обо всем Арне.

Уже полгода мы были вместе, все было хорошо, гораздо лучше, чем вначале. Арне уже почти совсем не обижался на меня, «интеллигентку». Может, понял, что бок о бок с ним шагает непритязательный, не слишком сложный человек. В самом деле, он со своей замкнутостью, неожиданной резкостью,

нетерпимостью и нервозностью был куда более сложной натурой, чем я, научившаяся мало-помалу не дразнить его, уступать почти во всем, за что и удостоилась высочайшей похвалы:

— С тобой легко, ведь тебе всегда хочется того же, что и мне.

С облегчением и гордостью я рассказала Арне о визите к соседу. Как-никак это значило, что квартиру можно не менять. Арне не нашел в этом ничего забавного, хотя настроение у него тоже немного улучшилось.

— А сколько лет этому фашисту? — спросил он немного погодя.

— Соседу? Думаю, лет пятьдесят пять.

— Он тебе как будто очень импонирует.

— Импонировать, может, и не импонирует, но…

Я запнулась. Слишком хорошо я знала это мрачное выражение лица. Немыслимо, чтобы Арне сейчас мог повести себя так же глупо, как в истории с итальянским офицером!

Еще как мог. С того дня его ревность отравляла нам жизнь.

Сотни раз я объясняла, что Шлевитц годится мне в отцы и знает о моих отношениях с ним, Арне. Ему и во сне не приснится встревать между нами, не говоря уже о том, какую отповедь он получил бы, если бы посмел такое затеять.

— Тебе нравится ходить к нему, он тебя интересует.

— Но ведь не в том смысле.

— Ага! Призналась! Интересует! Тебя хлебом не корми — только дай потрепаться с этим нацистским пьянчугой, похихикать в ответ на его комплименты. Да знай он, чем ты занимаешься, он бы тебя расстрелял!

— Несомненно.

— Эта сволочь продает японцам оружие, от которого гибнут партизаны. Отравить его надо, а не лебезить перед ним.

— Арне, зачем так уж в лоб. Мы тут не для того, чтобы отравить одного нациста или всех разом, большинство немцев так или иначе замешаны в грязных делишках. Мы обязаны уживаться с буржуями, именно это ты и делаешь, так требует легализация.

— Согласен, но тебе доставляет удовольствие бывать со Шлевитцом, ты обожаешь развлекаться с кем попало.

— А ты со своей необоснованной ревностью ничуть не лучше мещанина.

Думаю, мы не единственные влюбленные на свете, которые ссорами унижали собственное достоинство.

Постепенно наши отношения с немецкой колонией изменились. Ретивые нацисты встречали меня в штыки и давали Арне понять, как они смотрят на его связь с «неарийкой». Он догадывался, что мне еще тяжелее, а от этого кипятился, и я

опасалась, что, если кто-нибудь оскорбит меня в его присутствии, он потеряет над собой контроль. Но скандал был нам совершенно ни к чему, и постепенно мы отдалились от немецкой колонии. Когда ходили в единственный на весь город дансинг, Арне не приглашал немецких дам, танцевал только со мной. Сталкиваясь с немцами на улице или в пригородном парке, излюбленном месте воскресных прогулок, Арне демонстративно обнимал меня за плечи.

Прошло почти полгода. Шучжин с мужем научились обращаться с рацией и уехали из Фыньяна, их с нетерпением ждали в другом месте, хотя поначалу я готовила их себе на смену. Расставание с Шучжин, моей единственной подругой, я пережила тяжело. Если не считать Арне, то лишь с ней и с Ваном я могла говорить откровенно, прежде всего о политических проблемах. Мы понимали, что больше не увидимся. Куда они уехали, я так и не узнала.

Мы с Арне старались по возможности следить за событиями в Китае, и в первую очередь за борьбой китайской Красной армии против чанкайшистов.

Пока Ван и Шучжин навещали меня, это было довольно просто. Ван, например, сообщил, что обсуждается возможность выступления Красной армии и гоминьдановцев единым фронтом с целью разгрома японцев. Мнения разделились: часть партии была «за», часть — «против». У меня создалось впечатление, что ситуация очень напряженная. И конечно же, я слово в слово передала Арне содержание своих бесед с Ваном.

Арне счел эту политику бессмысленной и невозможной.

«Чан Кайши — реакционер. Столько лет драться против Красной армии, чтобы теперь вдруг действовать сообща? Нет, он на это не пойдет».

«В тридцать первом году он бросил на произвол судьбы свои собственные части, выступившие против японцев, я сама видела. Но Ван поддерживает это предложение, и, по-моему, правильно. Японцев ненавидит почти вся нация, лавина антияпонских выступлений захлестнула весь народ, пример тому — бойкот японских товаров. Вполне возможно, что удастся вынудить Чана к совместным действиям».

«Спихнуть его пора, вот что!»

«А если пока не выходит? Ленин, между прочим, писал насчет компромиссов. Насчет того, как трудно воевать с мировым капитализмом и что временное объединение даже с колеблющимся союзником может оказаться чрезвычайно важным. Знаешь, все-таки плохо жить без книг. Даже Ленина не перечитаешь. Газет мы не понимаем, а то, что печатает

английский листок, не стоит ломаного гроша».

«Но ведь мы уже здорово навострились читать между строк».

Однажды Арне объявил, что победу коммунизма в Китае обеспечат главным образом студенты и крестьяне. Вроде бы правильно, ведь девяносто процентов населения — это крестьяне, а студенты как раз тогда очень активно выступали против Чан Кайши и японцев.

— Ты считаешь, что особенности страны опровергают теорию о ведущей роли рабочего класса? — спросила я.

— Теория остается в силе, но там, где численность рабочего класса настолько ничтожна, как здесь…

— В России тоже так было, и все же революцию начали и довели до конца рабочие в городах, а не крестьяне, те только примкнули, и если вспомнить забастовки на шанхайских предприятиях, то и тут слово было за рабочими. — Я невольно засмеялась. — При твоем-то отношении к интеллигенции делать ставку на студентов!

— Надо смотреть на вещи реально, — возразил Арне. — Большинство политзаключенных — студенты, их казнят, а тюрьмы снова заполняются, и опять студентами.

— В Пекине с его университетом — да, но в масштабе всей страны? И так ли уж здорово, что они надавали по морде этому мерзавцу, министру иностранных дел? Не знаю…

— Ты что, против?

— Нет.

Составить себе полное представление о событиях в стране при нашей изоляции было очень трудно. Если я и была права, то только потому, что уже имела определенный опыт работы в Китае и жила в промышленном центре, Шанхае.

По крайней мере столько же, сколько о Китае, мы говорили о том, как будет в Германии после крушения нацизма и как мы представляем себе коммунистическую Германию. Ни он, ни я не могли понять, каким образом наш рабочий класс допустил к власти Гитлера. Причем Арне был в этом вопросе еще резче меня.

— Так горько потерять доверие к собственному классу, — сказал он однажды.

— Как же ты тогда рассчитываешь на перемены, без доверия? — возразила я. Арне принимал мои критические замечания в штыки, поэтому я старалась сдерживаться: мне не хотелось семейных ссор. Заметив, что он начинает упрямиться, я умолкала, иначе меня ожидало молчание за обедом, послеобеденная перепалка в присутствии Франка, испорченный вечер. Тогда я считала такое поведение разумной тактикой, но позже взглянула на это иными глазами и устыдилась. Дома, в

Германии, я была не такая, я отстаивала свои взгляды, невзирая ни на что.

На квартиру к Арне я ходила неохотно и никогда не делала этого без причины. И вот, получив по рации важное сообщение, я опять была вынуждена пойти к нему. Ночью я несколько часов принимала радиограммы, потом долго расшифровывала их. Речь шла о ликвидации определенных военных эшелонов и составов с оружием. Но на сей раз оба отряда должны были выступить согласованно.

Арне занимал большую комнату в первом этаже, вход со двора. Когда мы собирались уходить, произошла заминка: Арне потерял свою трубку, а такие вещи очень его раздражали.

— Со вчерашнего вечера не могу найти.

Он рылся в бельевом шкафу, я искала среди тарелок, чашек и книг.

— Да я уже везде смотрел, как ты понимаешь.

В мозгу у меня загорелся сигнал опасности: помочь ему — плохо, не помочь — тоже плохо. Останусь спокойной — он разозлился на мое спокойствие, стану сердиться, как он, — будет скандал. Иногда само мое присутствие все сглаживало. Но не теперь. Пока он обшаривал карманы купального халата, дверь открылась.

На пороге появилась миловидная, стройная, похожая на куколку девушка, моложе меня, в обесцвеченных кудрях розовый бант. Заметив меня, она застыла с открытым ртом, потом решила сделать вид, будто меня здесь нет, и сказала, лукаво глядя на Арне:

— Отгадайте, что у меня тут?

Арне прямо прирос к полу и от смущения скрипнул зубами. Куколка вынула руки из-за спины и протянула ему трубку.

— Это фрейлейн Людмила, — пробормотал Арне. — Новая соседка. Ведь господин Йост уехал.

Куколка кивнула мне и исчезла.

— Ее родители — русские эмигранты из Харбина, она помолвлена. — Последнюю фразу Арне повторил трижды. — Она скоро уедет к жениху в Шанхай. Ведь ты же не думаешь…

Господин Йост выехал еще несколько недель назад. Как давно она здесь живет? Почему Арне про нее не рассказывал? Вчера вечером он сидел у меня до самого сеанса связи с трубкой — значит, в одиннадцать он был дома. Только после этого куколка могла утащить трубку. Чего ждет Арне? Что́ я думаю или не думаю?

Трубка забыта на столе. Мы идем по улицам. Надо предупредить Ханя и Хо, надо подготовиться, причем быстро. Я

должна снабдить отряд Ханя взрывчаткой, Хо всем уже обеспечен. Сперва съезжу к Ханю, а тем временем Арне сделает корпуса для часовых механизмов. Что, если куколка постучится к нему в разгар работы? Как он поступит? Одно я решила твердо: никаких сцен Арне я устраивать не буду.

Наконец мы все обсудили. Арне хотел было пойти ко мне, но я сказала, что всю ночь работала и должна выспаться.

Только разве тут уснешь? Должна же я решить, как мне вести себя с этим кудрявым желтеньким мотыльком. Может, вернуться от партизан на день раньше и вечером пробраться к дому Арне? Перелезу тихонько через забор и на цыпочках по двору. Горит ли свет? У нее? У него? Голоса? Наблюдать я умею — почему бы не воспользоваться разок этим искусством в личных интересах?

Работа спасает меня от бесплодных размышлений. Еду к партизанам. Дерзкий Хань нравится мне ничуть не меньше почтенного Хо, который, расспросив меня и доложив результаты своей работы, каждый раз дарит мне рисунки музыкальных инструментов бродячих торговцев, а однажды принес даже барабан продавца древесного угля вместе с прикрепленными к нему упругими палочками.

Его подарки навели меня на мысль покупать и сами инструменты. Это даже полезно с точки зрения легализации. Я стала поговаривать о том, что планирую написать книгу об уличных торговцах и их отличительных приметах. Можно объяснить этим поездки в глубь страны, в места, где заведомо нет сбыта для книг шанхайской фирмы. Арне с самого начала загорелся моей идеей и собирал коллекцию с таким увлечением, что в конце концов я отдала ему свои инструменты. Частенько он брал четырехлетнего Франка за руку, и они отправлялись на оживленные улицы. Франк — он хорошо говорил по-китайски, потому что играл с китайскими детьми, — был за переводчика и посредника. Заинтересовавшись каким-нибудь инструментом, они останавливали торговца и заводили переговоры о покупке. Тот соглашался уступить свою вещь, только если твердо знал, что получит замену. Где изготовляют инструмент, нам при всем старании до сих пор не удалось выяснить. Если торговец не возражал против сделки, Арне был готов заплатить сколько угодно, но Франк, который часто ходил с нашим поваром на рынок, к такому не привык. Он спрашивал у хозяина цену, потом поднимал эту сумму на смех и, торгуясь, как взрослый, сбивал половину.

Мне очень хотелось пойти с ними и посмотреть на этот спектакль, но я чувствовала: тут дело мужское и я буду только мешать.

Поездки мои прошли успешно, все приготовления — что касается нашего участия — были закончены, вскоре одна за другой состоятся две операции. Теперь мы с Арне будем вместе бояться и надеяться, пока не услышим о результатах.

Во время моих отлучек Франк оставался под присмотром китайской няни, но Арне ежедневно навещал мальчика. Когда я вернулась, он был у нас и до того обрадовался, что, казалось, не замечал ничего вокруг, кроме меня, — и куколка была забыта, до тех пор пока он не пошел домой, к ней поближе. Наверно, я вела себя так же мелочно, как Арне, который ревновал к моему соседу.

И снова в путь. Условный знак, оставленный в неком городе, говорит о том, что вылазка Ханя увенчалась успехом. Только при виде вилкообразного надреза на четвертом справа дереве в первой поперечной улице, пересекающей Белую лунную аллею, я сознаю, какая тяжесть свалилась у меня с плеч.

Еще немного — и в Аньшане появится условный знак Хо, надеюсь, что появится.

Я возвращаюсь домой, скоро зайдет Арне. Как я рада принести ему добрую весть. Пока его нет, мы с Франком идем к немцу-хлебопеку, он единственный в городе торгует булками. Одна из трех покупательниц в лавке — хозяйка Арне — здоровается со мной, а ведь многие немцы давно думать об этом забыли. Такое впечатление, что она поджидает меня, и мы вместе выходим на улицу.

— Чтоб вы знали: там такие дела творятся между Людмилой и господином Арне!

Не успела я намазать бутерброды, пришел Арне. Он, как всегда, рад моему возвращению. Я рассказываю об успехе Ханя, потом мы обсуждаем очередную радиограмму, которую я должна передать той же ночью, и прикидываем, как бы покороче сформулировать сводку.

Арне вдруг замечает, что я ничего не ем:

— Ты такая бледная, усталая, на тебя это совсем непохоже.

Я спокойно, тем же тоном, каким говорила о работе, рассказываю обо всем, что услышала в булочной. Арне в ярости отодвигает тарелку.

— Вот сплетница! Пусть лучше за своим мужем следит, а не за мной. — Он глядит в сторону. — Какая чепуха. И потом, Людмила скоро уезжает.

Значит, мол отставка временная. Мне слишком грустно, чтобы сказать это вслух, да и вообще цинизм тут неуместен. Не надо лгать, говорю я. Он вправе иметь свою жизнь, в том числе и выбирать девушек. Только пусть знает: я делиться не могу. А в остальном все будет по-прежнему.

Арне молчал, и я опять заговорила о работе.

На прощанье он обнял меня, я не сопротивлялась, но и не отвечала на его ласки.

Минуту назад я еще гордилась своей выдержкой, а теперь зажмуриваюсь и сжимаю кулаки… Вот Арне входит в комнату, Людмила целует его. Он обнимает ее, дышит учащенно, обнимает крепче… Может, она пользуется духами, носит черное кружевное белье, знает уловки, какие мне и не снились, и он чувствует себя на седьмом небе… Может, я вообразила, что ему со мной хорошо, просто потому, что хорошо было мне самой? Тут важно все до мелочей: и что мы любили друг друга, и что жили в постоянной опасности, и что принадлежали к одной партии, и его характер, и наши разговоры, и его шепот во сне, и что он гордился, когда я хорошо выглядела, и тревожился, когда меня не было слишком долго, и наши ссоры и примирения, и что в разлуке мы тосковали друг по другу… Разве можно помыслить нашу жизнь без этого? А теперь? Увлекся первой встречной куколкой — и нет его. С каким удовольствием я бы пошла своим путем, одна.

Внешне я взяла себя в руки. Работа продолжалась, даже более гладко, чем раньше, поскольку печаль обуздывала мой темперамент. И темноты я перестала бояться, но не потому, что осмелела, просто все было мне безразлично.

Я съездила в Аньшань. Хо оставил там свой знак: операция прошла успешно. Я ужасно сокрушалась, что нельзя встретиться с партизанами лично, чтобы поздравить их. Донесений следовало ожидать позже. А при встрече — я знаю — они поблагодарят меня за помощь, хотя главную задачу, как всегда, выполнили сами. Ведь Хо упомянул однажды, как много значит для него моральная поддержка зарубежных товарищей — он в жизни этого не забудет.

В Аньшане я не только узнала об успехе Хо, там произошел случай, который произвел на меня необычайно глубокое впечатление.

По обыкновению я остановилась посмотреть, как чинят фарфор, — торговец был старик с редкой седой бородой, в черной шапочке. Он низко склонился над половинками разбитой чашки. Удивительно, как эти дрожащие руки еще справлялись с такой тонкой работой! Мой интерес польстил ему, и завязался разговор. Иностранцы, как правило, не общались с уличными торговцами, а уж по-китайски говорили еще того реже. Я любовалась гонгом, но не смела попросить его у старика, хотя мы уже долго и безуспешно искали такой. Старик взял гонг в руки и сказал:

— Сегодня я работаю в последний раз. — Он смотрел на свой инструмент такими глазами, что я даже думать себе запретила о покупке. — Все. Кончаю, — повторил он. Помолчал и с улыбкой

добавил: — У меня есть сыновья, внуки, правнуки, пора помирать. Через три дня меня не станет.

Я глядела в его безмятежно-спокойное лицо, и мне хотелось подарить ему что-нибудь в знак уважения. Но где найти подарок, достойный человека, который с улыбкой готовится к смерти?

И вдруг он протянул мне гонг:

— Возьми. Тебе еще долго жить.

Я совсем стушевалась, от благодарности и волнения горло перехватило, слова не шли с языка.

В приподнятом настроении я отправилась в обратный путь. Первым делом расскажу Арне об условном знаке, об удаче Хо, а потом расскажу историю с гонгом. Теперь у Арне будет гонг. Он ужасно гордился своей коллекцией, подробно описывал каждый экспонат, указывая, какой товар или ремесло он символизирует, полировал металл и реставрировал дефекты древесины. Не могу я оставить гонг у себя, к тому же от старика мне досталась еще одна вещица, не менее ценная. Кроме гонга, он хотел подарить мне фарфоровую мисочку, красивую и новенькую. Но я отрицательно помотала головой и показала на разбитую чашку.

Старик понял и соединил черепки, делая это, быть может, последний раз в жизни.

Поезд выехал из Аньшаня, впереди еще долгий путь. Я снова попыталась думать о старике, но, чтобы сравняться с ним мудростью, нужно, наверное, куда больше десятилетий, чем те три, которые были у меня за плечами, и очень скоро я вернулась к своим проблемам, занялась своими горестями. Людмила как будто все время была рядом, отравляя мне настроение. Я сама себе опротивела, когда сообразила, сколько сил и нервов стоит мне эта глупая девчонка. Поколебалась не только моя вера в себя; как коммунист, я считала ниже своего достоинства уходить с головой в собственные неурядицы и размышляла о том, какой все-таки была на самом деле личная жизнь великих коммунистов.

Черт побери, Маркс-то, наверное, тоже иной раз ревновал свою Женни? А уж она его непременно, и не без причин. Разве он не думал о семейных конфликтах, разве они не отвлекали его от «Капитала», не замедляли фраз, которые и сто с лишним лет спустя не утратили своего значения?

А Ленин? Почему он так понимал людей? Явно потому, что жил и чувствовал, как всякий человек, а без личных неурядиц это невозможно.

Конечно, неурядицы нужно перебороть. И я старалась. Единственным внешним проявлением моих горестей было то, что я день ото дня худела. Шлевитц смотрел-смотрел, как я таю прямо на глазах, и наконец не выдержал:

— Ну, соседка, приглашаю вас сегодня в «Ямато». Закажем самые лучшие блюда, и вы взвеситесь — до и после.

Сидели мы за тем же столом, где год назад в день моего возвращения из Харбина ужинали Арне и Франк. Шлевитц деликатно пытался выяснить, что со мной приключилось, но я молчала.

— Я слышал, ты была со Шлевитцом в ресторане, — сказал Арне и помрачнел.

Я так расхохоталась, что долго не могла остановиться. В дверь постучали. Арне открыл. Запыхавшийся мальчик лет шестнадцати протянул ему бумажку, испещренную иероглифами. Я спросила, откуда он и умеет ли читать.

Нет, читать он не умел, какой-то незнакомец дал ему денег и сказал, чтобы он отнес записку по этому адресу, и как можно быстрее: речь идет о тяжелой болезни.

Я держала бумажку в руке, понимая, что́ это значит: одного из наших арестовали. Чье имя я прочту в записке? Над кем навис смертный приговор? Я словно окаменела.

Взгляд скользнул по столбцам иероглифов. Я положила листок в пепельницу, зажгла спичку и стала смотреть, как бумага исчезает в огне.

Арне сидел напротив, дожидаясь, пока я заговорю.

— Арестовали Шучжин.

Где Ван? Еще на свободе? Или их схватили во время передачи? Рацию мы монтировали вместе: я, Ван и Шучжин. Неужели передатчик в руках японцев? Радиосвязь с противником означала смерть.

Арне подошел ко мне:

— Для тебя это еще страшнее, ведь ты знала их, но, поверь, я бы жизни не пожалел…

— Знаю.

— Мы сегодня же увезем рацию, и тебе тоже надо на время уехать.

— Сперва необходимо сообщить Ляо насчет Шучжин и следующей ночью дождаться ответа.

Мы решили еще на сутки оставить передатчик дома, а ответ Ляо можно было принять и без рации, по радиоприемнику, надо только известить его о нашем положении, тогда он повторит депешу несколько раз.

Меры по обеспечению нашей безопасности были вполне естественны. Ведь политзаключенных пытали, и приходилось считаться с возможностью выдачи имени или адреса — независимо от того, кто арестован.

Ночная радиограмма состояла из одной-единственной фразы,

но я никак не могла сосредоточиться на шифровании.

Что они сейчас делают с Шучжин? Вот на этом стуле она всегда сидела… И какая была веселая, даже во время работы на ключе ее пальцы прямо плясали.

Мы знаем, что они вытворяют…

Ломают суставы пальцев, сперва большой — назови имена, потом указательный — говори, и так десять раз подряд. Если жертва молчит, рвут ногти. Десять раз подряд.

Надо взять себя в руки, иначе мне не зашифровать депешу. Сообщение об аресте Шучжин — моя сотая радиограмма.

Ехали мы долго, со множеством пересадок. Вот и лес, где заранее приготовлен тайник для рации. За ночь я демонтировала ее и сложила детали в водонепроницаемые мешки. Пора возвращаться. На просеке нас встретило теплое майское солнце.

— Давай все спокойно обсудим, — сказал Арне. Мы уселись на траву. — Это была хорошая семья?

— Очень… А дети, что будет с детьми? Что с Ваном? Мы знаем так мало.

— Полгода они ходили к тебе на квартиру. Ты правда должна уехать.

— Надо дождаться известий от Ляо.

— Тебе следовало бы самой предложить это.

— Почему? Главное, по-моему, чтобы ты пока не появлялся у меня. Встречаться можно в другом месте, и как можно реже.

— Это ничего не меняет.

— Нет, меняет. Надо придумать продолжение нашего с тобой романа. Часть первая всем известна: мы познакомились на пароходе и влюбились друг в друга. Теперь начнется вторая часть: разрыв, потому что ты завел себе новую подружку.

Вот ведь как бывает, думала я, и куколка пригодилась.

— Ерунда. Ты должна уехать, может, уже в эту минуту кто-то стоит у твоих дверей.

До сих пор Арне встречал опасность спокойно, даже если она грозила мне, сейчас он то и дело кусал травинки, бросал, срывал новые, веки у него подергивались, руки беспокойно двигались. Он места себе не находил — начинал говорить, вскакивал, делал несколько шагов, возвращался.

— Слушай, — наконец проговорил он. — Я знаю, теперь не время, но я уже давно собираюсь тебе сказать… — Голос его дрогнул, он встал и зашагал прочь.

— Арне, что случилось?

Он медленно вернулся.

— Что ты хочешь мне сказать, почему тебе это так трудно?

— Оставь. — Он смотрел прямо перед собой.

Может, Людмила ждет ребенка. Сейчас мне было абсолютно все равно. Я думала только о Шучжин… Что станется с малышами? Родителей у Шучжин не было, зато была хорошая свекровь. Два слова Шучжин, всего два слова: мое имя и название города, — и она на свободе, вместе с детьми.

— Ах, Арне, наверно, нельзя так говорить, но, если, вернувшись домой, я застану у своих дверей полицию, я… как бы это выразиться… буду очень рада. Не век же несчастьям валиться на других.

Я расплакалась. Арне не стал меня утешать, только погладил по голове.

На обратном пути мы говорили о будничных вещах, о том, как замечательно развивается Франк, какие успехи в чтении делает повар (этот еще молодой человек был неграмотен и поступил с моей помощью в вечернюю школу).

Наконец опушка и поле.

— Нет, — вдруг сказал Арне, — шагу дальше не ступлю. К месту это или не к месту, но я должен сказать.

Мы опять сели. Арне дрожал.

— Уже целую неделю я собираюсь тебе сказать… В общем, сейчас не самый удачный момент, но раз ты уедешь, или мы будем видеться реже, или что-нибудь случится… помнишь, на пароходе я говорил, что мы всегда будем вместе? Я и тогда говорил серьезно, но теперь еще больше уверился. Именно в последнее время — ты осталась прекрасным товарищем… и твоя печаль… и то, что ты, несмотря ни на что, привезла мне в подарок гонг торговца фарфором — у меня в душе все прямо перевернулось. Не хочу оправдываться, но выходит, будто понадобилась эта история с девчонкой, чтобы я окончательно понял: это мне не нужно, мне нужна ты. Что бы ни случилось, я с тобой.

Эти слова… О них я мечтала бессонными ночами, еще несколько дней назад я была бы счастлива услышать их. Я смотрела на корни деревьев, выпирающие из-под земли. Меж бурых узлов золотились крохотные цветочки мха.

— Как тебе объяснить, — тихо проговорил Арне. — Она смотрела на меня с восторгом и слушала так, будто я ученый.

Мы отправились домой. По-весеннему ярко зеленели деревья… Но что было в этот час с Шучжин? Если арестуют меня, никто не пострадает, моя квартира чиста. Насчет Франка я постаралась в меру возможностей позаботиться и очень рассчитываю на соседа. Он тосковал по своим детям, которые «воспитания ради» остались в Германии (у Гитлера), и мечтал о

внуках. Франка он любил. У нашего дворянина была экономка, тоже из европейцев, но, к сожалению, слишком старая и постная, чтобы утихомирить ревность Арне. Даже этот сухарь оттаивал, когда забегал Франк. «Если мне на голову свалится кирпич, я оставлю ребенка у вас», — как-то раз сказала я фон Шлевитцу. «Я даже усыновлю его», — ответил он. Это, конечно, чересчур. И при случае я упомянула, где живут мои родители. Даже если Шлевитц узнает обо мне правду, не думаю, чтобы он вышвырнул Франка на улицу.

Арне, даже будучи на свободе, не мог взять мальчика к себе, он должен полностью порвать со мной, и начинать надо прямо сейчас.

Потрясенная судьбой Шучжин, я впервые забыла об Арне и лихорадочно обдумывала, что предпринять дальше. Арне нельзя приходить ко мне, твердила я, если надо, встретимся за городом.

Арне пришел в ужас.

— Но ведь у нас с ней все кончено, — сказал он.

— Не о том речь. Она до сих пор занимает соседнюю комнату?

— Да, но я говорил с ней, и она знает: все кончено.

— То-то и плохо. Как раз сейчас, когда она была бы очень нам полезна. Я уже говорила: мы с тобой расстаемся из-за этой девушки, от твоей хозяйки о нашем разрыве узнают все, а Шлевитцу я скажу сама.

— Нет, прошу тебя, не говори ему ничего… Узнай он, что ты осталась одна…

Я не позволила ему спутать ход своих мыслей.

— Пусть некоторое время все между вами будет по-старому…

— Слушай, ты с ума сошла или насмехаешься?

— Мне вовсе не до насмешек. В интересах легализации ты еще пару недель должен пробыть с нею, только не сидеть дома, а показываться на людях, чтобы вас видели вместе. Если ничего не случится, через две-три недели привезем рацию обратно, но встречаться будем редко и под строгим секретом, как с партизанами. И вот еще что. Вернешься домой и сразу напишешь мне прощальное письмо. Так, мол, и так: встретил другую, и вообще мы никогда не понимали друг друга до конца, особенно тебе мешало, что у меня есть от тебя тайны — намек на то, что ты ничего не знал о моей работе. Чтобы поднять свой авторитет в немецкой колонии, можешь также добавить несколько слов насчет непреодолимых расовых различий.

— Прекрати, или я за себя не ручаюсь! — Арне взмахнул кулаком у меня перед носом. В таком возбуждении я его до сих пор не видела.

— Но, Арне, ведь это не имеет к нам никакого отношения, я же говорю о деле, о прикрытии для тебя. Мы еще не такое делали ради легализации. Работу надо продолжать, так или иначе.

— Публично поссориться — с точки зрения работы, может, оно и правильно, но все остальное… нет. Ведь… ведь это уже вовсе не ты, неужели я тебе вправду безразличен? — Он побледнел.

— Арне, я страшно устала.

Дне недели спустя мы с Франком оформляли номер в пекинском «Северном отеле», где обычно селились иностранцы. Багаж мой, в том числе детали рации, я велела отнести наверх, спросила, где найти хорошего зубного врача, и не откладывая отправилась к нему.

Нужно было удалить коренной зуб. Дантист уже в четвертый раз безуспешно накладывал щипцы — корень был кривой, и врач решил сделать трепанацию челюсти. Франк, которого не на кого было оставить, с интересом наблюдал за его манипуляциями. Чтобы не внушить ребенку на всю жизнь ужас перед зубными врачами, я не проронила ни звука, хотя операция продолжалась два часа. В восемь вечера мы вернулись в гостиницу, я уложила усталого мальчика спать и тоже прилегла.

Ответ Ляо гласил: «Перебирайтесь в Пекин».

Арне должен был свернуть свои дела и последовать за мной. Вряд ли это займет много времени, торговля у него шла отнюдь не бойко.

Я без сна лежала на кровати. Наркоз мало-помалу переставал действовать, и начались боли. Мысленно я перенеслась в Маньчжурию. Мы бросили партизан на произвол судьбы. Хань приедет на встречу, а меня нет, и Хо приедет. Три раза подряд они напрасно будут ждать меня. Встревожатся или решат, что иностранные товарищи не выдержали напряжения, что солидарности хватило только до определенного момента? Конечно, партизаны продолжат работу и без нас. Какая-то связь с ними в ближайшее время наладится, через Ляо. Он знал, что нас может постигнуть неудача, и наверняка заранее позаботился насчет контактов. Наверно, он сообщит партизанам и о том, что мы свернули работу не по своей воле? Вдруг Хо, который знал Шучжин, тоже под угрозой ареста? Правда, жил он теперь в другом месте, может, это спасет его.

Я понимала, почему Ляо отдал такое распоряжение. Ведь я и сама учитывала возможное предательство Шучжин, хотя полностью ей доверяла. Точно так же он действовал в отношении меня. Если Шучжин выдаст, арестуют одну меня. Но мое

предательство будет иметь для партизан страшные последствия. Вот почему меня удалили из Маньчжурии. Пятнадцать месяцев интенсивного труда рука об руку с чудесными людьми — и вдруг все оборвалось. А сколько у нас было планов, сколько осталось незавершенного!

Прошел час. Боль усиливалась, захватывая всю правую сторону лица до самого лба. Свинцовой тяжестью навалилась усталость. Минувшую ночь мы были в пути и совсем не спали. На сей раз Арне вмонтировал трансформаторы в большой радиоприемник. Лампы я спрятала во внутренних карманах легкого и широкого летнего плаща, который мне сшила Шучжин. Снаружи карманов не заметно. Не бог весть какая конспирация, но, если не будет личного досмотра, и так сойдет.

У меня было одно-единственное желание: проглотить болеутоляющую таблетку и заснуть. Но это невозможно. Арне не смог придумать ничего лучше, как приказать мне сразу по приезде в Пекин задействовать рацию, чтобы он мог ее прослушать. Пустая трата времени, ведь на практике подобной связью не пользовались. Однако он твердил, что может возникнуть такая необходимость. По части радио Арне был самый настоящий фанатик, полночи он слушал разные станции, хотя сам передач не вел. Теперь его интересовала мощность собственноручно собранного передатчика. Я считала, что работать с рацией в гостинице не следует, но уступила, поняв, что Арне не переубедить.

«Ладно, ты начальник, тебе видней», — сказала я наконец, причем без всякой иронии. Как-никак я обязана подчиняться. Откуда ему знать, что я плохо себя чувствую? Впрочем, разве можно не выполнить задание только потому, что чуть с ума не сходишь от боли и усталости, — такая мысль нам бы и в голову не пришла.

Уставала я очень часто, ведь после каждой передачи мне не спалось. Из-за несовершенства рации, сигналы которой нередко принимались с большим трудом, любую сводку приходилось повторять по нескольку раз, а это требовало огромного напряжения. И прослушивание партизанских раций — им тоже не хватало мощности — было связано с крайней сосредоточенностью. Все это просто выматывало нервы.

Пора собирать рацию. Франк спит. А вдруг он проснется?

Без пяти одиннадцать. Рация готова к передаче, я ставлю ее под кровать, раздеваюсь, надеваю пижаму. Если в дверь постучат, успею прикрыть рацию одеялом. Работать буду двадцать минут, не больше. Я натянула комнатную антенну, закрепила на времянку — в случае чего сдерну одним рывком. Теперь опробуем

передатчик… следить за амперметром… может, стоит заново перемотать катушку, пусть Арне порадуется. Рацию я подключила к розетке от ночника.

Нажимаю на кнопку, замыкающую цепь — громкий треск, и гостиница погружается во тьму.

Выдергиваю шнур из розетки, задвигаю рацию подальше под кровать, хочу сорвать антенну, но, наткнувшись в потемках на стул и ушибив большой палец на ноге, ныряю в постель и зажмуриваюсь — все, больше я ни на что не откликнусь.

Несколько минут спустя свет вспыхивает. Я убираю рацию, лучше не рисковать: еще одно замыкание — это будет слишком.

Наутро я с трудом ковыляю по городу — ищу квартиру, откуда можно будет вести передачи, Арне ведь приказал: три ночи подряд. Наконец обнаруживаю немецкий пансион. Расплачиваюсь в гостинице и переезжаю.

Сейчас многое кажется мне попросту необъяснимым. Безответственный приказ Арне и моя готовность исполнить его. Как я умудрилась настолько потерять меру дисциплинированности и чувства долга, что решилась выполнить этот глупый приказ, который был всего-навсего капризом Арне и не имел ничего общего с революционными задачами? Попадись я с поличным, никто не простил бы нам этого легкомыслия. То, что после неудачи в гостинице я не отказалась от дальнейших попыток, наверно, впрямь зависело от нашего стиля работы. Нам в голову не приходило пасовать перед трудностями. Нужно было искать новое решение, новый путь. Особенно это касалось организационно-практических вопросов, «не получается» — у нас и слова такого не было. И на этот раз я поступила так же, хотя совершенно напрасно.

Стены в пансионе были тонкие, и я слышала, как рядом ссорятся супруги. В одиннадцать часов все стихло, только едва уловимо пощелкивал ключ рации. Замыкания не случилось. Но и ответа от Арне не было. Он явно меня не слышал.

Днем я продолжала искать подходящую квартиру для размещения рации.

В Фыньяне Арне на прощание спросил: «Опять поврозь?»

Задним числом я подумала, что, живи мы в одной квартире, Арне всегда был бы у меня на глазах и никакие новые куколки нам больше не грозили бы; но нет, я ему не наседка. Мы знакомы уже шестнадцать месяцев, что же препятствует совместной жизни? С точки зрения работы раздельное жилье не имело теперь значения. Из Фыньяна мы фактически уехали вместе, оба будем жить в Пекине — стало быть, официально объявлять о разлуке уже незачем. Последние дни в Фыньяне Арне обращался со мной

особенно бережно, может, догадывался, как это необходимо, чтобы снова ожили мои чувства к нему. Только на прощальный ужин, который Шлевитц устроил в мою честь, Арне прийти наотрез отказался. Мне тоже было не очень-то до праздников, но ведь не отвертишься…

Всего несколько дней в разлуке, а я уже тоскую по Арне, с нетерпением жду его приезда. Пожалуй, я в самом деле сумею полностью забыть эту вертихвостку Людмилу.

«Она смотрела на меня с восторгом и слушала так, будто я ученый». Тогда, потрясенная несчастьем с Шучжин, я едва слушала Арне. Теперь его слова ожили в памяти, и я испугалась. Женщина, которая смотрит на него снизу вверх, подчиняется ему во всем, — именно такая ему и нужна, и я знала это с самого начала.

Выходит, дело не только в Людмилиных заигрываниях и легкомыслии и Арне воспользовался удобным случаем не только по давней привычке. Он нравился ей, она благоговела перед ним, давала ему что-то такое, чего не было у меня. Я же глядела на нее свысока, презрительно и считала ни больше ни меньше как глупой куклой. Чепуха. Хватит. Арне мой, с ней ему не по пути, я знаю. Конечно, мне тоже кой-чего в нем недоставало, и все-таки для меня не было человека ближе, чем он. Кто ждет от партнера совершенства, тот никогда не будет счастлив.

Жилье я нашла — чудесный китайский домик, вернее, четыре домика, в каждом по комнате. Окна из промасленной бумаги, изогнутая крыша, мощенный камнем внутренний двор, а посреди него большой четырехугольник плодородной земли — так и хочется посадить там цветы.

— Мы останемся здесь? — спросил Франк.

— Тебе нравится?

— Да, очень.

— У тебя будет целый дом.

Франк заколебался:

— Но я не хочу дом, я хочу с тобой.

— А остальные домики будут пустовать?

— Один можно подарить Арне.

— Я тоже об этом думала.

Хозяева квартиры уехали в Европу, поручив другу холостяку сдать ее. Можно было тотчас въехать и заодно подготовить все для Арне. Вот он обрадуется!

В день его приезда мы с Франком с утра сходили на рынок и купили две сотни корней цветущей рассады, чтобы посадить во дворе. Провозились почти весь день. Временами мальчик поднимал голову, прислушивался к звукам за стеной, окружавшей

наше жилище, и говорил:

— Бумага… бумага… — А через некоторое время: — Кому пироги… кому пироги… Кунжутное масло… А вот кому кунжутное масло…

Я смотрела на разрумянившееся лицо, курчавую шапку волос, полуоткрытый рот, блестящие зубки, перепачканные в песке пухлые ручонки четырехлетнего малыша. Потом обняла его и сразу вспомнила Шучжин. Но Франк вырвался — нежности хороши вечером, когда устанешь.

Мы полюбовались делом своих рук: густой цветочный ковер расстилался перед нами. Времени осталось в обрез, а ведь надо еще успеть привести себя в порядок и не опоздать на вокзал, не то Арне станет искать нас в гостинице.

Он поцеловал меня и весело подбросил в воздух Франка; потом мы подозвали извозчика. Адрес я назвала по-китайски: пусть сюрприз останется сюрпризом, секрет откроем, когда доберемся до места. Франк заговорщицки подтолкнул меня и приложил палец к губам.

Арне ничего не заметил. Под звонкий цокот лошадиных копыт он тихонько спросил:

— Ты не работала на рации?

— Почему? В первую ночь не вышло, но в следующие две — как договорились.

— Что-то не верится. Расстояние всего-навсего несколько сот километров, я бы должен был тебя услышать. Небось проспала.

Я промолчала.

Наутро мы установили на крышах два стояка и как можно выше натянули антенну. Ляо обрадуется, что я так быстро дала о себе знать.

Я сообщила, где мы устроились. С моей стороны это тоже было поразительным легкомыслием. Если враги расшифровали код, то мы сами себя выдали. Впредь я таких вещей уже не делала.

Ответа пришлось ждать довольно долго, наконец Ляо передал коротенькую радиограмму: «Спрячьте рацию и месяц отдыхайте».

Удивительно. В подпольной работе отпусков обычно не бывает. Неужели произошло что-то еще более серьезное? Китайская полиция относилась к коммунистам не лучше, чем японцы, но теперь мы находились за пределами Маньчжурии, и придраться к нам пока никто не мог. Почему же надо прервать работу?

Мы подыскали за городом удобное место и ночью поехали туда, чтобы вырыть яму. В подобных случаях мы отлично

понимали друг друга без слов и действовали очень слаженно. Один светил, заслоняя рукой карманный фонарик, другой намечал контур ямы. С собой у нас было два заступа. Арне работал без передышки, а я частенько замирала и прислушивалась — только бы нас не застали за этим делом. Рацию мы пока спрятали дома, на чердаке. Если кто-нибудь увидит нас с лопатами, пусть лучше думает, что мы закапываем труп, а не рацию. Яма готова, мы сложили лопаты до следующей ночи в укромном месте. Пора привести себя в порядок. Для этого мы специально захватили сырые тряпки, маникюрную пилку и гуталин. Потом вернулись в Пекин, зашли в маленький ресторанчик, который был еще открыт, и поужинали. Усталые, но как-то по-новому близкие, мы ели акульи плавники и жареную утиную кожу, пили зеленый чай, грызли орехи и радовались, что домой нам идти вместе.

Отдых. В первые дни ни я, ни Арне толком не знали, с чего начать, — до той поры у нас никогда не было столько свободного времени. Мне очень недоставало рации, ведь она стала частью меня самой, как ружье для солдата или пишмашинка для писателя.

Скоро мы заметили, что жизнь без груза ответственности, без опасности идет нам на пользу. Арне успокоился, и я уже не мучилась бессонницей. Стояло лето, день за днем мы бродили по одному из красивейших городов мира, наслаждались уличной суетой и отсутствием японских солдат. Гуляли по чудесным окрестностям Пекина, катались на лодке по озеру у Летнего дворца, взбирались на холмы.

Мы разыскали превосходного повара и ели дома только китайские блюда. Много читали: Арне — об истории Китая, а я — о культуре страны. Строгое изящество Храма неба… Однажды, любуясь им, Арне вдруг сказал: «Много же мне понадобилось времени, чтобы понять, что такое красота».

По-моему, в эту минуту мы оба вспомнили безвкусную открытку с замком.

В отпуске я старалась не думать о Шучжин и партизанах. Интересно, другие тоже разговаривают сами с собой? Я разговаривала из стремления закалить себя: довольно эмоций, нечего метаться, повесив нос, Шучжин от этого никакого проку, только сама измучишься. За эти четыре недели нужно накопить сил на будущее. Вспоминай Шучжин, когда храбро идешь на задание, но не думай о ней вечерами, иначе не уснешь. А партизаны и без тебя прекрасно обходятся.

С тех пор как Арне в день приезда своим недоверием отравил мне всю радость встречи, я внушала себе: не принимай это близко

к сердцу, так будет всякий раз, когда его замысел потерпит неудачу. Пойми наконец, его упреки адресованы вовсе не тебе лично, просто ему надо выместить на ком-то досаду. Не обижайся, смотри на это философски. Может, еще научишься мудро посмеиваться над такими вещами… До конца я так и не научилась, но с тех пор, когда мне не удавалось сохранить спокойствие, злилась больше на себя, чем на Арне, и наша совместная жизнь от этого только выиграла.

В отпуске ссор не было. Арне от души радовался, что мы вместе, и даже сейчас я вспоминаю тот пекинский август как самый светлый месяц своей жизни.

И вот передатчик опять в моей комнате, чистенький, смазанный, снабженный усовершенствованием, которое придумал Арне. Слышимость превосходная. Мне было нечего сообщить Ляо, зато он радировал: «Выезжай с вещами в Шанхай. Арне получит нового помощника».

Я не стала будить Арне. Сидела у кровати, смотрела на него — крутой лоб, высокие скулы, тонкий нос, беспокойный нервный рот, руки. Я не уговаривала себя держаться твердо, просто расплакалась, в третий и последний раз за все время, что мы пробыли вместе. Первый раз — в пражском кинотеатре, из-за Франка, второй раз — в лесу, из-за Шучжин, а теперь… прощаясь с Арне.

Спящий человек кажется беззащитным и юным, не зная, что на него смотрят, он весь во власти бодрствующего. Из глубины памяти всплыли строки Рильке, я прочла их тихо, точно сквозь сон:

Я хочу баюкать кого-то,
у кого-то и с кем-то быть.
Я хочу тебе спеть негромкое что-то
и с тобой во сне твоем плыть.
Я хочу быть единственным в доме,
кто знал, как мерзнут цветы.
И слушать, как шепчут в дреме
созвездия, листья и ты.
Часы окликают ночной покой,
и время видимо все до дна.
И по улице кто-то идет чужой,
чужую собаку лишая сна.
И вновь тишина. И мой взгляд
держит тебя во сне,
возносит и опускает назад,
лишь что-то дрогнет в окне[7].

Опять мы с Франком садимся в поезд со всем своим скарбом, разве что без рации. Мне не надо тщательно следить за вещами, сосредоточенно ждать таможенного досмотра — в порядке исключения мы едем как нормальные люди.

Нормальные? Не знаю, в какой стране мне предстоит работать в будущем, не знаю, увижусь ли когда-нибудь с любимым. Я почти уверена, что у меня будет ребенок, но твердо решила никому об этом не заикаться, иначе его у меня отнимут.

Попрощались мы дома. Сейчас Арне стоит у окна вагона, и возбужденная болтовня Франка заполняет наше молчание. Детям легче, чем взрослым, мальчик скоро забудет, что некий Арне любил его как родного сына. А мне больно, оттого что память ребенка ничего не удержит. Как долго я буду тосковать — месяцы, годы, всю жизнь?

Услышав, что я должна уехать, Арне не хотел верить.

— Мы прощаемся не навсегда, — твердил он. — Наши ведь не изверги, мы останемся вместе. Как только я вернусь, мы поженимся.

Он строил планы на будущее и не замечал, что я молчу. Лучше молчать. А то он не поверит, что мне расстаться с ним не легче, чем ему со мной. Он так выпрашивал у меня адрес моих родителей, что в конце концов я сдалась, вопреки всем правилам конспирации.

— Я напишу тебе сразу же, как только уеду из Китая, — сказал он. — Обязательно напишу.

Двери закрываются, слышится свисток паровоза.

Арне не машет рукой, только провожает нас взглядом, глаза его затуманиваются, он поворачивается и идет прочь…

Уже много лет я живу на родине.

О былом вспоминаю редко, настоящее поглощает меня целиком. Но прошлое само заявляет о себе.

В 1965 году, через тридцать лет после разлуки с Арне, из Аргентины пришло письмо. Родители мои умерли, я вышла замуж, сменила фамилию. Окольными путями письмо попало к моему брату. Вскрыв конверт, я вынула оттуда китайский рисунок — бамбуковая ветвь, а под ней написано: «Ты всегда так любила бамбук».

Я закрыла глаза: прощание на пекинском вокзале, долгий путь в Европу, разговор с товарищем Карлом — на сей раз в Париже. Я очень долго помнила эту беседу. Карл встретил меня весьма сердечно. Внимательно выслушал мой рассказ — ему

хотелось знать все до тонкостей, — а под конец сказал:

«Какого ты мнения об Арне?»

Вопрос удивил меня.

«Конечно, хорошего. Он надежный, храбрый, изобретательный, дотошный».

«Только временами лезет на рожон», — перебил Карл.

«Да, но не до такой степени, чтобы наломать дров».

«А иной раз склонен к анархизму или к сектантству. Впрочем, эти крайности зачастую идут рука об руку».

Тут уж я возмутилась, такой поворот мне решительно не понравился.

«Нет, какой из Арне анархист? Наоборот, он чрезвычайно дисциплинирован. Возьми свои слова обратно, это неправда. И не сектант он вовсе, как ты только мог так подумать?»

«Ладно, успокойся, — рассмеялся Карл. — Мы тоже считаем его храбрым, изобретательным и волевым».

«И еще кое-каким», — упрямо добавила я.

Ответить он не успел, потому что у мепя вырвался вопрос, который мучил меня уже много дней, правда, задавать его было незачем, ведь ответ — каков бы он ни был — ничего не изменит. Но в ту минуту от волнения у меня вырвалось:

«Сотрудник Арне — женщина?»

«Нет».

Неизъяснимое, непонятное облегчение, будто теперь можно предположить, что в память обо мне Арне примет обет безбрачия.

Вечером я долго не могла уснуть, слова Карла не шли из головы, и чем больше я размышляла, тем сильнее тревожилась. Лезет на рожон — это верно, и сектантские замашки порой проскальзывали, но анархистские? Нет, никогда или уж крайне редко.

Тоска по нем смешивалась с новыми чувствами, с новой тревогой. Я бросила Арне в беде, уехала, вместо того чтобы остаться с ним и оберегать его от его же собственного упрямства и кой-чего еще, один он не справится, наделает глупостей. Как часто я отказывалась переубеждать его только потому, что мне самой не хотелось ссориться. Я пыталась успокоиться, твердила себе, что мои тревоги не стоят выеденного яйца: просто мне его не хватает, и к тому же в бессонную ночь у страха глаза велики. Ведь характером Арне куда сильнее меня. Так чего же я вообразила, что нужна ему? Но тревога не унималась.

Как же я тогда ждала весточки от Арне! Только письма все не было. У меня родилась дочка, его дочка, а он и не подозревал об этом. Ее первая улыбка блеснула для меня отсветом того пекинского августа. Я очень любила малышку, а Франк

необычайно трогательно заботился о сестренке.

Дети всюду были со мной, где бы я ни работала. Я всегда старалась окружить их теплом и уютом — ведь они были лишены родины.

Так продолжалось долго, и только колоссальным усилием воли я сумела погасить в душе образ Арне. Нет, он не погас по сей день, я имею в виду другое: мне долго не удавалось внутренне отмежеваться от доброго, сложного, важного времени, когда мы были вместе…

Не знаю, почему я никак не могла решиться прочесть письмо Арне. Наконец пришла к мужу, который работал за письменным столом, и попросила ого послушать.

Арне писал, что живет теперь в Аргентине, но тоска по родине гнетет его день ото дня сильнее. К тому же ему очень хочется повидаться со мной, поговорить. Он мечтает вернуться, на хлеб-то он везде заработает, несмотря на свои почти шестьдесят лет.

«Взгляды мои не изменились» — эта фраза была подчеркнута дважды.

Я ответила, что он может приехать и жить у нас сколько угодно; мы со своей стороны постараемся ему помочь. Еще я написала, что тоже не изменилась и что его письмо очень меня обрадовало.

Ответа я не получила.

Только два года спустя от него пришла весточка из Западной Германии. Сперва он был вынужден накопить денег на дорогу, сейчас живет в Эссене и через несколько дней приедет в Берлин.

В первое январское воскресенье рано утром у двери раздался звонок. Арне. На этот раз он дрожал от волнения и холода. Я быстро принесла теплую кофту и надела на него. Я видела, что он очень исхудал, но держится по-прежнему прямо. Возраст и лишения наложили на него свой отпечаток, но лицо… совсем как тогда… И я поняла, что крепко любила его.

Разговорились мы не сразу. Позже, после завтрака, Арне объяснил, что хотел бы поселиться в ГДР, но пока поработает в Западной Германии, чтобы скопить денег — нужно выписать жену и дочь. Уже полгода он работает на заводе в Эссене.

— Я стараюсь тратить поменьше, — добавил он. — И все равно придется вкалывать еще минимум три месяца, прежде чем они смогут выехать.

Тут он спохватился, открыл портфель и достал большую коробку конфет — для меня…

Арне еще долго жил в Китае. В 1949 году после победы революции он, как и большинство иностранцев, угодил в лагерь.

Контакт с международным движением он, по всей видимости, утратил. В те напряженные времена такое случалось. С группой иностранцев его выслали пароходом в Южную Америку, так он попал в Аргентину. Долго жил в бедности, пока не выучил язык и не устроился радиотехником. Женился на аргентинке, брак удачный.

— Я рабочий и никогда не желал другого. А в последние годы — не знаю, может, возраст виноват — стало просто невмоготу, потянуло домой. И ты перед глазами как живая. Буду работать, накоплю денег, обузой никому не стану и в ГДР останусь коммунистом, как был им в Аргентине. Как ты думаешь, можно мне сюда переехать?

Я кивнула, размышляя, как бы это лучше всего устроить. Понадобится рекомендация аргентинских товарищей.

— Ты знаешь, — сказал Арне, — тот, что сменил тебя, никуда не годился. Вот тогда я понял, как хорошо работалось с тобой. Помнишь трансформаторы в старом кресле?

Мы оба ушли в воспоминания. Я спросила, довелось ли ему слышать что-нибудь о Шучжин.

— Только печальные вести, — ответил он. — Она погибла, никого не выдав. Мужа ее арестовали чуть позже, не знаю, что с ним делали, но он потерял рассудок и как будто проговорился о чем-то — заметьте, в безумном бреду, он даже не понимал, что находится в тюрьме. Думаю, потому тебе и пришлось уехать.

Известие ошеломило меня, точно все это произошло сейчас, а не тридцать два года назад. Их дети — как они росли? Теперь они сами давно стали родителями…

— Странно, — сказала я, — тот день сорок девятого года, когда я узнала об освобождении Китая, был одним из счастливейших в моей жизни, от радости я не могла ни есть, ни спать. Это событие казалось мне самым знаменательным после Октябрьской революции семнадцатого года в России. Я думала и о нас, гордилась, что мы тоже вложили свой камушек в огромную мозаику китайской жизни. А теперь вот оказывается, что тебя посадили в лагерь.

— Но послушай, они не могли поступить с иностранцами иначе. Не думаешь же ты, что я настолько мелочен, чтобы лагерь умалил мою радость. Я, может, еще больше твоего радовался, я там пятнадцать лет прожил.

— Тогда события последних лет в Китае действуют на тебя по меньшей мере столь же угнетающе, как и на меня?

— Угнетающе? Не понимаю.

— Ты со всем там согласен, так, что ли?

— Скажу одно: пока в мире есть богатые и бедные страны, я

всегда на стороне бедных.

Мы спорили пять часов подряд, и не только о Китае, но так и не смогли прийти к единому мнению — мы были совсем чужими. Я до того измучилась, что замолчала. Разговор продолжил мой муж. Может, спокойствием он добьется большего, чем я своим бешеным темпераментом. Но и его слова ничуть не подействовали на Арне, они проходили мимо него, словно мы разговаривали со стенкой за его спиной.

На следующее утро он еще раз приехал к нам из Западного Берлина.

Мы все собирались на демонстрацию к могиле Розы Люксембург и Карла Либкнехта в Фридрихсфельде. День выдался холодный. У Арне, который так самоотверженно экономил ради семьи, не было ни перчаток, ни теплой шапки, только легонькое пальтецо — пришлось выручать. Его взволновало огромное количество людей, вместе с другими демонстрантами он махал руководству на трибуне, глаза его сверкали. Он все оборачивался, пока следующие ряды не увлекли нас дальше… А я думала, что мы обязательно должны найти общий язык.

После демонстраций обед у нас обычно состоял из одного блюда. Но в то воскресенье я спозаранку начала готовить праздничный стол.

По лицу Арне было заметно, что ему все очень нравится.

— Живете, как князья, — заметил он и рассказал о страшной нищете, которая в Аргентине соседствует с богатством.

И опять мы весь вечер спорили. Наконец он сказал:

— Если бы я вернулся сюда в сорок пятом, я бы, наверно, разделял ваши убеждения. И если бы ты осталась со мной в Китае, а потом уехала в Аргентину, то, вероятно, думала бы, как я.

— Никогда. Марксистом можно быть в любой стране.

— Если для меня тут нет места, что ж, вернусь в Западную Германию, но тамошние рабочие думают только о своем благополучии, они революции не сделают.

Мы снабдили Арне литературой, посоветовали поразмыслить над нашими беседами и, может, еще до приезда семьи навестить нас опять, чтобы потолковать обо всем.

Я раздумывала, почему не только я, но и муж, который знал Арне только по моим рассказам и впервые с ним встретился, были так потрясены. Стань Арне плохим человеком, я бы быстренько спровадила его. Ведь хорошее в нем сохранилось — чистота, неподкупность, непритязательность, страстность в борьбе за права эксплуатируемых, — но какая путаница в мировоззрении!

Через десять дней пришло письмо. Он писал, что решил вернуться в Аргентину. В Западной Германии ему не нравится. Он бы очень хотел найти родину в ГДР, но, даже будь такая возможность, это вызвало бы слишком много конфликтов. Думая о том, как живется нам в ГДР по сравнению с бедняками в Аргентине, он чувствует близость с ними, а не с нами. Неужели я не замечаю, что мы обуржуазиваемся? Какая простая и скромная я была раньше, а теперь — четыре блюда на обед, тогда как в других странах люди голодают.

Я не ответила. Да и что напишешь в Аргентину?

Каждый год Арне присылал к Новому году яркую открытку с напечатанным поздравлением и своей подписью. Мои внуки ссорились из-за аргентинских марок. А потом пришла посылка. Я осторожно развернула шелковую бумагу — и в руках у меня очутился гонг торговца фарфором.

С тех пор я больше ничего не слышала об Арне.

Перевод Н. Федоровой.

ВОСЬМЕРКА ЗАДНИМ ХОДОМ

Мы сели в машину одновременно. Господин Модер распахнул дверцу справа, я — слева, третий же, имени которого я не знала, устроился на заднем сиденье.

С господином Модером я познакомилась две недели назад. Сегодня это была наша пятая встреча. Поначалу мы не проявляли друг к другу никакого интереса, как это обычно и водится между инструктором по вождению автомобиля, у которого полно учеников, и одной из его учениц, заинтересованной лишь в том, чтобы как можно скорее получить права. Но уже во время второго нашего занятия или чуть позже я стала невольно думать о нем; то вдруг я чувствовала к нему симпатию, потом он снова выводил меня из себя, и я чуть ли не презирала его.

Из его рассказов я узнала, что у него двое детей — девочке девять, мальчику семь лет — и что у него прекрасная жена, в чем вскоре я смогла убедиться собственными глазами, поглядев на ее фотографию. В семье Модеров царили упорядоченные супружеские отношения. Меня это совсем не удивило: мой инструктор любил порядок и меру, это был во всех смыслах «человек середины» — так сам он называл себя не без гордости. Здесь-то и скрывалась причина моего интереса: как ведет себя такой человек в жизни?

Он родился в Данциге, был евангелического вероисповедания и очень сожалел, что ему не довелось венчаться в костеле девы Марии. Меня раздражала та серьезность, с какой он воспринимал это огорчительное обстоятельство. Я спросила, неужели на свадьбе было так много гостей. Ведь высокий готический собор, к которому стекались самые старые улочки нашего города, мог вместить по крайней мере тысяч двадцать пять народу. Слегка задетый и даже обиженный моим грубоватым ехидством, он посмотрел на меня своим кротким взглядом, и трудно было сказать, какого цвета у него глаза, серые или голубые, скорее всего, нечто среднее между тем и другим, как и вообще все в нем. Он тихо сказал:

— Я хотел этого из-за алтаря Мемлинга.

Тут я резко изменила тон. Этот расписной алтарь действительно великолепен, сказала я, а уж мне довелось поездить по свету и повидать немало церквей. Мои слова его обрадовали.

Возможно, художник Ханс Мемлинг завоевал симпатии Фрица Модера, инструктора по вождению, как раз тем, что на его картине все было просто: в мире существовало только добро и зло

да еще всевидящий господь бог, чьи помощники-ангелы рассортировывали людей, словно на аптекарских весах: добрых отправляли на небо, злых в преисподнюю.

Правая створка алтаря производила более сильное впечатление, она была намного жизненнее, чем левая, где праведники с приятными, но несколько скучноватыми лицами ожидали отправки в рай. Злодеи же подвергались ужасным пыткам. Они горели в адском огне, их плоть была изранена, лица искажены, будто бы они, если можно так выразиться, испускали последний вздох. Впрочем, это и так уже свершилось в конце их земного пути.

Господин Модер делил людей по тому же принципу, что и художник, расписавший алтарь, — на добрых и злых. Существенную роль играли при этом и его политические взгляды. Что же касается Ханса Мемлинга, то о нем в этом плане известно мало. Можно лишь предположить, что в 1473 году он, так же как и господин Модер в 1937-м, не хотел войны. Как раз тогда его фреска «Страшный суд», над которой он не один год работал в Брюгге, была погружена на корабль и отправлена одному меценату в Италию. Корабль оказался втянутым в торговую войну между Англией и ганзейским союзом, в открытом море он был взят на абордаж судовладельцем Петером Бенеке. Последний «пожертвовал алтарь», именно так говорится в старых книгах, костелу девы Марии.

В этом пункте сходство взглядов, надо думать, кончалось: Ханс Мемлинг наверняка зарезервировал для этого данцигского корсара место в той части алтаря, где помещалась преисподняя; в глазах Модера разбойник был героем.

Партия Католического центра, за которую он всегда голосовал, была для него своего рода точкой отсчета, социал-демократам он не отказывал в праве на существование, немецким националам тоже — «люди середины» должны проявлять терпимость. Нацистов и коммунистов он отправил бы в чистилище, впрочем не всех. «И среди них попадаются люди, которые хотят добра, их просто ввели в заблуждение». За последние два года центр тяжести в его политических антипатиях несколько переместился: коммунисты были под запретом, нацисты — нет. Он находил это недопустимым и несправедливым, тем более что нацисты как раз тогда развернули клеветническую компанию и против католической партии.

Больше всего на свете господин Модер любил автомобили. Собственную машину он собрал своими руками. Он был терпеливым инструктором, на которого можно положиться, и мне было приятно, что во время нынешней поездки втроем он сидел

рядом. Его успокаивающая, дружеская близость была мне необходима.

Как звали человека, сидевшего сзади, я не знала. Об этом я уже говорила. Я встретилась с ним за двадцать семь минут до начала нашей поездки, и столько же времени я его ненавидела. Еще до того, как мы сели в машину, я зашла в его кабинет, тихо пожелав ему доброго утра. Ответа не последовало. Сидя за письменным столом, он заполнял какой-то формуляр. Места за двумя другими столами пустовали. Он был небольшого роста — насколько можно судить о человеке, когда он сидит, — волосы у него были жидкие и светлые, на верхней губе, чуть погуще, усы. Руки узкие и холеные, Я подумала, что у него непременно должны быть голубые глаза, но он еще ни разу не взглянул на меня.

В углу стояла деревянная вешалка, четыре больших крюка которой были изогнуты в виде змей, там висело темно-зеленое пальто из грубого сукна и тирольская шляпа. Простояв еще некоторое время неподвижно, я повторила чуть громче:

— Доброе утро!

Человек поднял глаза, посмотрел на меня, и я тут же догадалась, о чем он подумал. Это было написано в его взгляде, в глазах, которые действительно оказались голубыми, наверное, они умели даже становиться дружелюбными, когда он имел дело с себе подобными. Но теперь перед ним стояла женщина, у которой не было ни светлых волос, ни голубых глаз, да и во всем остальном она явно не соответствовала его представлению о расовом идеале.

— Хайль Гитлер! — резко выкрикнул он в ответ.

Это означало, что со мной все ясно. Я поняла, насколько бессмысленно пытаться сдавать ему экзамен: результат уже предрешен. Оставалось только взглянуть на него с презрением, еще раз громко и отрывисто сказать «доброе утро», повернуться спиной и гордо удалиться из здания полицайпрезидиума. Только таким способом я могла помешать ему торжествовать победу. Но, может, я сдавалась раньше времени? И разве дело мое не стоило того, чтобы побороться?

Один раз мне уже довелось сдавать такой экзамен. И здесь, в Данциге, у меня тоже должны быть водительские права — так решили товарищи. Собственного автомобиля у меня никогда не было, но в искусстве вождения я превосходила многих.

— Сядьте, — сказал чиновник.

Вопросы следовали один за другим. Он выискивал самые головоломные и вдобавок требовал от меня трехцветных схем. Передавая мне красный карандаш, он чуть ли не швырнул его, и

тот закатился под стол. Возникла пауза. Чиновник не двинулся с места. Я тоже. В конце концов я полезла в свою сумку и достала красный карандаш оттуда, он был совсем затупившимся.

Экзамен длился двадцать пять минут. На все вопросы я ответила правильно.

Когда мы вышли из помещения и направились к автомобилю, господин Модер вздохнул с явным облегчением: ему пришлось долго нас дожидаться.

Но самая тяжелая часть экзамена была впереди. Уже сейчас я нервничала, чувствовала, как меня покидают силы, заново возвращалась к мысли: а не лучше ли прекратить все это и покинуть сцену с гордо поднятой головой, с ненавистью в глазах, вместо того чтобы добровольно обречь себя на поражение и доставить удовольствие этому производному от грубошерстного пальто, тирольской шляпы с кисточкой и неизменного «хайль Гитлер»?

Ну уж нет, я ведь чувствовала себя вполне уверенно за рулем, к тому же добрейший господин Модер был рядом. Перед ним этот чиновник обязан изображать справедливость, он даже не стал проваливать меня на устном экзамене, хотя там мы были только вдвоем. А может, он затем и позволил мне сдать теорию, чтобы не отказать себе в удовольствии помытарить меня по улицам, как ему вздумается?

Итак, лучше было покончить со всем этим сразу. Но разве не значило бы это добровольно, без борьбы признать его власть?

Мы ведь находились не на территории фашистской Германии, а в так называемом «вольном городе Данциге», конституцию которого гарантировала Лига Наций — этого обстоятельства не хотели признавать нацисты, этому они и сопротивлялись. И как раз поэтому нельзя было отступать без борьбы ни на шаг.

Сегодня, тридцать семь лет спустя, многое позабылось. Но я отчетливо помню мгновение, когда мы вышли из красного кирпичного здания и направились к темневшему на снегу автомобилю. До сих пор я ощущаю леденящий холод дверной ручки и мою радость по поводу того, что не этот экзаменатор, а господин Модер с его подбадривающей улыбкой оказался рядом. Впрочем, через мгновение пришла другая, гораздо менее приятная мысль — ощущать нациста за спиной, пожалуй, еще страшнее. Я чувствую на себе его взгляд и деревенею.

Неуверенной рукой я поворачиваю ключ зажигания, включаю первую передачу, шины взвизгивают, и автомобиль рывком дергается с места. В отчаянии я смотрю на господина Модера, вид у которого тоже не очень обнадеживающий. Вторая скорость,

скрежет при переключении, третья скорость, скрежет при переключении.

— Еще раз взять с места.

Благодарю за казарменный тон! Я больше не чувствую себя неуверенной. На этот раз я трогаюсь без осложнений.

— Повторить.

Третий старт тоже проходит удачно. И четвертый. И пятый.

Господин Модер слегка побледнел.

Долго ехать по прямой мне не дали.

— Направо. Направо. Налево. Направо.

Каждый раз команда отдается в самый последний момент. Во всяком случае, он не из трусливых, этот нацист, похоже, перспектива аварии его не смущает.

Теперь я была уже спокойна и ко всему готова, тем не менее присутствие господина Модера очень мне помогало, помогали его широкие плечи и сосредоточенный взгляд, руки, готовые тут же подхватить руль, если я сделаю неверное движение. К тому же меня поддерживали, правда больше психологически, чем практически, его тихие советы, какие опытный инструктор подает, едва шевеля губами, даже на глазах у самого строгого экзаменатора.

Без происшествий мы добрались до старой части города. Естественно, что эти узкие, нелегкие для проезда улочки входили в обязательную программу экзамена. Не совсем обычным показалось мне лишь то, что я должна была пересекать их по многу раз, вдоль и поперек, да еще и задним ходом.

— Направо. Налево. Направо.

Нога господина Модера слегка коснулась моего толстого зимнего пальто. Внимание, ловушка, предупреждало его слабо выдохнутое «нет», — здесь нет правого поворота.

— Назад. Налево. Направо.

Мы все объехали уже по меньшей мере дважды. Рынок, ратуша, фонтан Нептуна, Артусово подворье, Высокие ворота. Сколько ворот мы уже миновали — Высокие, Золотые, Зеленые, Бротбенкентор, Фрауэнтор, — сегодня я уже не могу вспомнить, в каком порядке они следовали друг за другом.

Вот уже в третий раз мы сворачиваем на Ланггассе. С двух сторон красивые узкие фронтоны и фасады домов, самые старые из которых насчитывают четыре столетия, их строили итальянские, немецкие и фламандские архитекторы. Эту улицу особенно любил господин Модер, да и не только он. Когда гордость его слишком уж явно ассоциировалась с «немецким духом», я напоминала ему, что почти шесть столетий город этот принадлежал Польше и жители Данцига отнюдь не стали

счастливее оттого, что немецкий рыцарский орден захватил их город, так же как отнюдь не добровольно подчинились они сорокалетнему прусскому господству.

Во время нашего третьего тура по Ланггассе мы еле ползли: впереди тащился трамвай, кажется, это был четвертый номер, рядом преградила дорогу ручная тележка с углем, то и дело улицу перебегали люди.

Меня это устраивало: чем больше уходит времени, тем лучше. Уже двадцать минут этот человек меня экзаменует. Перед маленьким магазинчиком, где продавались табачные изделия и сувениры и где на двери висела та самая табличка, на которую совсем недавно обратил внимание мой сын, мы застряли окончательно. Здесь, в Данциге, моему сыну исполнилось шесть лет. Отдавать его в немецкую школу мне не хотелось: тамошние учителя своим образом мыслей слишком уж напоминали моего сегодняшнего экзаменатора. Польские школы разрешалось посещать только детям из польских семей, и я занималась с ним сама. Сын уже научился читать небольшие предложения, это приводило его в восторг, и он поминутно останавливался, пытаясь разобрать незнакомые слова. Когда однажды я тянула его за собой по Ланггассе, он спросил про эту табличку — на ходу я не обратила на нее внимания. Я не сразу поняла, о чем он, когда, подбежав, он задал вопрос:

— Что значит «нежелательно»?

— Это все равно что «не нужно», «не разрешается».

— А что такое «евреи»?

Я не ответила.

— Это вроде как «курение нежелательно»?

Он развеселился и запел, подпрыгивая на одной ноге:

— Курение запрещено, евреи запрещены, звуковые сигналы запрещены.

— Перестань сейчас же! — прикрикнула я на него.

Дети никогда не прощают несправедливости.

— Хорошо, — сказал он и откинул голову назад. — Сорить разрешается, воровать разрешается, евреи разрешаются.

Я ударила его, первый раз в жизни. Он заплакал…

Пробка все еще не рассосалась. Четвертый трамвай неподвижно стоял на месте, человек, тащивший угольную тележку, сбросил с плеча лямку и высвободился из оглоблей. Потом огляделся по сторонам. Это был усталый пожилой человек. Наверное, всю свою жизнь он развозил уголь на этой тележке.

Мой экзаменатор опустил стекло и, потеряв терпение, высунулся из окна. Господин Модер воспользовался моментом, чтобы шепнуть мне:

— Плохое настроение сегодня.

Он имел в виду нашего экзаменатора. Ничего господин Модер не понял. Он и не представлял, какая борьба и во имя чего разыгрывалась рядом с ним в автомобиле. Его объяснение было наивно, безобидно и даже дружелюбно — плохое настроение. А вдруг я недооцениваю его, может быть, он считает, что это я не понимаю смысла происходящего, и пытается держать меня в неведении как можно дольше? Он отвернулся, прежде чем я успела взглянуть ему в глаза. Побледневшее лицо, плотно сжатые губы — о чем думал сейчас этот «человек середины»? Вполне возможно, что он всего лишь не хотел смотреть правде в глаза, точно так же как не хотел задуматься над истинным положением дел в своем родном городе.

На угольных брикетах стали скапливаться белые пушинки. Снег. Это еще больше усложнит экзамен. Что толку в этой передышке на Ланггассе — она лишь продлевает мои мучения.

Мы проехали мимо городского театра. Вечером играли «Госпожу Холле». Распродажа дров, распродажа угля, направо, налево — должно же это когда-нибудь кончиться. Я бросила быстрый взгляд в зеркало и заметила, как экзаменатор за моей спиной ухмыльнулся.

Он велел мне ехать к зданию, где помещалось представительство Лиги Наций. Мы проехали мимо. Я посмотрела в боковое стекло. Хлопья снега, налипшие на него, затрудняли видимость. Мне показалось, что полицейские больше не стоят у входа.

Во время нашего третьего занятия мы с господином Модером проезжали это место.

— Лестер — очень порядочный и смелый человек, — заметил он.

Я кивнула.

— Но почему же вы осмеливаетесь говорить о Верховном комиссаре Лиги Наций, в чьи обязанности входит сохранение конституционных гарантий вольного города Данцига, только шепотом?

— Вы же сами знаете.

Мои слова задели его.

— Знаю, потому и задаю этот вопрос.

К замечанию господина Модера я еще раз вернулась после занятий. В самом деле, невозможно было найти пример лучше, чем сам Верховный комиссар, чтобы наглядно продемонстрировать такому человеку, как Фриц Модер, что происходило в этом городе.

Ирландец Син Лестер шесть лет представлял свою страну в

Лиге Наций, когда в 1934 году его, человека незаурядного, интеллигентного и основательного, обладающего недюжинным опытом и пекущегося о справедливости, назначили в Данциг. Он со всей серьезностью отнесся к этой миссии и был полон решимости охранять конституционные права города, не допуская их нарушений ни одной из сторон.

Когда Лестер только приехал в город, он не подозревал, в какой степени конституционный устав уже попран нацистами.

Получив первые доказательства этого, он счел их «проявлением известного рода крайностей, которые, к сожалению, встречаются в целом ряде стран среди определенных слоев населения», включая и его родину.

Прошло время, прежде чем он понял, что на его глазах как бы в уменьшенном размере, но зато тем более определенно разыгрывалось все то, что происходило в немецком рейхе, — в несколько замедленном темпе, правда, однако, благодаря уже приобретенным навыкам, систематичнее. Я охотно побеседовала бы как-нибудь с Верховным комиссаром и задала бы ему, скажем, такой вопрос: как вы оцениваете, господин Верховный комиссар, постановление данцигского сената, согласно которому в полиции теперь имеют право служить лишь убежденные нацисты? И как реагировали вы на сообщение, так потрясшее господина Модера? Оно гласило: «Врагам национал-социалистского государства, а также сторонникам партии Католического центра отныне нечего делать в аппарате данцигского городского самоуправления».

И как относитесь вы к тому, что преследуемые евреи в потемках разыскивают ваш дом и умоляют вас о помощи?

А что скажете вы о жалобах польского населения? О том, что людей избивают только за то, что они говорят на своем родном языке?

Как приняли вы депутацию от рабочих порта, перед которыми была поставлена альтернатива: вступить в национал-социалистскую партию или лишиться работы?

Что ответили вы на заявление нацистского гауляйтера Альберта Форстера: «Как первое лицо в провинции, я не несу ответственности ни перед кем, кроме моего фюрера»? А позже, когда ваш дом был еще открыт для тех представителей буржуазии, которые выступали за соблюдение конституции, другое высказывание того же Форстера: «Бывший социалист Син Лестер допускает, чтобы данцигские марксисты пичкали его своими вздорными измышлениями, в то же время, когда речь заходит о национал-социалистских идеях, он демонстрирует непонимание и пренебрежение». Что вы ему ответили тогда?

Гауляйтер Форстер сожалел лишь о том, что он не в

состоянии расправиться с Верховным комиссаром как с простым смертным, поскольку за тем стояла Лига Наций. Однако, когда Лестер обратился в Лигу за поддержкой, наступил трагический момент — как для Верховного комиссара, так и для всего мира. Лига вовсе не поспешила активно вмешаться, она смотрела сквозь пальцы на распродажу Данцига нацистам. Эта распродажа совершалась не сразу и не оптом, она шла исподволь, медленно, участок за участком — в политике это так же опасно, как в коммерции.

Единственным, кто поддерживал Лестера в Лиге Наций и одновременно предостерегал его, был Литвинов, советский министр иностранных дел.

Британский консерватор Антони Иден отвечал в Лиге за данцигский вопрос. До сих пор я помню, как выглядел Иден, — газеты часто помещали его фотографии не только как министра, но и как «человека, одетого в Англии изысканнее всех».

Каждое конкретное предупреждение Лестера о нацистской опасности в Данциге встречало со стороны Идена лишь отговорки: «Мы непременно изучим ситуацию, мы проследим за тем, что происходит».

Грайзер, президент данцигского сената и одновременно правая рука гауляйтера, с явным удовольствием принял к сведению пассивность Идена и заметил, что он ведет себя «как джентльмен».

Лестер не сдавался, ему удалось добиться, чтобы президента сената вызвали на ассамблею Лиги. Там Грайзер произнес напыщенную речь, которую закончил возгласом «хайль Гитлер!». Как смеялись тогда над этим участники ассамблеи! Но именно только смеялись. А Форстер мог уже позволить себе говорить о Лестере как о «нарушителе спокойствия».

Преследуемые нацистами все еще приходили к Лестеру, ища у него защиты своих прав и надеясь на улучшение положения, пока Грайзер и здесь не поставил заслон. Перед входом в здание появились полицейские, один из агентов в штатском спрашивал посетителей о цели их визита и разъяснял затем, что с подобными просьбами следует обращаться не к Лестеру, а в сенат, ибо все это относится к разряду «внутренних дел Данцига». Затем последовали аресты.

Теперь уже никто не ходил к Лестеру. Его корреспонденция просматривалась, его телефон прослушивался. Гауляйтер Форстер заявил: «Верховному комиссару господину Лестеру больше нечем заниматься в Данциге, и мы не понимаем, почему именно в нашем городе он должен получать сотни гульденов жалованья только за то, что принимает морские ванны и

занимается рыбной ловлей».

Когда мы проезжали мимо резиденции Лестера, полицейских у входа больше не было: в них отпала необходимость. Лишенный Грайзером всех своих полномочий и оставшись без поддержки Лиги Наций, Верховный комиссар одиноко жил на своей вилле. Спустя какое-то время он обратился в Лигу с просьбой о том, чтобы его отозвали. Просьба была тут же удовлетворена. Новый Верховный комиссар не был «нарушителем спокойствия» — он сотрудничал с нацистами. Теперь, когда в Лигу, уже по другим каналам, поступали протесты, касавшиеся положения дел в Данциге, Иден отвечал: «Если бы все это было так серьезно, Верховный комиссар непременно проинформировал бы меня». Для Лиги Наций в Данциге по-прежнему царило спокойствие, оно царило там вплоть до 1 сентября 1939 года, когда в серые предрассветные часы нацисты начали вторую мировую войну.

Не зная всего этого, нельзя было понять, почему мой экзаменатор, издевательски ухмыляясь, заставил меня трижды сделать круг возле резиденции Верховного комиссара, почему господин Модер быстро взглянул на меня и по крайней мере теперь понял, что происходило в автомобиле.

Удалось ли вам пережить войну, господин Модер, и то ужасное разрушение Данцига, за которое целиком несет ответственность гитлеровский рейх? На столь любимой вами Ланггассе осталось только три дома, все остальные превратились в руины. Тяжело пострадал и костел девы Марии. А как же алтарь работы Мемлинга? Нацисты прихватили его с собой — так они поступали повсюду с сокровищами искусства, представлявшими особую ценность. Известно ведь, как создавалась уникальная картинная галерея Геринга.

Спустя несколько лет алтарь был обнаружен в Тюрингии и передан Гданьску Советским Союзом.

После того как мы покружили несколько минут вокруг резиденции Верховного комиссара, нашим дорогам предстояло довольно неожиданно разойтись. Вскоре я написала господину Модеру письмо, но он не ответил.

Мы выехали за пределы самой оживленной части города и направились к Лангфуру. Только теперь, когда вести машину стало легче, я почувствовала, насколько я измотана.

Внезапно экзаменатор указал мне на переулок, у въезда в который висел знак, запрещающий движение.

Снова ловушка. Я останавливаюсь.

— Нет, — говорит он, — сворачивайте здесь.

Я выполняю указание, и он продолжает изменившимся, звучащим почти что ласково голосом:

— А теперь мы попробуем восьмерку задним ходом.

Господин Модер, который до этого момента не вмешивался и не произнес ни слова, оборачивается и недоверчиво переспрашивает:

— Восьмерку — задним ходом?

— Мне что, повторить?

— Извините, — испуганно бормочет господин Модер.

Две капли пота скатываются по его вискам.

Фриц Модер, конечно, не знает, что тревога его напрасна, потому что восьмерка задним ходом — мой конек. С огромным удовольствием я бы сейчас расхохоталась. Но я скрываю свою радость, так же как до этого скрывала усталость.

Воспоминания накатывают на меня, и человек на заднем сиденье как будто перестает существовать.

Китай, 1932 год. Товарищи посчитали необходимым — по тем же соображениям, что и здесь, в Данциге, — чтобы я получила водительские права, это давало возможность более свободного передвижения коммунистам, находившимся в подполье. Шанхай — город иностранных и китайских торговцев, каждый с автомобилем, город ста тысяч рикш, с невероятной скоростью мчавшихся перед своими тележками и умиравших в тридцатилетнем возрасте. Втиснуть автомобиль между рикшами, которые ожидают пассажира, — это большое искусство. Чтобы обучить ему начинающих водителей, их заставляли бесконечно упражняться в восьмерке задним ходом, больше того, восьмерка эта проходила между столбиками, расставленными на узком расстоянии друг от друга и оставлявшими автомобилю пространство для маневра лишь в несколько сантиметров. Если один из столбиков падал, считалось, что экзаменующийся провалился, — понятно, что прежде всего автомобилисты в Шанхае терпеливо осваивали восьмерку задним ходом.

Товарищи меня предупредили, что с первого раза экзамен не сдает никто, по крайней мере им такие случаи неизвестны. Если удавалось сдать со второго раза, это было уже серьезным достижением: основная же масса сдавала с третьего захода. Вот почему товарищи выразили готовность поставить бутылку вина, сдай я экзамен с третьего раза. Если же потребовалось бы идти сдавать еще и в четвертый, и в пятый раз, что в принципе тоже было возможно, то выставить бутылку вина должна была уже я.

Товарищи из нашей маленькой интернациональной группы любили посмеяться и нередко подшучивали друг над другом. Как самая молодая, я часто становилась объектом этих шуток, но поскольку застенчивой никогда не была, то с лихвой платила тем

же. Порой мы вели себя как расшалившиеся дети, и никому бы и в голову не пришло, что у руководителей нашей группы уже тогда было имя и вес в рабочем движении — не в Шанхае, конечно, где они были на нелегальном положении и жили с чужими паспортами, работая в каком-нибудь неприметном месте. Коммунистическая партия в Китае была запрещена. Каждому, кто был ее членом или поддерживал ее, грозила смертная казнь. Но правильно ли, что я рассказываю о наших дружеских шутках, а не о нашем героизме? По собственному опыту я знаю, что любой герой в повседневной жизни бывает самым обычным человеком.

Серьезность нашей работы и постоянная опасность не позволяли нам расслабляться, но мы вполне осознанно наслаждались жизнью, особенно в те короткие минуты, что мы — страшно редко и в нарушение всех законов конспирации — проводили вместе. Подшучивание друг над другом тоже входило в программу хорошего настроения, вот так я получила фантастическое предложение, касавшееся восьмерки задним ходом.

Мой первый экзамен никого не интересовал, потому что в любом случае за ним должен был последовать второй. Товарищи даже не знали точно, на какой день его назначили. Я старалась как могла, и начало было обнадеживающим. Даже во время восьмерки задним ходом, которая всегда выполнялась в заключение, я проехала значительное расстояние без осложнений, пока мы не вышли на последний полукруг. Может быть, я волновалась из-за того, что самым невероятным образом чуть было не сдала экзамен, не знаю, но только уже где-то на последних двух метрах один из столбиков вдруг покачнулся. Это было допустимо, нельзя только, чтобы он упал. Столбик, милый, не падай, выстой, повторяла я про себя, но он уже лежал на земле. Ну и ладно, почему, в конце концов, я должна с первого раза добиться того, что не удавалось даже тем, кто намного лучше меня держался за рулем? Однако глубина разочарования открыла мне глаза: я поняла, какую мечту лелеяла в своей душе. Инструктор и экзаменатор посмотрели на меня с сочувственной улыбкой. Предстояло еще отогнать машину обратно. Движение было оживленным. Я ехала довольно быстро и уверенно. Вдруг из переулка вылетел «крайслер». Его водитель не учел, что главной улицей считалась наша и мы пользовались преимуществом проезда. Тормоза у меня взвизгнули и, бросив быстрый взгляд на тротуар, я резко вывернула руль. Сильный удар о бортик тротуара — и мы приземлились на тротуаре, точно между двумя фонарными столбами. Я вовсе не хвалюсь ни присутствием духа, ни своим особым умением, просто мне выпал один счастливый

случай из тысячи несчастливых, где могло быть все: человеческие жертвы, перевернутый автомобиль вместе со сбитым фонарем — это было куда вероятнее.

Мой инструктор-китаец потирал правое колено, чиновник с гримасой боли на лице ухватился за свой локоть, сама я сильно ударилась о руль и никак не могла перевести дыхание.

Движение застопорилось. Как обычно при уличных происшествиях, собралась толпа и шумно обсуждала случившееся, были слышны похвалы и ругань, предлагалась помощь.

Чиновник схватил свой блокнот, выскочил из автомобиля и, проложив себе дорогу через все разраставшуюся толпу, записал номер «крайслера», ожесточенно споря с нарушителем.

Вернувшись, он, несмотря на свою ушибленную руку, обнял меня за плечо, поблагодарил, осыпал похвалами, все время повторяя вперемежку со своим незамысловатым английским слова «дин хао, дин хао» — очень хорошо, очень хорошо. В заключение он сказал: «Вы выдержали экзамен».

Да, это был великолепнейший момент, когда при встрече с товарищами я как бы невзначай сообщила им результат.

Они не поверили мне и сочли шутку довольно-таки заурядной, но я продемонстрировала права. На какое-то мгновение все утратили дар речи, потом раздался смех, они требовали подробностей, и мой рассказ то и дело прерывался взрывами смеха. Естественно, на столе появилось вино, и нам выдалась редкая возможность посидеть всем вместе. Часы таких встреч я считаю лучшими в моей жизни.

Один из участников нашей группы, работавшей по заданию комитета международной солидарности, был позже схвачен, приговорен к смертной казни и расстрелян, другой долгие годы провел в тюрьме. Судьба остальных мне неизвестна, но я точно знаю, что никто из них не предал своих товарищей, вот почему я живу на свете и могу записать эту историю.

Итак, восьмерка задним ходом в городе Данциге. Пусть он гоняет меня еще хоть два часа, я не сдамся добровольно.

— Повторить.

Моя безукоризненная восьмерка раздражает его, что ж, хорошо, я повторяю. Переключая скорость, я чувствую, как сиденье подо мной слегка дрожит. Смотрю вбок. Господина Модера бьет озноб. Я вижу, как ударяются друг о друга его колени, он закрывает лицо руками, потом: отнимает их, стучит кулаками по приборному щитку и выкрикивает несколько раз подряд одну и ту же фразу:

— Я этого не выдержу! Я этого не выдержу!

Экзаменатор выскакивает из машины, открывает переднюю дверцу и орет:

— Убирайтесь!

Он дергает господина Модера за пальто, ему кажется, что тот вылезает из машины недостаточно быстро. Господин Модер тяжело дышит, он даже не наклоняется за своей шляпой, которая выкатилась на дорогу. Он удаляется неуверенной походкой, с непокрытой головой, подергивая плечами.

Побежать бы вслед за ним, думаю я про себя, схватить его за руку, привести в чувство и вместе с ним стряхнуть с себя весь этот кошмар!

Экзаменатор захлопнул заднюю дверцу, прошел вперед и уселся рядом. Господин Модер бросил меня в беде, без него продолжать эту гонку бессмысленно. Оставшись со мной один на один, чиновник мог в любой момент положить конец нашей игре в кошки-мышки, объявив, что я провалилась. А может, он с радостью растянет свои издевательства подольше, чтобы довести меня до такого же состояния, как господина Модера, а я сгоряча попадусь на удочку и доставлю ему максимум удовольствия, пока буду отчаянно крутить руль. Выскочить из машины, пока я не начала кричать так же, как господин Модер.

Собрав всю силу воли, я приказала своим рукам не отпускать руль.

Бедный господин Модер, он так хорошо относился к окружающим, и ко мне в том числе, однако в этом мире нельзя относиться ко всем одинаково хорошо, без разбору.

— Восьмерка задним ходом, — сказал человек рядом со мной. — Если вы позволите, — добавил он с издевкой.

И вторая восьмерка мне удалась.

— Обратно на главную улицу, затем левый поворот до холма.

Я оглянулась назад…

Пройдут по маленькой улочке люди, они будут рассматривать следы от колес на снегу и шляпу. Будут гадать, каким образом этот внушающий уважение головной убор смог оказаться рядом с запутанными узорами автомобильных шин, но никто из них не докопается до истины.

Въехать на холм, остановиться, двинуться задним ходом — все это не составляет труда. Ну теперь-то все?

Нет, еще раз в город: этот район я знаю. Странно, что фашист выбрал именно его. Только бы не пришлось сворачивать. Дальше прямо, все правильно, еще один кусок пути, а теперь я хотела бы проехать мимо новых жилых кварталов. Они построены очень продуманно: в комнате, выходящей окнами на юг, есть эркер с

двумя двойными рамами на значительном расстоянии друг от друга, он задуман как маленький зимний сад. Давай проедем еще три дома, там, в угловом окне на четвертом этаже, растут вечнозеленые кустарники, на третьем за оконными стеклами цветут альпийские фиалки, на первом вьется плющ, и только на втором этаже в простенке между окнами стоит корзина. Если ребенок в корзине сейчас не спит, то можно увидеть, как он болтает в воздухе своими сильными маленькими ножками, как маленькой ручонкой тянет ножку к себе, желая с ней поиграть. Нужно спросить у врача, нормально ли это, что моя дочь играет всегда только с одной своей ножкой, не может ли это привести к неравномерному развитию мышц?

Доставь мне эту радость, давай сейчас проедем мимо. Ты держишь меня при себе так долго, а она одна со своим братом. Шестилетний ребенок — не такая уж хорошая нянька для младенца.

Я знаю, как трудно было в такое тяжелое время, да еще при моей работе, решиться на второго ребенка. Отец девочки находится за десять тысяч километров от нас, он никогда не видел ее и, быть может, никогда и не увидит. Я знала все это. И я хотела ребенка. У кого поднимется рука бросить в меня камень?

Когда мы проезжали мимо нашего дома, я сбавила скорость и посмотрела вверх. Нацист наблюдал за мной. Через пять-десять метров он приказал дать обратный ход.

— Остановите!

Машина остановилась прямо возле дома, где я жила. Тяжелое подозрение зашевелилось во мне. Этот фашист вовсе не экзаменатор, он из данцигского гестапо, все, что было до сих пор, — всего лишь игра, видимость, сейчас он выйдет из машины и отправится обыскивать мою квартиру.

— Остановите!

Вот оно. Кое-что он, возможно, обнаружит, если будет действовать умело, но ничего такого, что могло бы повредить другим товарищам.

Но дети!

Этот вопрос мучил меня уже давно, и я никак не могла найти решения, не было даже малейшего проблеска. Я пыталась противостоять этому, закалить свою душу. Я убеждала себя: да, они творят ужасные дела, но детей они не убивают. Тогда, в начале 1937 года, еще можно было так думать. Иногда я утешала себя тем, что у обоих детей были светлые волосы и голубые глаза и это, может быть, примут во внимание. Я цеплялась за эту идиотскую мысль потому, что не могла придумать ничего лучше.

Каждый новый день начинался с того, что я заготавливала

лишнюю бутылочку молока для малышки про запас, на случай, если я не вернусь. Сын знал, где ее найти и как ее давать ребенку. Он ухаживал за своей сестренкой гораздо серьезнее, чем это обычно делают дети в его возрасте. Он мог сам взять ее из кроватки, знал, как нужно поддерживать головку, когда берешь ребенка на руки, мог сменить мокрую пеленку и запеленать ребенка снова. Возможно, на этом и основывалась его бережная любовь к сестре: случись что, их наверняка разлучили бы, отправили бы в разные детские дома.

А может, я ошибаюсь, борюсь с призраками? Обычно ведь они не приходят поодиночке, приходят сразу человек десять, как правило, ночью, с собаками.

Возможно, у этого фашиста был вполне безобидный повод, чтобы остановиться здесь. Может быть, он хотел проверить, в порядке ли шины, а может, он случайно оказался приятелем того нациста, что жил этажом выше меня. Я нарочно проехала мимо наших окон и затормозила, будто бы не расслышав его приказания, двумя подъездами дальше. Он не сделал мне замечания, вышел из машины и двинулся назад, в направлении моего дома. Перед ним он замедлил шаг.

У меня перехватило дыхание.

Он не вошел. Он повернулся, подошел к краю тротуара, посмотрел налево, затем направо, пересек улицу, прошел по другой стороне еще несколько метров, заглянул в витрину продуктового магазина и исчез внутри.

Как чудесно было снова возвратиться в повседневность! Этот человек просто-напросто завернул в магазин, славящийся своими деликатесами.

Я тоже покупала в этом магазине. Несмотря на высокие цены, я регулярно заглядывала туда — и не только из-за отменного качества продуктов. До сих пор я помню дружелюбное круглое лицо хозяина, его маленькие глаза и всегда чуть потную лысину. Я не знаю, был ли он членом нацистской партии, постепенно ведь к этому принуждали и лавочников. Меня он обслуживал с подчеркнутой вежливостью, казалось даже, он отдает мне предпочтение перед другими клиентами — он всегда предлагал мне самые свежие продукты, взвешивал не скупясь и старательно заворачивал покупки.

В тот день, когда мой сын увидел табличку в магазине на Ланггассе и превратил ее в ужасную песенку, предупредительность хозяина подействовала на меня особенно благотворно. Он отрезал мне двести граммов грудинки, которая в этом магазине была особенно хороша. Прежде чем положить ее на весы, он отделил жирные куски, а затем с улыбкой передал мне

пакет.

— Спасибо за любезность, — сказала я и испугалась, потому что в моем голосе чувствовались слезы.

Он сразу посерьезнел, молча взглянул на меня и ответил так же тихо:

— Я больше не понимаю, что происходит…

Фашист вышел из магазине с пакетом и снова сел рядом со мной. Я была уверена, что там внутри грудинка с толстым слоем жира — своего рода акция сопротивления со стороны владельца магазина.

Сопротивление! Пусть этот фашист — дурная карикатура на весь их порядок — принадлежит к сильным мира сего и изводит меня своими придирками как расово неполноценную, он и не подозревает, кто сидит рядом с ним.

Таких, как я, много, они встречаются у всех народов, с любым цветом кожи, во всех странах, и здесь, в Данциге, тоже, и даже рядом с ним в автомобиле. Они работают, они никогда не согласятся стать пассивными жертвами.

Дом, в котором мы живем, он знает. Наша квартира, к счастью, ему неизвестна. Там стоит тумбочка, на которой я пеленаю малышку, рядом книжная полка, радио, я люблю слушать музыку и граммофон. На диске лежит пластинка: Бетховен, увертюра к «Эгмонту». Никто никогда не слышал, как она звучит. Великий композитор должен простить мне это, наверняка он счел бы причину уважительной, ведь он и сам любил свободу.

У этого граммофона есть одна особенность. Когда на пластинку ставят иглу, он молчит. У него нет мотора, Я сама вынула его и зашвырнула в море. Затем я тщательно вымерила пространство внутри, сделала чертежи по размерам и, как в головоломке, стала соединять катушки, лампы и конденсаторы. Подобная деятельность никогда не была моей сильной стороной, чертежи меня больше запутывали, чем помогали, и каждый раз один маленький конденсатор оказывался лишним. Какие только решения я ни пробовала, он никак не хотел помещаться в этом ограниченном пространстве. После многочасовых усилий я его все-таки перехитрила и для надежности сразу же прочно припаяла.

Хотя я давно уже не была новичком, мне никогда не удавалось добиться совершенства в изготовлении передатчика. Совсем иначе обстояло дело с самими передачами. Ритмично и четко отправляла я мои сообщения в эфир, их принимали многие, в том числе и приспешники моего экзаменатора-нациста, — и в

Данциге, и в третьем рейхе, но смысл сообщений был им недоступен, хоть бы они тысячу раз перебрали все комбинации чисел, скрывавших в себе настоящий текст.

Вы можете перевернуть в моей комнате все вверх дном — ключ к тексту вы не найдете. Он нигде не записан. По ночам, когда дети спят и весь дом успокаивается, я работаю с шифром. Лишь тот товарищ, для которого предназначен этот текст, знает ключ, но он недосягаем для вас.

Так идут из этой страны сообщения, приходят советы, и наша группа работает.

— Направо. Налево. Снова налево.

Теперь ты гонишь меня как одержимый, ты что-то задумал, я едва поспеваю за тобой, 51…53…57… Столько минут мы уже едем…

— Направо. Налево. Направо. Направо.

Что за узкая улица и этот страшный грузовик, большой и мощный, он движется прямо на меня, нет, мы не разминемся, я не могу повернуть, в самом деле не могу.

— Направо! — рычишь ты.

Хорошо, направо. Я проезжаю почти вплотную к тротуару, слишком близко, машину подбрасывает вверх, два колеса проходят по панели. Было, однако, вполне достаточно места, чтобы не сделать этой ошибки.

— Выходите — вы не выдержали.

Не говоря ни слова, я выхожу, оставляю дверцу открытой, оборачиваюсь и смотрю на него в упор. Что он знает о выдержке!

Перевод Н. Литвинец.

ТЕТЯ МЕЕЛЕ

Тетя Мееле появилась у нас за день до нашего отъезда из пансиона. Тина, сидя на полу, вертелась волчком. Франк рисовал матроса, ведущего на поводке льва.

— Подумать только! — воскликнула Мееле. — Девочка еще гораздо красивее, чем на фотографиях! И как это тебе удалось?

Я и сама нередко задавалась этим вопросом.

Мееле достала из чемодана куклу. Тина подбежала к ней, получила куклу в подарок и бурно обняла незнакомую женщину. Франку досталась книга сказок, которую тетя Мееле долго искала в своих пожитках. Он вежливо поблагодарил и вернулся в единственное наше кресло, серое и подержанное, как и вся меблировка. У нас не было лишних денег в 1938 году, а Швейцария — страна недешевая. Налюбовавшись принцессами в замках, Франк углубился в чтение. А мы принялись упаковывать вещи, чтобы на следующий день уехать.

Тина с куклой в руках не отходила от Мееле.

— У ребенка на кофточке не хватает пуговицы, — укоризненно сказала Мееле.

— Она только что оторвалась, — защищалась я.

— А какой беспорядок в шкафу… Где вторая перчатка?.. Чулки дырявые… Носовые платки в трех местах.

Я счастливо улыбнулась. Мееле здесь, Мееле остается с нами!

Франк, хотя я считала, что он занят чтением, захлопнул книгу и посмотрел на Мееле:

— Моя мама такая же красивая, как Тина, она всегда пришивает нам пуговицы, в шкафу полный порядок и дырок на чулках нет.

Он выпалил все это единым духом, не повышая голоса.

— Я твоей матери сопли утирала, когда она была такая же маленькая, как Тина, — сказала Мееле, — ей еще трех лет не было.

Я предпочла не вмешиваться.

Узкая горная железная дорога кончается на высоте 1200 метров.

На станции нас ждал крестьянин с лошадью и подводой. Через несколько минут он свернул с улицы, где стояли три больших отеля, и поехал через луга, покуда земля не стала слишком неровной для подводы. Мы, взяв чемоданы, пошли по едва приметной тропке и поставили их наземь возле «Дома на холме».

Перед нами уходили вниз широкие луга, за ними — лес, тянувшийся до самой долины, а в долине искрилось озеро и лента Роны. За озером высились белые вершины Французских Альп. А с другой стороны дома луга поднимались к лесу, лес подступал к серым скалам, а скалы громоздились до белых вершин Швейцарских Альп.

Дом стоял совсем одиноко, прижатый к небольшому холму; великолепный ландшафт казался специально для этого дома созданной декорацией. Я долго держала в руке тяжеленный ключ, который не влезал ни в один карман пальто.

Входная дверь с тамбуром вела в просторную кухню: лавки вдоль стен, длинный, выскобленный добела деревянный стол, повсюду полки с кувшинами, чашками я тарелками, а в углу — внушительных размеров плита. Рядом с кухней — единственная на первом этаже комната. На второй этаж вела лестница, выходящая на узкую площадку с тремя дверями по правую руку и только одной, запертой дверью — по левую. Мы вошли в мансарду. Пол, потолок и стены были из светлого некрашеного дерева.

Причиной весьма умеренной платы оказался коровник и большой сеновал над ним, расположенные с обратной стороны дома. Нас это не смутило. Сено защищало комнаты от ветра и дождя, к двенадцати коровам мы сразу же почувствовали симпатию, и она оставалась неизменной до последнего дня. Летом коровы паслись на верхних лугах, дети быстро научились их различать и каждой дали имя. Звон колокольчиков, висевших на их дряблых коричневых шеях, мелодически вливался в нашу жизнь. С поздней осени они стояли в коровнике. Бывало, замычит ночью какая-нибудь корова, и этот звук отдается в наших снах. С двенадцатью коровами в доме не чувствуешь себя одиноко.

Хозяин, хутор которого был в полукилометре от нас, приходил кормить и доить их. Он был нашим ближайшим соседом. «Дом на холме» принадлежал ему; один художник обставил этот дом и жил в нем до самой смерти.

В первый же день я распределила комнаты на верхнем этаже. Франк с Тиной получили самую большую, Мееле и я — маленькие. Но Мееле захотела, чтобы Тина была при ней. Таким образом, большая комната досталась Тине и Мееле.

— А я буду жить совсем рядом с тобой, — сказал Франк, — могу, например, проделать дырку в стене и видеть тебя.

— Только попробуй!

— У мамы как раз есть сверло, болты и паяльник для…

— Человеку все пригодится, особенно когда живешь в таком уединенном доме, — быстро перебила его я, — мало ли что

может сломаться.

Мальчик слишком многое видел и знал. Сейчас ему почти восемь, а что будет через год или два? Но столь отдаленные трудности мало меня волновали, слишком много их было вблизи.

Хозяин предусмотрительно сложил в кухне сухие дрова, и вскоре в плите уже пылал зажженный Мееле огонь. Мне хотелось, чтобы в первый раз в «Доме на холме» мы собрались за столом все вместе, и Тина тоже. Вечером она долго спала. Мееле даже побелела от страха, увидев, что девочка неподвижно лежит на полу недалеко от лестницы. Она ведь не знала, что Тина посреди игры, ни слова не сказав, закрывает глаза, падает и засыпает.

Мееле приготовила нам ужин. Мне так странно было вдруг избавиться от домашних обязанностей, но избавилась я от них с радостью.

— Мальчик очень медленно жует, — заметила Мееле, — поэтому он такой худющий.

Мальчик вообще перестал жевать.

— А что ты больше всего любишь? — Свежий голос Мееле, ее улыбка расшевелили моего сына. Я вздохнула с облегчением. Он языком запихнул недожеванное за щеку и ответил:

— Клецки.

— Как твоя бабушка, — сказала Мееле. — Когда я делала клецки, она съедала по семь штук. У твоего дедушки были другие вкусы, но он никогда не жаловался. Он был слишком благородный, в крайнем случае скажет: «Давай завтра приготовим что-нибудь погрызть, хорошая моя». Он всегда называл ее «хорошая моя». По воскресеньям после обеда подавался кофе. Только по воскресеньям и только ему. Он макал в полную чашку кусочки сахара и оделял ими каждого из детей. Я до сих пор вижу, как вы строились в шеренгу. Благородный человек, — повторила Мееле, — с ним я никогда не ссорилась, уж скорее с *ней.* Трудность заключалась в том, что ему нужна была тишина, десять часов тишины в день для его научной работы. Ну, я и говорю, не ему, конечно, а *ей:* «Либо тишина, либо шестеро детей, то и другое вместе не бывает».

— Кому это «ей»? — спросил Франк.

— Ясное дело кому.

— Твоей бабушке, — вставила я.

Мы убрали со стола. Собственно, мы хотели комнату возле кухни использовать как гостиную, но из этого ничего не вышло; в кухне было так уютно, что мы собирались вместе только там.

Мееле ставила перед собой корзинку для рукоделия, я играла с Франком в мюле, а Тина причесывала куклу; чем больше волос оставалось на гребенке, тем — она считала — лучше.

Тетя Мееле напевала песню, сначала тихонько, а потом уже в полный голос. Разве могла она чинить или штопать без песен или разных историй? И теперь, когда ей уже далеко за пятьдесят, у нее остался тот же чистый голос, который я помнила с детства. Она пела давно мной не слышанную песню: В лесу на поляне играл олененок, и вдруг появился охотник с ружьем…

Олененок уже не скачет,
Ножка у него болит,
Все резвятся, а он плачет
И весь день в траве лежит[8].

— На этом куплете ты всегда ревела, — сказала Мееле.

Я взглянула на Франка. Глаза его напряглись, я не могу подобрать более подходящего слова для этого выражения атаки и обороны одновременно.

— Это неправда, моя мама никогда не плачет.

В присутствии детей — никаких слез. С 1933 года я вообще перестала плакать. Потом, после 1945, это уже случалось, наверно, я плакала от радости, что теперь опять можно плакать.

— Ну-ну, ты же была плакса, а сколько ты страху натерпелась из-за петуха, вспомни-ка, — горячилась Мееле, — петух клевал вас, детей, и ты с ревом убегала, в конце концов тебя уже было не выманить в сад… да, а уж по ночам!..

Франк положил руку мне на колено — под столом.

— Но ты не знаешь, чем у меня кончилось с петухом, — сказала я Мееле.

— Да мы его зарезали. И ты опять ревела, только еще громче, у тебя было доброе сердце.

— Нет, моя история кончилась раньше.

Петух перелетал через ограду курятника и клевал меня в голые ноги. Мне было шесть лет, и я ужасно его боялась. Однажды мне понадобилось пройти через сад, а он опять тут как тут. И вдруг меня охватила злость на петуха, который делает со мной что ему вздумается. Тогда я, вращая руками, как пропеллерами, помчалась ему навстречу и три раза прокричала «кукареку!».

Петух остановился, подмигнул мне и полетел назад, к своим курам.

Я рассказала об этом, мне хотелось, чтобы Франк это слышал.

Он сиял.

Тина заснула у меня на коленях. Длинные ресницы отбрасывали тени на ее круглые щечки, и она как две капли воды была похожа на свою куклу.

Мееле взяла ее у меня, а я пошла укладывать Франка.

Даже когда я потушила свет, он не хотел меня отпускать.

— Ко мне в окно смотрит луна.

— Мееле сошьет занавески.

— Сшей сама. А почему ее зовут Мееле?

— Вообще-то ее зовут Вильгельмина, а мы, дети, сделали из Вильгельмины Мееле, а иногда называли ее тетя Мееле.

— Я буду звать ее Вильгельмина. И зачем ее мать выбрала ей такой дурацкое имя?

Я рассказала Франку о жизни Мееле до того времени, как она появилась у нас. Когда я кончила, луна уже зашла и комната тонула в темноте. Франк прошептал мне на ухо:

— Лучше я буду звать ее Мееле.

Тетя Мееле сказала правду: в детстве я была трусихой, легко плакала, а от сочувствия ревела еще пуще. И не только из-за петуха, но и из-за булавки. Ее тоже боялась, пока мне не исполнилось семь лет, так как в 1914 году мы переехали, и главные страхи относились теперь к «старому» дому. Я слышала, что кто-то ножом вскрыл себе вены, чтобы умереть, и никак не могла взять в толк, неужели маленький порез — а у меня они бывали сплошь и рядом — может привести к смерти. Мой брат, который был на два года старше меня, объяснил мне, в чем дело. Его заключительная фраза: «Достаточно даже проткнуть вену булавкой». Для иллюстрации он вытащил из корзинки Мееле булавку и поднес ее к своей руке. Я вскрикнула и вырвала у горячо любимого брата орудие самоубийства. Мой брат, когда бывало нужно, поддерживал и защищал меня, но мог ли он отказаться от удобной возможности впредь, если я не пожелаю выполнять его волю, вытащить булавку и тем самым заполучить объятого ужасом и потому смиренного раба?

Ночью моя подушка была утыкана булавками, змеи и обезглавленные петухи разгуливали по моей комнате, я кричала и не могла успокоиться. Мама была тогда в отъезде. После четвертой такой ночи Мееле вызвала врача. Он предписал по вечерам заворачивать излишне нервного ребенка в простыню, предварительно смоченную в холодной воде и слегка отжатую.

«Прижми руки к бокам», — говорила Мееле, быстро и ловко превращая меня в мумию. Тесная мокрая простыня, в которой я не могла пошевелиться, стала для меня новой мукой.

Страхи присущи всякому детству. Почему у меня они были болезненно чрезмерными, что в будущем не сулило ничего хорошего, я сказать затрудняюсь, тем более что росла я в уравновешенной, гармонической обстановке.

Не могу я объяснить, и почему я потом изменилась; в моем развитии не было никакой целенаправленной борьбы со слабостями, никакого сознательного преодоления страха. Я думаю, что изменили меня те требования, которые предъявляла жизнь. Я стала даже мужественным человеком, но это мужество, так же как и у других людей, распространялось не на все сферы жизни. Человека, мужественного абсолютно, я до сих пор еще не встречала, а если и есть жизнеописания таких героев, значит, в них кое о чем умалчивается.

Истории тети Мееле не только пробудили воспоминания о давно прошедшем. В ее присутствии ко мне вернулось чувство защищенности, которое мы испытывали при ней в детские годы. Ссадины залечивались при помощи мази, повязки, приговорки «заживай, заживай, болеть не давай» и слов утешения, лишенных всякой сентиментальности. Мне помогла не только холодная простыня; Мееле находила слова, которые возвращали меня из царства моей болезненной фантазии к реальности.

Каждый вечер Мееле пела нам, детям, а потом вдруг она исчезала на долгие дни, а то и недели. Насколько я могу припомнить, мне казалось, что привычный уклад нашего дома нарушался оттого, что Мееле ссорилась с мамой. Как до этого дойдет, Мееле собирала свои вещи и, с предупреждением или без, уходила. И также неожиданно появлялась вновь, и говорила, стоя в дверях: «Не могу я без детей».

Все мы, включая маму, всякий раз бывали счастливы, что вернулась незаменимая Мееле.

Только уже став взрослой, узнала я причину этих ссор, во время которых Мееле страшно волновалась, а мама оставалась спокойной. Мееле была ревнива. Она хотела, чтобы дети безраздельно принадлежали ей. С другой стороны, она любила маму и гордилась красивой, умной, жизнерадостной женщиной, которая хотела завести много детей, талантливо рисовала, не имела барских замашек и приложила немало усилий, чтобы освободить Мееле от оков беспросветного детства и сделать из нее самостоятельного человека.

Между мной и Мееле с давних пор возникла необыкновенная привязанность. Я была не слишком привлекательным ребенком. Вероятно, моя хилость пробудила в Мееле инстинктивное желание оберегать меня. Она никогда не делала разницы между мною и моими сестрами и братом. Никогда в ее присутствии обаяние моих красивых сестер и остроумная веселость брата не одерживали верх над моей неуклюжестью и часто до красноты заплаканными глазами. Это Мееле позаботилась о том, чтобы зарезали петуха. Разобравшись в истории с булавкой, она вывела

моего брата на чистую воду и спрятала от него корзинку с рукоделием.

Когда я сказала, что с ее приездом ко мне вернулось былое чувство защищенности, это касалось только моей привязанности к Мееле. В годы фашизма в Германии наша жизнь и за границей постоянно была под угрозой.

В день нашего вселения в «Дом на холме» я преодолела сразу три барьера. Самый высокий и самый важный: утром, перед отъездом из города, я получила бумагу, весом в четыре грамма, которая сняла с моих плеч добрый центнер тяжести. Это было разрешение на жительство, сроком на один год. Подумать только, 52 недели, целых 365 дней, много десятков тысяч минут я могу спокойно оставаться в Швейцарии, мне не надо бегать по учреждениям, кланяться угрюмым чиновникам, раздобывать гарантии и документы, которые раздобыть невозможно, как, например, новый немецкий паспорт взамен просроченного. Один год спокойствия, хотя бы только в этом отношении.

Следующий барьер был взят, когда мы набрели на «Дом на холме». Мы нашли дешевое, во многих отношениях удобное пристанище, и, наконец, третья удача: я освободилась от мучительной заботы о детях, в случае если не смогу оставаться с ними. Мееле поселилась у нас, никому бы я не доверила детей так спокойно и даже охотно. Мееле и Тина сразу полюбили друг друга. То, что Франку требовалось на это больше времени, чем его маленькой сестренке, вполне объяснимо. В противоположность Тине он был спокойным, сдержанным ребенком и не так быстро сходился с чужими людьми. Ему пришлось еще труднее из-за того, что он не общался почти ни с кем, кроме меня. А тут новый человек предъявляет мне какие-то требования, и Франк должен как бы отчасти поступиться своей матерью. К тому же он не понял той свойственной Мееле грубоватой манеры, к которой я привыкла и даже любила. Поэтому я не без умысла в первый же вечер рассказала ему о тяжелой юности Мееле.

Родители ее умерли от туберкулеза, когда Мееле была совсем маленькой, и она попала в приют для солдатских дочерей. Ее отец был солдатом. Воспитанницы спали в большой зале с кроватями, стоящими ровными рядами, в другом зале они ели со стоящих ровными рядами тарелок, гулять Мееле разрешалось только вместе со всеми воспитанницами приюта, построенными ровными рядами, и, до того как она попала к нам, ей некого было любить.

Я вспомнила рассказы Мееле о том, что, пока она в семнадцать лет не вышла из приюта, у нее никогда не бывало

больше одной марки и она просто не знала цены другим деньгам. При этом она еще принадлежала к «любимчикам», из которых в последние два года «воспитывали» горничных. Они должны были бесплатно скрести полы и лестницы — бесконечная работа, потому что сироты жили в огромном старом замке.

В первом доме, где она служила, ей, видно, было неуютно и одиноко; Мееле не любила об этом вспоминать. Прошли годы, прежде чем она нашла в себе мужество откликнуться на газетное объявление. Она потом частенько нам рассказывала, как испугалась, когда дверь ей открыла женщина с большим животом, в заляпанной красками блузе. Мееле робко отвечала на вопросы: да, она могла бы взять на себя заботы по уходу за мальчиком четырех лет, двухлетней девочкой и новорожденным, который вскоре появится, да, она уже имела дело с младенцами.

Мееле описывала нам, каким новым и странным показался ей наш дом. Здесь не было привычных ей батальных полотен и портретов кайзера Вильгельма II. Вместо них на стенах висели пестрые картины. Подойдя к ним вплотную, она различала отдельные жирные мазки масляной краски и ничего не могла толком понять. А стоило ей отойти подальше, это опять были изображения цветов и людей. Ни перед едой, ни на ночь не читали здесь молитв. Ей приходилось молиться в одиночку у себя в комнате. Порядка в этом доме тоже было мало, никаких правил, никаких предписаний, но по крайней мере всюду была чистота, этому она придавала большое значение. И пеленки, и простынки для будущего младенца она могла укладывать в шкаф как ей вздумается. И со старшими детьми ей разрешалось возиться сколько душе угодно, читать им сказки, играть с ними в саду. Мальчик и девочка полюбили ее. Хилые дети буквально расцвели, а когда через две недели родился малыш, он с самого начала поступил на ее попечение. Спустя три года на свет появилась еще одна девочка, и затем, с такими же промежутками, еще две. Женщина рожала дома, и никто не слышал ни звука, покуда не закричит новорожденный.

Всякий раз именно Мееле принимала спеленутого младенца из рук акушерки, несла его к матери и укладывала в маленькую корзинку.

«Дом на холме» был погружен в темноту. Я подошла к открытому окну и, упершись локтями в подоконник, выглянула наружу. Ночной воздух был напоен запахами леса и лугов, вокруг стояла тишина. Мерцающие звезды отражались в озере далеко внизу, или я ошиблась, и это были огни береговых фонарей?

Дивясь ограниченности человека, который не в состоянии

отличить отражение далеких огромных планет от света фонарей, я вспомнила песню, единственную религиозную песню, которую я любила не только потому, что Мееле частенько пела ее нам на сон грядущий:

Взгляните: там, высóко,
Чуть видится далёко
Прекрасный лик луны.
Так почему ж мы с вами
Смеемся над вещами,
Которые и взору не видны?..

Безусловно, я вкладывала в эту строфу совсем другое содержание, чем поэт Маттиас Клаудиус. Для меня в ней проступали зримые черты еще скрытого во мраке будущего. Нравилась мне и простая мелодия этой песни, которую даже я могла спеть почти безошибочно. Как это получается, что человек, очень любящий слушать песни, сам поет настолько немузыкально? Затаенная, но вовек не проходящая боль.

Мееле без конца пыталась научить меня петь. Если я пела с ней вместе, иногда случалось, что наши голоса сливались воедино, и тогда я бывала счастлива. Голос Мееле становился все тише, покуда мой голос не оставался в одиночестве и не брал фальшивые ноты.

— Ничего, — утешала она меня, — зато ты умеешь так читать стихи, что слеза прошибает.

В воздухе было свежо. Я с трудом оторвала взгляд от пейзажа за окном. Много я видела стран, городов, деревень, квартир, отелей, пансионов, но такой поразительной красоты судьба мне еще не дарила. Пора было ложиться спать. Я нашла в чемодане книгу, том Ромена Роллана. В боковом кармане я обнаружила соединительный шнур от радиоприемника, подходящий к здешней розетке, я тщетно разыскивала его целый день. Может быть, послушать последние известия? Неужели я не могу, в конце концов, позволить себе на один-единственный день забыть весь мир? Разве не сопровождает меня ежечасно, во всех моих делах и думах, тревога за этот мир?

Когда пробили часы, я включила швейцарскую станцию и стала слушать новости. Лучше бы мне их не слышать.

Глупые детские грезы о защищенности, об идиллии, и все только оттого, что Мееле поселилась вместе с нами, оттого, что ландшафт и дом оказались столь идилличными. Как будто это имело значение для нашего существования! Куда важнее для нашей жизни, для каждого дня нашей жизни было то, что сегодня

в Мюнхене подписали государственные деятели.

Господин Чемберлен, премьер-министр Англии, и его французский коллега Даладье, поставив свои подписи, позволили Гитлеру захватить часть Чехословакии. Австрию Гитлер уже проглотил. Вторжение нацистов в Данциг, происшедшее без участия Лиги Наций, которая отвечала за сохранение вольного государства, я видела своими глазами.

Совсем недавно я встретилась в Праге с Карлом. Он уже много лет руководил моей интернациональной работой. Где теперь состоится наша следующая встреча?

Когда будет оккупирована вся Чехословакия? Когда — Франция, Швейцария? Неужто горы за нашим домом и перед ним будут принадлежать фашистам?

В дверь постучали. Мееле спросила, можно ли ей войти.

— Я увидела, что свет горит. Я слишком счастлива, чтобы спать. Конечно, у твоих родителей я имела все необходимое и в хозяйстве *ей* помогала, но теперь дети выросли и ушли из дому, и у меня не стало больше никаких настоящих обязанностей. Я была как старуха на выделе и думала, что ничего другого уже в жизни не будет. От таких мыслей чувствуешь себя одинокой, даже если вокруг люди. И вдруг приходишь ты, и я тебе нужна, ты вернула мне прошлое. Это как во сне.

Мееле присела на край кровати, взяла меня за подбородок.

— Уж больно ты тощая, вполне могла бы прибавить несколько фунтов. А прежде всего Франку необходимо поправиться, но это уж мы устроим. Тина по ночам сосет палец, так мы ей наденем перчаточный палец, твоим сестрам, Биргид и Сибилле, это помогло.

— Попытаемся. — Зачем портить ей радость, это успеется и завтра. Она встала.

— Ну, я пойду, ты спать хочешь. Или, может, тряхнем стариной?

Я кивнула.

Она прислонилась к дверному косяку и запела, тихонько, чтобы не мешать Франку, который спал в соседней комнате.

Ну что ж, ложитесь, братья,
С молитвою в кровати,
Ночной повеял хлад.
Господь, даруй спасенье,
Во сне дай утешенье,
И пусть больные тоже крепко спят.

Когда на другое утро я спустилась в кухню, там уже топилась плита и стол был накрыт. Я подождала, пока кончится завтрак, а уж потом сообщила Мееле дурные новости. Она была подавлена, на чем свет стоит ругала Чемберлена, потом заявила:

— Поколотить бы этого мерзавца его собственным зонтиком! А если Гитлер захочет влезть в Швейцарию, что тогда с нами будет?

Я молчала.

— То, что я здесь, с тобой, вдвойне хорошо. Старуху с двумя маленькими детьми никто не тронет.

В политике Мееле придерживалась тех же взглядов, что я, мои сестры и брат. Они рассказывали мне — в 1933 году я была далеко от Германии, — как храбро и разумно вела себя Мееле в эту тяжелую пору. Как она часами простаивала в подвале нашего дома у отопительного котла, заботясь о том, чтобы успеть до прихода нацистов сжечь все крамольные книги и бумаги, среди которых много было и моих. И вскоре нацисты явились. Во время многочисленных обысков Мееле держалась спокойно и уверенно. Именно Мееле предостерегла меня, когда мы с ней снова свиделись: «Они всякий раз о тебе спрашивали и говорили: она от нас не уйдет».

Мееле плакала, когда отец, жизнь которого была в опасности, вынужден был покинуть родину. Она сжимала кулаки от ярости, когда его книги и статьи, ради создания которых ей с таким трудом удавалось утихомиривать шестерых детей, в 1934 году были уничтожены. «Они называют себя рабочей партией, а ведь все, что писал ваш отец, было направлено на улучшение жизни этих, самых рабочих». Вскоре после этого ей пришлось принять нелегкое решение. Семья готовилась последовать за отцом. Ехать ли ей тоже? Она, дочь солдата, вольна была остаться на родине, где, имея прекрасную рекомендацию, легко нашла бы место. Кроме того, один пожилой, солидный дорожный мастер в последние недели повадился ходить к Мееле пить кофе. А в этом отношении жизнь ее не баловала. Если же она поедет с семьей, то ее ждет чужая страна с чужим языком и плохие материальные условия, которые даже не гарантируют ей жалованья.

Мееле решила в пользу семьи.

Когда я после нескольких лет вновь встретилась с родителями, Мееле спросила меня, не перейти ли ей ко мне, ухаживать за моими детьми, и в восторге обняла меня, когда я с благодарностью приняла ее предложение. Она показалась мне старше своих лет, но, возможно, это было связано с моим ви́дением. Я всегда знала ее старой. Мееле, пришедшая к нам двадцати трех лет от роду, казалась мне, ребенку, старухой, и

старухой же она показалась мне тридцатилетней.

Как выглядела Мееле? Волосы ее всегда мне помнятся седыми, у нее был длинный прямой нос, зеленоватые глаза, черные ресницы, узкий рот и такое множество веснушек, что они из-за тесноты буквально сливались воедино. Мееле была маленькая и вся какая-то очень аппетитная, она даже за самой черной работой всегда казалась опрятной. Она любила посмеяться вместе с нами, но у нее бывали приступы плохого настроения, которое, в ожидании лучших часов, передавалось и нам, детям.

После завтрака я вышла из дому и начала колоть дрова. Всю тяжелую работу — заготовить дрова на зиму, таскать из сарая уголь, выгребать и выносить золу — я взяла на себя. Колоть дрова мне доставляло удовольствие — чистая работа, требующая силы и ловкости, и результат к тому же налицо.

Как прекрасно пахнет дерево! Какой ясный денек! Все могло бы быть так хорошо!

Гитлер не терял времени даром. Его войска захватили Богемию и Моравию. Равнины Чехословакии лежали теперь перед ним как на тарелочке. Ими он тоже завладеет. Может быть, тогда он почувствует себя достаточно сильным, чтобы начать войну.

Коли, топор, коли!

Начать войну?

А разве не шла она уже два года в Испании, где много моих друзей сражались в интернациональных бригадах? Как мне хотелось бы сейчас быть там, с ними, вместо того чтобы держать оборону здесь, с двумя детьми, одной старухой и дюжиной коров.

— Ты совсем меня не слушаешь, — Франк, укладывавший дрова в поленницу, с укоризной смотрел на меня.

— Я все прекрасно слышала.

— И что я сказал?

— Что вы пили из родника и Тине вода попала в нос.

— Последнее было не это, я еще кое-что сказал: я спросил, надо ли мне ходить в здешнюю школу? Наверно, ты не сможешь больше меня учить?

— Тебе, безусловно, понравится быть вместе с другими детьми.

— Но в первый раз ты пойдешь со мной?

— Сегодня после обеда мы сходим туда вместе.

Школа была расположена очень удобно. В десяти минутах ходьбы от нас находился детский санаторий, где с детьми проводились занятия, которые мог посещать и Франк. Там говорили по-французски, и ему придется опять осваивать новый

язык. Его это не смущало. Сменялись страны, а значит, сменялись и языки. Франка угнетало другое: школа для него — незнакомое заведение. До сих пор он учился только у меня.

По луговой дороге спускалась женщина. Меня поразила ее гордая гибкая походка. Женщина была высокая, сухощавая, в платке, в юбке с блузкой и рабочем фартуке. Широколицая, с приветливыми карими глазами и мелкими кудряшками — такие выбиваются из любой, самой гладкой прически.

Она извинилась, что пришла убирать коровник как раз сегодня, это следовало бы сделать раньше, но из-за болезни младшего сына — к счастью, он уже поправился — дело застопорилось. Муж ее тоже придет, а она пришла пораньше, чтобы познакомиться со мной.

Когда у женщин есть дети, разговор идет без запинок. Крестьянка мне понравилась. Я позвала Мееле, которая хозяйничала в доме, и она вышла вместе с Тиной. После того как Тина принесла вязанье Мееле, разговор зашел о том, как снимать и накидывать петли. Мееле распустила свою старую шаль и начала вязать из этой шерсти платьице Тине, сложный узор которого обсуждался с фрау Фюсли. Я ничего в вязанье не смыслю и потому оставила их вдвоем, довольная, что здесь, наверху, нашелся приятный человек, с которым Мееле может иногда поболтать.

Это было началом дружбы.

Двое старших детей фрау Фюсли часто приходили к моим ребятам, и Мееле тоже захаживала к крестьянке. Я видела ее реже, но мы относились друг к другу с уважением, и это нас сближало. Муж ее был усердным, мелочным, глуповатым, и я не могла понять, как женщина, исполненная доброты, ума и достоинства, могла выйти за такого замуж.

Под вечер я повела Франка в санаторий. После короткого экзамена по немецкому языку его определили в третий класс.

Ночью, когда все уже спали, я, стараясь не шуметь, вышла на верхнюю площадку, остановилась перед запертой дверью слева и воткнула в замочную скважину ключ, который обнаружила над притолокой. Он поворачивался с трудом. Замок надо бы смазать маслом, но лучше все оставить как есть. Дверь открывалась на площадку. Передо мной была стена из сена. Запасы его, казалось, заполняли обширный чердак весь, до краев. Хозяин брал сено с противоположной стороны, и сюда он доберется разве что к концу зимы, и то вряд ли. Я вытянула руку как раз напротив дверного замка и засунула ее в сено как можно глубже, разгребла небольшую ямку, достала приготовленный пакет, вложила его туда и опять сгребла сено. Пока такого тайника достаточно. Я

посмотрела на порог комнаты Мееле и комнаты Франка. Свет не горел ни там, ни там.

Сено было колючим и ароматным… как тогда… Я зарылась в него лицом и закрыла глаза…

Мне было семнадцать лет. Коммунистический Союз молодежи, покинув Берлин, занялся пропагандой в сельских местностях. Нашу группу послали в Лёвенберг провинции Бранденбург. Мы попытались поговорить с батраками, но крестьяне натравили на нас собак. Вечером мы пели и танцевали на вольном воздухе, к нам подходили и деревенские. Ночевали мы в сарае у того единственного крестьянина, который открыто нам симпатизировал. Девушкам пришлось сначала вынуть из волос все шпильки: потерявшись в сене, они могут оказаться опасными для коровьих желудков.

Нам случалось и при других оказиях ночевать в сараях, но в тот вечер мы были настроены особенно весело. Едва мы улеглись, кто-то начал воображать, какой будет эта деревня лет через двадцать… Лёвенберг 1944 года… давно коммунистический… а наш хозяин — председатель сельского совета. Мы долго спорили, будут ли тогда отменены деньги. Мы, к сожалению, к тому времени будем уже глубокими стариками — лет по тридцать пять…

Я вернулась из Лёвенберга в воскресенье поздно вечером. Дома во всех окнах было темно. Сняв туфли, я прокралась наверх. Комната Мееле выходила на лестницу. Дверь открылась. На Мееле был халат в огромных красных тюльпанах, который совсем ей не шел. Я столько лет видела его на Мееле, что не могу пройти мимо тюльпана, чтобы не вспомнить этот халат.

— Хочешь чашку какао?

Мееле свято верила в какао. Оно было незаменимо и для утоления голода, и для поднятия тонуса, и для успокоения, и для прибавки в весе. На столе стоял термос, а рядом знаменитый ореховый кекс Мееле.

— Твои родители недовольны, особенно *она*. Ты слишком часто отсутствуешь. Отец собирается говорить с тобой. Я тебя выгораживала, уверяла, что ты не шляешься, а делаешь доброе дело.

Родителей, тогда левых социал-демократов, раздражало, что я, «еще такая незрелая», примкнула к партии. Ночевки на сеновалах тоже не приводили их в восторг.

После напрасных стараний склонить их в политике на свою сторону я переключилась на Мееле. С ней я добилась большего успеха. Выросшая в трудных условиях, угнетенная в детстве и в юности, она считала правильным то, что я говорила. Обязана ли я

была этой победой собственной способности убеждать, или же солидарность Мееле со мной была в то же время направлена против моей матери, с которой Мееле вела безмолвную ревнивую борьбу из-за нас, детей? Тогда я была слишком наивна, чтобы считаться с такой возможностью…

Рано утром дом сверху донизу огласился протестующими воплями Франка, а вскоре появился и он сам — волосы приглажены водой, Мееле даже попыталась, что удалось ей только наполовину, сделать в этой чащобе пробор.

Мееле стояла в дверях, держа на руках Тину, и смотрела на нас. Слишком много она таскает на руках почти уже трехлетнюю девочку. Франк, стоит ему отойти от дома на порядочное расстояние, тут же растреплет свою прическу. За спиной у него был новенький ранец, что нисколько его не утешало.

— Тебе обязательно как раз сейчас уезжать?

— Завтра к вечеру я вернусь.

— А может, все-таки сходишь со мной туда еще разок, поздороваться?

Я медлила.

— Если ты один не можешь…

Для меня достижением были любые его самостоятельные действия.

Он отпустил мою руку.

— Ну ладно.

Я поехала в город, расположенный неподалеку от немецкой границы. Нашла нужную улицу, белый крест, крошки мела на лотковом камне, вошла в доходный дом напротив, остановилась в подъезде, отыскала небольшое отверстие под резным набалдашником перил и взяла листок бумаги.

Потом я вышла, стерла крест и сбросила крошки мела, кружным путем поехала в отель, заперлась и спрятала бумагу.

Я снова вышла на улицу и обошла все радиомагазины города. Но нигде не оказалось того, что мне было нужно. Или просто мне не хотели этого дать?

В скольких городах уже я тщетно предпринимала такие попытки.

Переночевав в этом городе, я наутро уехала в Берн, заходила там во все радиомагазины и только в последнем, самом маленьком и отдаленном, я, наконец, купила генераторную лампу.

Как прекрасны были старинные здания, как приветливы люди, как я вдруг зверски проголодалась! Никогда фашизм не победит!

Маленький синий поезд с мучительными усилиями тащился в гору. Когда я сошла, солнце уже скрылось за вершинами гор, но краски еще не потухли, почти все мыслимые краски, яркие и блеклые, резкие и мягкие, масло, пастель, лак, тушь, угольный карандаш; краски неба, лугов, снега, леса, скал, ущелий, полей и долин.

Я заглянула в окно. Тина возилась с пластилином. Ее брат сидел возле Мееле, и они вдвоем рассматривали большой лист бумаги. Франк, казалось, был так захвачен, что мне стало жаль нарушать их единение.

Стоило мне переступить порог кухни. Франк бросился ко мне и Мееле перестала для него существовать. Я ничего не спросила о его первом дне в школе, а постаралась включиться в разговор, который они тут вели. Мееле бросилась к плите, и через несколько минут на столе уже стоял кофейник и присыпанный сахарной пудрой кекс. Без Мееле мне пришлось бы тащить детей с собой в поездку. Долгий путь по железной дороге с непоседливой Тиной на коленях… Пока я занимаюсь своими делами, они сидят в гостинице… В Берне они ждут в вокзальном ресторане, а я бегаю взад-вперед, как затравленный зверь. Мы возвращаемся в остывший дом, разводим огонь, дети собирают на стол…

Но с нами Мееле, и Франк шепчет мне:

— Она задыхается, говорит, здесь все горами загорожено. Говорит, там, где она выросла, воздуху было больше. Луга, речка и много неба…

— А еще ивы, клены, дубы, а на замковом дворе возле колодца — большое ореховое дерево, — сказала Мееле, — стоя под ним на переменках, непослушные ученицы отбывали наказание.

— Тоже мне, наказание! — сказал Франк.

Мееле рассказывала о своем детстве, и мне пришлось еще раз все это выслушать.

Все у них без меня было прекрасно, пока не подошло время обедать. Мееле, видя, что Франк жует еле-еле, в наказание отослала его в соседнюю комнату.

— Ты бы видела, как быстро опустела тарелка!..

Она сообщила мне это в его отсутствие. Франк ни словом о происшедшем не обмолвился, даже когда лег в постель. Тут он стал рассказывать о школе, которая ему очень понравилась. Как хорошо, если в такое трудное время хотя бы твои личные дела не доставляют тебе неприятностей. Пожелав мне доброй ночи, он сказал:

— Знаешь, что я сделал, перед тем как войти в школу?

Я покачала головой.

— Три раза прокричал «кукареку».

Инструмент я еще до наступления темноты принесла из сарая. Открыла шкаф в своей комнате, вынула оттуда обувь, отвинтила восемь шурупов и сняла нижнюю доску. Все теперь зависело от глубины образовавшегося полого пространства. Я опустила туда тяжелые, размером с большой словарь, батареи, стараясь двигаться как можно тише, достала с сеновала пакет и начала почти бесшумно собирать рацию.

Мееле знала, что моя политическая работа направлена против фашизма в Германии. Большего ей знать не следовало. Это соответствовало правилам подпольной работы, и кроме того, так Мееле была лучше защищена. Разумеется, со временем кое-что ей станет известно, но лишь то, что неизбежно.

Я пилила, сверлила, протягивала провод, паяла, а мысли мои разбредались… Удивительно, сколько Мееле мне и Франку рассказывала о своей юности. Даже фотографии времен приюта у нее сохранились. Раньше она об этом почти не говорила. Вспоминать детство свойственно пожилым людям.

Школьный класс. Доска и похожий на военного учитель видны на снимке спереди, а ученицы, сидящие за партами, — сзади. Ровный, как ниточка, прямой пробор, туго заплетенные косы образуют на затылке что-то вроде кренделя.

— А у одной коса с лентой свисает на спину, — заметил Франк, для которого фотографии были гвоздем программы.

— Она не приютская, это дочь учителя, — пояснила Мееле.

Групповой снимок, девочки от шести до семнадцати лет. Все в одинаковых, наглухо застегнутых, доходящих до щиколоток темных платьях, в черных чулках и высоких ботинках. У каждой на груди светлое пятно — это круглая брошь с монограммой «всемилостивейшего учредителя» этого замка для сирот, его величества короля Фридриха Вильгельма III.

Ну и платья! А может, они не видели других и были довольны?

— Мы мечтали о совсем других платьях, — рассказывала Мееле. — В одной из комнат замка, а все они были большие, высокие и холодные, висел портрет королевы Эбергардины. Она была благочестивая, как монашка, и давно уже умерла. Нам вечно ее приводили в пример. Я частенько стаивала перед ее портретом. Она смотрела мимо меня своими выпуклыми голубыми глазами, волосы у нее были седые, а щеки жирные. И никакого прямого пробора. Высоко зачесанные локоны, а в них драгоценности. А вырез на платье! С таким вырезом пастор вышвырнул бы меня из

церкви. Шея у нее была бело-розовая, а кроме шеи, чего там только не было видно!

В описаниях замка воспитанницы читали, что Эбергардина была женой Августа Сильного. Но в этих описаниях не говорилось, что король сослал ее в этот замок, дабы без помех доказывать другим женщинам, что он с полным правом носит свое прозвище.

Начальница сиротского приюта была дворянкой. Она и пастор играли главные роли. У Мееле еще сохранилась бумага со сводом правил, написанных пастором.

> «…Наши воспитанницы будут в основном добывать средства к существованию в качестве прислуги, а потому простота и простодушие — две важнейшие путеводные звезды в нашей воспитательной работе, которая должна проводиться с детьми из народа без всяких посторонних влияний. В этом же заключается высокое социальное предназначение приюта в нашей, увы, столь далекой от духа почтения и уважения к авторитетам действительности…»

В два часа ночи я закончила сборку рации, опустила ее в полое пространство, положила на место доску, не завинчивая шурупов, и заставила ее обувью. Задняя и правая стенки шкафа были частью стены, а левая и передняя пристроены к ним. Изножье моей деревянной кровати упиралось в левую стенку. Я легла головой туда, чтобы видеть горы.

Завтра рано утром я вытащу доску, просверлю дырки в левой стенке шкафа, вгоню туда металлические гильзы и соединю с передатчиком. Тогда, чтобы начать работу, мне останется только подсоединить контакты банановго штепселя к ключу, батареям и антенне.

Утром я опробую передатчик, к вечеру он должен функционировать. Я хотела еще изготовить круглые плоские шайбочки из более темного, чем шкаф, дерева. Они будут выглядеть как сучки́ в текстуре дерева, а перед сеансом их легко будет снять, тогда как передатчик останется на своем постоянном месте. Проверив его, я закреплю доску шурупами и поставлю на нижнюю полку обувь. На верхних полках лежало мое белье.

Хороший тайник, если таковые вообще существуют. Случайно или при поверхностном домашнем обыске его, конечно, не обнаружат. Если же при помощи пеленгаторов удастся засечь, что передатчик находится в этом доме, никакой самый лучший тайник не поможет. Я никогда еще не слышала и не читала, чтобы

в подобном случае передатчик не был обнаружен. Почему они, обыскивающие, должны быть глупее, чем мы, прячущие?

Прежде чем лечь, я еще раз заглянула к детям, как делала это каждый вечер. Франк спал; когда я подтянула на нем одеяло, он дернулся, но не проснулся. Тине я не могла теперь поправлять одеяло, не могла после трудного дня взглянуть на спящего ребенка — она теперь была при Мееле.

Напрасно я старалась заснуть. Может, принять таблетку, то легкое снотворное, которое дают без рецепта? Я редко принимала лекарства, курила только в компании, могла жить без чая, кофе и алкоголя, умела есть просто сухой хлеб безо всего, была равнодушна к мясу, мылась холодной водой, делала гимнастику, хотя вовсе не принадлежала к пресловутым апостолам здоровья. Я не хотела во что бы то ни стало дожить до восьмидесяти лет и не считала признаком нравственности отказ от радостей жизни; я этого и не делала, я только следила за тем, чтобы быть в состоянии обойтись без них, коль скоро придется без них обходиться. Так же, как спортсмены живут, сообразуясь со своей профессией, должны и коммунисты-подпольщики сообразовываться со своей.

Во избежание недоразумений должна сказать, что не могла заснуть вовсе не из-за передатчика в доме — к этому я привыкла, и беспокоил меня разве что вопрос, удастся ли мне завтра ночью наладить связь.

Причиной бессонницы был долгий день и еще тот тесно исписанный листок, который разглядывали Мееле и Франк, когда я, вернувшись из поездки, заглянула в окно кухни.

Лист был старый, измятый и вновь разглаженный. Воспитанницы приюта обязаны были хорошим почерком переписать его содержание с прописи. Мееле не удалось сделать это без ошибок, она сунула листок в карман и поскорее начала новый.

Так как у Мееле ничего не было, она никогда ничего не выбрасывала. Или она сознательно сохранила этот лист, как воспоминание детства? Я ее об этом не спрашивала. Это было «Уложение о наказаниях в Королевском сиротском приюте для дочерей военнослужащих». 29 различных наказаний содержалось в 29 чисто и аккуратно написанных строках.

Внизу крестиками отмечалось, кто какое наказание может назначить. Начальница — любое, пастор же только № 21. «Удары (правда, не больше шести) розгами через рубашку…» «Удары палкой (для выбивания ковров, до десяти ударов через рубашку)» пастор уже не мог назначить своей волей. Ко многим пунктам имелись примечания:

«Лишение некоторых блюд: а) за завтраком — масла, или сала, или половины хлебной порции; б) за обедом — сахара, корицы и печеных слив; в) кофе, но не зимой после прогулки; г) за ужином — того, что кладется на бутерброд, или масла, или селедки. Если ребенок в один и тот же день наказывается несколько раз, сокращение порции возможно по пунктам а) и б) или б) и в), однако сочетание пунктов а) и г) или в) и г) не допускается».

Так вот росла Мееле.

Меня затошнило от отвращения, что же за люди выдумали такое, да еще со всеми этими вариантами. Но я даже не могла позволить себе утешительной мысли, что все это относится к далекому прошлому. От этих подданных кайзера Вильгельма II прямая дорожка вела к фашизму, к зверствам нацистов, к их параграфам и правилам: СС, С А, гестапо, концлагерь, каторжная тюрьма, пытки коммунистов, издевательства над евреями, а, б, в, г…

На следующий день я закончила сборку передатчика, один цифровой текст зашифровала в другой и 20-го в 23 часа прекрасно вышла в эфир. Со скоростью света неслись мои цифры по небу, на котором луна видна была лишь наполовину, и принимались там, где их ждали, они помогали товарищам по партии, придавали им силы.

В октябре выпал снег, потом сверху намело пушистые сугробы, которые пролежали до поздней весны. Франк ходил в школу на лыжах по белой целине. А я, если мне надо было в маленькую деревенскую лавочку, шла по лыжне, проложенной им. По воскресеньям мы отправлялись на длительные прогулки. Больше всего мы с Франком любили, доехав в синем поезде до конечной станции на вершине горы, лететь на лыжах тысячу метров вниз, до дома. А Тина с Мееле без устали катались на санках с нашего маленького холма.

Я часто работала с передатчиком. Как я и предвидела, Мееле вскоре прознала о моих ночных занятиях. Но много слов не тратила: «Я могу с вечера ставить тебе какао в термосе» или: «Поспи утром подольше, детей я утихомирю».

Как приятно было выспаться после ночной работы, вместо того чтобы через считанные часы вскочить от детского шума. Я никогда не говорила о том, чем я занимаюсь, а Мееле ни о чем не спрашивала. У нас не возникало никаких разногласий. Мы придерживались одного и того же принципа: детей надо вырастить неприхотливыми и закаленными людьми.

Неприхотливость не значит безрадостность. Наоборот, это значит, что у них будет на сотню мелких радостей больше, чем у избалованных детей, утративших к ним вкус. И все-таки меня смущало то, как Мееле баловала свою любимицу Тину. Когда я возвращалась из своих отлучек, она всегда рассказывала мне только о ней. К тому же мне не нравилось, что она отсылает Франка с полной тарелкой в холодную комнату рядом с кухней. Казалось, ему было на это решительно наплевать, но так как мне часто приходилось оставлять детей на одну только Мееле, то я не хотела особенно во все это вмешиваться.

Мееле теперь и выглядела лучше, и казалась менее беспокойной, чем тогда, у моих родителей, до переезда ко мне. Это беспокойство я впервые заметила снова, когда мы все-таки, совершенно для меня неожиданно, поссорились.

Незадолго до третьего дня рождения Тины я заговорила о своем намерении отдать ее в детский сад при школе: девочке полезно побыть среди ровесников, а Франк сможет утром ее туда отводить.

Мееле испуганно взглянула на меня.

— Но ты же не отнимешь у меня ребенка…

— То есть как отниму?.. Просто она будет несколько часов в день играть там.

— Тине со мной хорошо, и нигде ей лучше не будет. Неужели ты не понимаешь, что этот ребенок — все счастье моей жизни?

— Она и останется твоим счастьем, если ты не будешь слишком много над ней кудахтать.

Меня рассердило ее неразумие.

— Кудахтать! Ты можешь так говорить потому, что тебе твоя политика дороже, чем Тина и Франк. Какая это вообще любовь к детям, если человек постоянно рискует, что его упрячут в тюрьму? Тогда ты лишишься детей и будешь радоваться, что я тут, с ними. И не пытайся отнять у меня Тину. — Едва Мееле это произнесла, судорожно сведенные мускулы ее лица обмякли, глаза налились слезами. — Я не хотела этого говорить, это все потому, что я о тебе беспокоюсь. Как ты сама не боишься, ты же знаешь, что может случиться.

— Только не рассказывай мне опять, что я не люблю своих детей.

Я вышла из комнаты.

Мееле задела меня за живое, но вскоре это прошло. Гораздо дольше не проходило мое удивление по поводу ее прямо-таки истерической вспышки из-за того только, что я хотела отдать Тину в детский сад.

На другой день она вела себя так, как я привыкла, то есть

нормально, и спокойно занималась хозяйством, руководила детьми и мною. Кошки, пробежавшей между нами, как не бывало, и наша совместная жизнь продолжалась в полном согласии. Я настояла на том, чтобы Тина ходила в детский сад, и Мееле, не протестуя, приняла это.

Кроме фрау Фюсли, Мееле иногда болтала с портье деревенской гостиницы и с хозяином продуктовой лавки. Этого круга знакомств было достаточно, чтобы до нас дошли слухи о том, что фрау Фюсли потаскуха, что она наставляет рога своему мужу. Нам с Мееле казалось абсурдом приписывать такое тяжко работающей женщине с четырьмя детьми, которая, будучи едва ли старше меня, уже выглядит отцветшей.

Еще живя в долине, в пансионе, мы близко познакомились с нашей соседкой, Лилиан Якоби. Ее полюбила не только я, но и Мееле и дети. Теперь мы ждали ее приезда к нам, в «Дом на холме». Лилиан была старая, болезненная и одинокая. Она жила в ожидании мига, когда ей, немецкой еврейке, выдадут визу и она сможет вслед за детьми и внуками поехать в Южную Америку. Неуклюжая, неряшливая, с добрыми черными глазами, она часто и громко смеялась. Переживания последних лет, до того как ей удалось покинуть Германию, сделали ее нервозной и чрезмерно пугливой. А раньше она была, наверно, замечательным человеком.

Отец заставил ее в семнадцать лет выйти замуж за польского раввина, которому она с радостью родила одного за другим двоих детей. Так как это оказались девочки, то он сообщил ей о своем решении попытаться в третий раз, может быть, будет мальчик. Но прежде чем он успел перейти от слов к делу, она, захватив дочек и свое приданое, сбежала из дому. За это ее семья от нее отреклась. Она купила билет в Германию, научилась добывать пропитание детям и никогда больше не вернулась на родину.

Лилиан должна была остаться у нас ночевать. В «Доме на холме» жарили и парили, я натаскала дров в комнату возле кухни, чтобы нашей гостье было тепло. Мееле открыла печную заслонку, потянула носом, удивленно покачала головой, достала карманный фонарь, посветила в печку и вдруг издала громкий негодующий вопль:

— Ты только глянь, — кричала она, — до чего продувной малый, а ты еще всегда его защищаешь.

В печке оказалось содержимое бесчисленных тарелок Франка. Я, ни слова не говоря, вычистила печку; ведь чем больше Мееле сейчас будет ругаться, тем меньше потом достанется Франку. Весь поток ее речей он выслушал спокойно, почти равнодушно. И мои

слова о том, как справедлив гнев Мееле, которая готовит для него всякие вкусные вещи, и о том, что его поведение граничит с обманом, мало его тронули.

— А что же мне было делать? — спросил он, глядя на нас, хотя и без наглости, но и без раскаяния.

— До чего ж он черствый, дальше ехать некуда, — сказала Мееле.

Мы, везя Тину на санках, под густыми хлопьями снега отправились на станцию встречать Лилиан. Она обняла всех нас. Дом привел ее в восхищение. После кофе мы сидели вокруг большого кухонного стола. Лилиан и Франка сумела втянуть в разговор, просила показать ей его рисунки и объяснить, почему это божья коровка у него больше, чем дом, а солнце — лиловое? Мееле, которой все это надоело, сочла за благо прервать их беседу и рассказать историю с печкой.

У Франка стали злые глаза, я тоже рассердилась и уже собралась одернуть Мееле. Но тут Лилиан поняла, в чем вся соль рассказа, хлопнула себя руками по ляжкам и, откинув назад голову, разразилась громким хохотом. Она сочла эту историю «ужасно смешной». Тина — поняла она или нет, — не желая упускать возможности посмеяться, тоже захохотала, мы с Мееле подхватили, а за нами и Франк. Вечер прошел весело и уютно. Когда мы услыхали, что фрау Фюсли возится с коровами, мы пригласили ее к нам. Наше настроение передалось и ей. Я никогда не подозревала даже, какой она может быть веселой и остроумной.

До чего же причудливую компанию образовали мы, четыре женщины! Лилиан, в прошлом собственность ребе, фрау Фюсли, за плечами которой многие поколения швейцарских крестьян, Мееле, солдатская дочь из сиротского приюта, и я, коммунистка, с запрещенным передатчиком над нашими головами.

Фрау Фюсли пора было возвращаться к своим детям. Я решила немного проводить ее и на обратном пути разгрести снег перед домом. Он все еще падал крупными хлопьями. Вскоре мы зажгли карманные фонарики. Нас окружал покой и тишина. Крестьянка спросила, можно ли ей кое-что рассказать мне. Я взяла ее под руку. Мы шли по глубокому рыхлому снегу, и я слушала ее историю, начало которой было так же старо, как само искусство рассказывать истории.

Семнадцатилетняя девушка, страдая от злой мачехи, хотела вырваться из дому. К ее отцу захаживал один красивый солдат, и он стал писать девушке письма. Всякий раз, бывая в увольнительной, он проходил мимо их дома. Человек он был

неразговорчивый, но его письма, очень ее волновавшие, доказывали, что́ с ним происходит. Когда он отслужил, они поженились, и к нему перешел хутор его отца. Она уже ждала ребенка, когда выяснилось, что письма за него писал кто-то другой. Сам он мог разве что с грехом пополам связать несколько слов на бумаге.

Она словно оцепенела и в том, что касалось мужа, никогда больше не была такой, как прежде. Она начала в бессонные ночи мечтать о том, другом, который писал ей такие прекрасные строки. И твердо верила, что он тоже тоскует о ней. Только так можно было жить дальше. Когда у нее было уже четверо детей, а старшему стукнуло восемь, она встретила человека, который и выглядел, и говорил как автор писем, каким она его себе представляла. Он один хозяйничает на маленьком хуторе. И они уже давно любят друг друга. Но разве она может оставить детей?

Она скромно поведала мне свою историю и сказала, что в деревне она ни с кем не могла бы об этом говорить.

В конце зимы Франк заболел тяжелым гриппом с целым рядом осложнений. Он не жаловался, никогда не звал Мееле или меня, пока мы сами к нему не входили, без возражений глотал лекарства и с каждым днем худел и бледнел. Врач приходил редко, перевозить больного мальчика нам не советовали. Я, сколько могла, находилась при нем. Мееле самоотверженно ухаживала за ним и впервые была строга с Тиной, если та шумела, когда Франк спал. После месяца, полного страхов, он начал медленно поправляться. Едва он выздоровел, мелкие ссоры между ним и Мееле начались сызнова. Лучше всего они ладили, когда я бывала в отъезде, но я же не виновата, что старая женщина и маленький мальчик бывают не в ладах.

Однажды, не успела я поставить чемодан, он начал скакать вокруг меня.

— Поэтница, поэтница!

— Говорить надо «поэтесса», если ты это имеешь в виду.

— Но ведь говорят «художница», «писательница».

Франк опять с утра подбил Мееле рассказывать истории, впрочем, это было нетрудно.

— Она мне поверила эту тайну! — торжествующе кричал он.

Стоило Франку услышать или прочитать какое-то не слишком обиходное слово или выражение, он без конца повторял его, покуда не всплывало и не привлекало его внимание какое-то новое слово.

— Совершенно верно, — сказала Мееле, — в девять лет ты сочиняла стихи, а в десять писала рассказы. Я верила, что из тебя

выйдет настоящая писательница. И потом, когда у тебя появился письменный стол, он всегда был битком набит рукописями. Ты заказала его безработному столяру, он тоже был партийный, брюнет, с усами, и за работу дешево взял. Ты выплачивала ему из своего ученического жалованья тридцать марок в месяц. Я это хорошо помню, я сама добавила пять марок. Твои родители были очень строги на этот счет, никогда никакого баловства. А для тебя самое главное было иметь ключ, чтобы мы с твоей матерью не могли читать твои бумаги.

Мееле задела меня больше, чем предполагала. Я могла бы ей сказать, что и теперь еще пишу, но страницы лежат в моем столе в лучшем случае одну ночь. В моем положении не стоит лишний раз привлекать к себе внимание.

Я спросила Мееле, откуда она знает, что я начала писать в девять лет.

— Очень просто. «Уж третье рождество встречаем за войну и ждем весну» — это твои стихи, а в 1916 году тебе было девять. Стихи в честь твоего дяди Фреда, когда он получил Железный крест, ты написала в том же году.

И вражья пуля храбреца пронзила,
Но, слава богу, шлем лишь зацепила.

Мы с Мееле расхохотались. Франк счел стихи прекрасными.

Да, дядя Фред был храбрец. И, наверно, из храбрости он после прихода Гитлера к власти не последовал совету моего отца, а остался на родине, в Германии, которую он любил. Позднее его вместе с женой уничтожили в Терезиенштадте. У них было четверо детей.

В марте 1939 года гитлеровские войска оккупировали Прагу. В марте же фашист Франко вступил в Мадрид. Чехословакия и Испания оказались под игом фашистских диктаторов.

Снег таял, весна была сказочно прекрасной. У самого «Дома на холме» расцвело необозримое поле нарциссов. Дети с трудом прокладывали себе путь в этом море цветов, приносили домой огромные охапки, но проплешин не было видно. Аромат цветов, проникавший в дом, был настолько силен, что на ночь приходилось закрывать окна.

В городе Лиги Наций, Женеве, кишмя кишели агенты разных стран, особую опасность для нас представляли засылаемые туда целыми косяками гестаповцы. Немецкие эмигранты делали все возможное, чтобы вырваться из этого, некогда надежного,

убежища, и чем дальше, тем лучше. Мееле, побывав в гостях у Лилиан, вернулась чрезвычайно озабоченной. Лилиан рассказала ей, что ходят слухи, будто евреев с просроченными паспортами будут отправлять на немецкую границу.

— У тебя паспорт просрочен, — сказала мне Мееле.

— Здесь многие вообще без паспортов, а о высылке речь может идти только в отдельных случаях.

— Если они что-нибудь пронюхают про твою работу, тебя как раз и вышлют. А что тебя ждет у Гитлера, ты знаешь. Тебе там не выжить.

Мееле побледнела как мел.

— В одном я тебе клянусь, — продолжала она, — дети будут со мной, даже если мне придется их прятать. Если меня отправят назад, в Германию, я возьму их с собой. С их голубыми глазами и светлыми волосами никто ничего не заподозрит. Денег на нас троих я всегда заработаю. Ты можешь быть за них спокойна. Им со мной будет хорошо.

— Но я ведь еще жива. Может статься, никто мою работу не обнаружит, а может статься, они арестуют меня, но не выдадут Германии.

— И ты еще смеешься, — укоризненно сказала Мееле, — ты, видно, не понимаешь, как я за тебя боюсь. Ночью я смотрю, до каких пор у тебя горит свет, и никак не могу заснуть. Я понимаю, ты должна делать то, что ты делаешь, я и сама по мере сил помогаю тебе. Я понимаю, что без меня ты не смогла бы разъезжать и не имела бы того спокойствия, которое нужно в твоей работе. Но иногда я спрашиваю себя, должны ли они взваливать такое на молодую мать двоих детей? Не слишком ли это жестоко?

Я чувствовала ее любовь ко мне. Но что я могла ответить? Жесток был фашизм, не мы.

— Мееле, не надо больше следить, до какого часа горит свет, это нехорошо. Важно одно: если что-то случится, ты выйдешь заспанная из своей комнаты, ты ничего не видела и не слышала, на том и стой. Мы ведь уже достаточно много об этом говорили. А то, что ты сказала о детях… Что ж мне, бросить мою работу из-за детей или из-за подпольной работы наплевать на них? И то и другое для меня невозможно. А больше всего мне хотелось бы еще одного ребенка.

— У тебя есть мужчина на примете? — осведомилась она. — С тебя станется иметь троих детей от троих отцов. Только не смейся опять.

Вскоре Мееле пришлось — и гораздо активнее, чем я могла

предположить, — подключиться к моей работе.

Летом 1939 года в горах почти не было туристов… Иностранцы не появлялись, никто не решался покидать пределы своей страны, даже в разгар сезона гостиницы пустовали. Мы теперь были в одиночестве, Мееле ощущала это острее, чем я.

В то лето мне сообщили, что в Швейцарии находятся деньги, собранные для арестованных членов КПГ и СДПГ. И запросили, не вижу ли я возможности переправить через границу довольно значительную сумму и передать ее одной женщине. Адрес мне дадут. Ее муж, один из вождей рабочего класса, уже давно находился в заключении.

Я взвесила, смогу ли я проехать туда нелегально. Может быть, по паспорту Мееле? Если что-то сорвется, она скажет, что я его у нее украла… Но как быть с тем, что она старше меня на двадцать три года, я высокая, а она маленькая, у меня глаза карие, а у нее — зеленые? Впрочем, они ведь не меня имели в виду, мне только надо найти кого-то, кто согласится на такое путешествие, связанное к тому же с незаконным перевозом денег через границу, что карается очень строго. Меня рассердил этот запрос. Как будто подходящие люди на улице валяются! А я сама столько усилий приложила к тому, чтобы жить, соблюдая все законы, и теперь должна кому-то открыть свои карты! Но, с другой стороны, это дело не давало мне покоя. Я обязана была поддержать эту акцию международной солидарности, и отказаться было бы…

Мысли мои вернулись к Мееле. Незаметная, маленькая и серая как мышка. Это был бы самый правильный выход. Так родилась мысль — послать Мееле.

Она согласилась, не задавая лишних вопросов и не задумываясь. Чтобы описать наши приготовления, понадобилось бы множество страниц.

В оправдание своей поездки Мееле заявила, что хочет вновь увидеть тот приют для солдатских дочерей, где она выросла и провела прекрасные годы отрочества. В Германии у Мееле никогда не возникало потребности посетить этот дом. Теперь, когда она все чаще вспоминала молодость, Мееле спросила меня, не заглянуть ли ей туда на самом деле, это ведь всего в 150 километрах от Берлина.

Тут к нам подошел Франк. Мееле не прекратила разговор, а взглянув на него, сказала, что теперь до приюта не надо добираться на телеге, как когда-то доставили туда первую группу осиротевших девочек.

— Откуда? — спросил он. Стоило Мееле упомянуть о приюте, он уже тут как тут. Мысль, что она туда поедет, страшно ему

понравилась, и когда она об этом говорила, они были лучшими друзьями.

— Девочки выехали из Потсдама в три часа ночи и только к вечеру добрались до замка, но это было в мое время.

— А что такое Потсдам? — полюбопытствовал Франк. Он не знал свою родную страну. Родился он в Китае и в Германии никогда не был.

Мы просили дать нам купюры покрупнее, чтобы вся сумма влезла в отверстие моей платяной щетки. Деньги мы сложили, плотно набили ими отверстие и с трудом надвинули верхнюю часть щетки так, чтобы нигде не было щели.

Оставались две трудности. Следят ли еще за квартирой этой женщины? С ареста ее мужа прошло уже шесть лет. Если да, то для Мееле это чревато опасностью, ее могут задержать. А может случиться, что женщина сочтет визит Мееле провокацией фашистов и вообще ее не впустит.

Мееле ко всему относилась просто и спокойно. Только простившись с Тиной, она сказала:

— Я старуха, и, даже если не повезет, что со мной может случиться? Но разлуки с девочкой я не переживу.

Мы не назначали точного срока ее возвращения, но она не должна была задерживаться больше, чем на две недели.

На пятый день мы увидели, как она спускается по тропинке к дому; мы бросились ей навстречу.

— Все в порядке, — крикнула она и только после этого взглянула на Тину.

Едва войдя в кухню, она принялась раздавать подарки. Тина получила медвежонка, Франк — большой ящик с красками. Чтобы осилить такие дары, Мееле пять дней питалась только сухим хлебом.

— Оставь, для меня это радость, — сказала она.

Только вечером нам удалось наконец спокойно поговорить. Мееле, как и было условлено, пошла на квартиру этой женщины без денег, была встречена более чем холодно и сказала все так, как мы договорились.

«Не принимая деньги, вы хорошо страхуете себя, но тем самым вы из осторожности отказываетесь помочь голодающим семьям членов партии».

И женщина согласилась взять эти деньги.

Они условились встретиться на следующий день, под покровом темноты и не на квартире. Мееле передала деньги, женщина обняла ее и сказала: «Я никогда этого не забуду. И большое спасибо всем друзьям». Она заплакала, и Мееле тоже.

На третий день Мееле отправилась в приют. В Виттенберге, городе Лютера, она пересела на маленький обшарпанный поезд. Более сорока лет назад, когда Мееле впервые ехала в этом поезде, он был новенький и сверкал чистотой.

Городишко был отвратительный, то есть это теперь он показался ей отвратительным. А тогда она завидовала детям, жившим в этих темно-красных кирпичных домах с высокими узкими окнами; овальные сверху, они были как бы забраны аркой из грязно-желтого камня: башенки, шпили, лепнина где только можно, и где нельзя — тоже. В конце прошлого столетия, в эпоху безвкусных, претенциозных маленьких вилл местные буржуа нажили себе порядочные состояния на новых винокуренных заводах и на курортниках, наводнявших городок с гордым названием Моорбад. Темные грязи должны были хорошо действовать на старые кости. Впрочем, ни одни местный житель никогда этими грязями не лечился. И лишь одно в городе примиряло со всеми его уродствами — повсюду росли деревья.

Мееле прошла мимо почты, никогда не доставившей ей ни одного письма, прошла по центру города и разволновалась, увидев за́мок. Ее взору представилось здание столовой, куда они входили трижды в день, а один раз в год торжественно вступали через «рисовые врата». Это бывало в день рождения кайзера Вильгельма II. Путь к столовой лежал через замковый двор. Каждый год 27 января впереди воспитанниц шествовал оркестр, и они входили в зал через эти особые врата. Из года в год в этот достопамятный праздничный день подавалась рисовая каша на молоке, любимое блюдо девочек.

Погруженная в свои мысли, Мееле прошла еще несколько шагов, как вдруг дорогу ей преградил солдат с собакой на поводке.

Конечно, это не могла быть *та* собака, это не могла быть даже ее правнучка. *Та* собака принадлежала паромщику, что жил возле Эльбы. Переправа к деревне на противоположном берегу находилась всего в нескольких минутах ходьбы от замка. И это было единственным нарушением дисциплины, которое позволяла себе обычно прилежная Мееле. Девочка всегда удирала без разрешения — она никогда бы его не получила, — как овца, отбивалась от стада, согнувшись, кралась под защитой деревьев, а последние пятьдесят метров во весь дух мчалась, уже без всякого прикрытия, по широкому лугу. Паромщик ворчал, но собака радовалась, виляла хвостом и лизала девочке руку. Собака *любила* ее. Плоские прибрежные луга обычно бывали мокрыми, а девочка не могла каждый день надевать вместо промокших ботинок праздничные, и потому не удивительно, что

Вильгельмина часто простужалась.

Одна из воспитательниц выследила ее.

«Если внушения, угрозы, выговор не действуют, тогда вступает в силу „Уложение о наказаниях“». Ее провинность заключалась в непослушании и упрямстве.

Поскольку ей шел десятый год, то в дело были пущены не розги, а палка. Так что в следующий раз она прокралась к собаке с избитой попкой.

Мееле приветливо взглянула на часового и с улыбкой подошла к собаке, и тут произошло невероятное: строго выдрессированная собака перестала ворчать и скалиться и завиляла хвостом. Часовой, выдрессированный, не менее строго, но все-таки *человек,* двинул собаку в пах и закричал все еще улыбающейся Мееле: «Назад! Вход воспрещен!»

Мееле робко попросила украшенного свастикой солдата, нельзя ли ей на минутку зайти, она проделала такой долгий путь из Швейцарии.

«Из Швейцарии, чтобы сюда попасть?» — переспросил солдат.

Она кивнула.

Он провел ее в парк к первому из домов, которые королева Эбергардина строила для своих придворных. В доме сидел офицер. Часовой, подняв руку и вытянувшись по стойке смирно, отдал рапорт.

«Хайль Гитлер», — сказал офицер, обращаясь к Мееле.

«Хайль Гитлер», — отвечала она.

«И вы, значит, специально приехали из прекрасной Швейцарии, чтобы здесь все разнюхать? Они теперь используют для этого старых баб? Кто вас прислал?»

Мееле покачала головой, открыла сумочку и достала оттуда пожелтевшие фотографии, надеясь своим рассказом о давно минувших днях смягчить сердце офицера.

Он немного послушал, засмеялся раз-другой, а потом как заорет:

«Убирайтесь отсюда вон и радуйтесь, что ноги унесли!»

Мееле, испуганная и грустная, ушла, но, несмотря ни на что, все же решилась спуститься к реке неподалеку от замка, на луга, полюбоваться бескрайней равниной с прекрасными купами деревьев и широким горизонтом…

Более чем через тридцать лет состоялся процесс над одним из долго скрывавшихся военных преступников. Он сообщил, что этот замок был строго секретным учебным центром нацистов, и он проходил там обучение. Шпионы специально изучали труды Маркса, Ленина и Тельмана. Кое-кого из них засылали в концлагеря, чтобы напасть на след коммунистов-подпольщиков.

Первый день войны.

Мы знали, что это может быть скоро, очень скоро. Но человеку необходимо, не растекаясь в фантазиях, иметь хотя бы крупицу надежды и мечты, что все еще может быть иначе.

Моя жизнь в Швейцарии, в стране, которая во что бы то ни стало хотела остаться нейтральной, очень усложнилась. Радиолюбительство было запрещено, надзор за иностранцами усилился. Меня разыскал чиновник швейцарской службы безопасности. Я смогла на все его вопросы ответить без запинки. К подобным «собеседованиям» я была подготовлена.

Отели закрывались. В бараки, что стояли в двухстах метрах над нашим домом, вселились солдаты. Раньше мы эти запущенные строения почти не замечали.

Родители увезли детей по домам, санаторий пришлось закрыть и тем самым кончилось учение Франка в школе. Мееле была счастлива, что Тина опять при ней. Но начавшаяся война больно задела и ее. Однажды она пожаловалась:

— Большие занимаются политикой, а маленькие за это расплачиваются.

У нашей тети Мееле, которая в ее возрасте прекрасно освоилась с атмосферой нелегальщины и помощь мне считала чем-то само собой разумеющимся, не было достаточной политической подготовки. Когда она передавала мне, что́ говорят люди, я пыталась многое объяснить ей. Говорила я с ней и о том, что писалось в буржуазных газетах, вернее, в той единственной газете, которую мы выписывали. Теоретических лекций она не признавала. «Я для этого слишком стара».

— Кто эти большие? — спросила я. — Разве политика Советского Союза привела к войне? Даже самый глупый противник не может искренне утверждать такую ложь. Если ты имеешь в виду правительства крупнейших капиталистических стран, то ты права, а народы, или, как ты говоришь, маленькие люди, должны за это расплачиваться. Но разве они совсем не виноваты в том, что выбрали такое правительство? Ты все очень уж упрощаешь!

К нам приехала Лилиан. Ее желудочная болезнь обострилась, она была испуганной и притихшей. Если Тина носилась по лугу, она причитала, сейчас, мол, девочка упадет, больно ушибется. Если Франк высовывался из окна на втором этаже, она глаз не могла поднять от страха. Она боялась, что, если визу дадут не скоро, она будет уже слишком больна и не сможет свидеться со своей семьей.

Мое разрешение на жительство истекло через месяц после

начала войны. С тяжелым сердцем я отправилась по соответствующим инстанциям, но после нескольких вопросов мне поставили нужную печать. Для Мееле с ее законным немецким паспортом не было вообще никаких затруднений.

Во время войны каждое сообщение из Германии и каждая возможность оказать поддержку тамошним товарищам были особенно важны. Я начала осматриваться в поисках помощников. Если мой передатчик обнаружат, должны быть люди, готовые забрать его. И кроме того, мой передатчик слишком уж долго работал на одном месте. Мне удалось разыскать троих вернувшихся из Испании интербригадовцев. Они изъявили готовность помочь. Пауль был немец, коммунист. Нацисты приговорили его к смерти за государственную измену. Он жил у нас, пока мы вместе с ним собирали для него рацию. Судьбе было угодно, чтобы мы занимались этим как раз в тот день, когда ко мне явился чиновник швейцарской службы безопасности. Мееле встретила его, провела в комнату возле кухни, кликнула меня, а сама помчалась наверх предупредить Пауля. Если не считать этого случая, то для меня великой радостью было спокойно говорить с таким опытным немецким коммунистом, приятно было уже произнести «товарищ». Мы собрали рацию в ящике из-под пишущей машинки. Когда Пауль уже мог приступить к самостоятельной деятельности — научился работать на аппарате Морзе, — он переехал в подходящую квартиру в другом кантоне.

Второй интербригадовец позднее не выдержал тяжелых условий и покинул нас.

Третий был молодой англичанин, человек тихий, интеллигентный, храбрый и в высшей степени порядочный. Обучение его потребовало многих месяцев напряженной работы. Сид снял себе комнату в долине и регулярно приходил наверх заниматься. Я устраивала так, чтобы он не мог встретиться с Паулем, но избежать знакомства Мееле с ними обоими было невозможно. Она хорошо относилась к «молодым людям». Без лишних слов то рубашку постирает, то дырку заштопает, то лекарство от простуды приготовит. Мееле охраняла тишину и на время занятий удаляла куда-нибудь детей.

О пребывании Пауля у нас никто не знал, Сида мы представили соседям как «моего жениха». Его это не смущало, меня тоже.

Он приходил обычно ранним утром, и у Мееле не хватало духу после нескольких часов занятий отпустить его есть «эту ужасную ресторанную пищу».

В полдень Франк возвращался с гулянья. В первый раз они молча стояли друг против друга. Сид был мускулистый, худой,

волосы у него были гладкие и густые, брови, сросшиеся на переносице, глаза — зелено-карие. Здороваясь с мальчиком, он улыбнулся, но тут же согнал с лица улыбку, так как она осталась без ответа. Во время первой совместной трапезы я не без затруднений вела разговор на двух языках. Ни Сид, ни Франк даже не пытались мне помочь. Трудно сказать, почему и как, но между ними завязалась дружба. Вероятно, сыграло роль умение Сида осторожно проникнуть в душу ребенка.

Даже Мееле признавала эти добрые отношения. В присутствии гостя трения между ней и Франком ослабевали, Мееле смягчало то, что Сид так часто с восхищением смотрел на нашу красавицу Тину. У девочки было доброе сердце. Мой рассказ о том, что Сид совсем маленьким лишился матери, вызвал потоки слез, и Тина бросилась горячо обнимать его. Вечером она не желала ложиться спать, а вдруг я тоже умру. Ночью она проснулась с ревом и потребовала, чтобы я взяла ее спать к себе. Мееле, вместо того чтобы ее успокоить, из ревности принялась ругать ее. Сид, который еще не ушел, стал жалобно говорить, что это он во всем виноват. В конце концов я сказала:

— Если вы сейчас же не прекратите это, придется вас всех троих завернуть в мокрые простыни.

Сид не ушел, потому что мы уже поняли, что любим друг друга. Вскоре мы решили пожениться. Мееле узнала об этом первой. Я ожидала протестов, и они воспоследовали. Да и как могло быть иначе, если в дом, бывший ее сферой влияния, входит какой-то чужой человек. Она будет страдать и оттого, что теперь она станет мне не так необходима, как прежде.

— Значит, все-таки муж, а я думала, ты с ним только работаешь, здорово же вы меня обошли. — Ее лицо исказилось. — Теперь он тоже поселится здесь, и я должна буду с ним цацкаться.

Я положила руки ей на плечи.

— Меельхен, неужели ты не рада, что у меня кто-то есть? Он хороший человек, и ты сама не раз это говорила. К детям он нашел подход и тебя он тоже полюбил, так что ты все-таки можешь быть довольна. А брак этот действительно очень важен, потому что теперь я, наконец, получу нормальный паспорт.

— Выходит, тогда отпадет опасность, что тебя вышлют?

— Да, — отвечала я.

— Значит, ты только из-за этого выходишь замуж? Фиктивный брак? — Ее лицо прояснилось.

— Паспорт, конечно, играет большую роль, а иначе мы бы просто стали жить вместе.

Она вздохнула.

— Как это на тебя похоже, ты ведь такой легкомысленный

человек. Сперва у тебя был муж, лучше которого и быть не может, я радовалась при мысли, что ты замужем. А как мы все радовались, когда родился Франк, хотя, к сожалению, все это происходило далеко от нас. И вдруг ты заявляешь, что вы живете врозь, и забираешься в какое-то захолустье в Китае… Для нас это твое письмо было как гром среди ясного неба. Для нее тоже. Мы с твоей матерью сразу заподозрили, что у тебя за этим кроется что-то политическое. Следующее, что мы о тебе узнали, — что ты ждешь ребенка. Мы и мальчика-то еще не видели, а тут опять новый муж. — Вдруг она улыбнулась. — Или, может, ты опять в положении? — Лицо Мееле просветлело. — Это было бы слишком хорошо, лучше и не придумаешь. Для меня не было бы большей радости…

— Я не беременна, — перебила я ее. — Но после разгрома фашизма, если все мы будем живы, я хочу иметь еще ребенка, и мы вместе будем его растить, это я тебе обещаю.

Мееле обняла меня.

В то время, чтобы немке выйти замуж за англичанина, надо было преодолеть массу трудностей. Когда со всем этим было покончено и Сид переехал к нам, между ним и Мееле установились самые добрые отношения. Он таскал Тину наверх, чинил печную заслонку, сорвавшиеся с петель ставни, хвалил кулинарное искусство Мееле и учился у нее немецкому.

Иногда она заговаривала со мной о «третьем ребеночке», чтобы удостовериться, по-прежнему ли я его хочу и не жду ли уже теперь.

— Времена сейчас и вправду не очень подходящие, но, может, все пойдет лучше, и тогда…

Мы воображали, как будет выглядеть это «тогда», и чувствовали, как мы близки друг другу.

Но Мееле уготовила себе другую судьбу, она никогда не увидела моего третьего ребенка.

Весной 1940 года Дания, Норвегия, Голландия, Бельгия и Люксембург были захвачены немецкой армией. После того как в июне нацисты вступили в Париж, Швейцария была окружена фашистами, открытой оставалась одна-единственная узкая дорожка через Францию.

Лилиан прислала длинное печальное письмо, и мы пригласили ее к нам. Поезд ходил в долину только раз в день, да и кого было перевозить, кроме нескольких крестьян и солдат.

У нас Лилиан ожила оттого, что дети были так веселы. Мне удалось, несмотря на все удручающие события, создать в доме спокойную обстановку. Тот, кто отвечает за совместную жизнь людей, несет ответственность и за гармоническую атмосферу в

доме, и кроме того, тот, кто борется, ни в какой ситуации не может быть безнадежно несчастным.

Лилиан никак не могла уразуметь, почему я, с английским паспортом, по-прежнему остаюсь в этой стране, и не давала мне покоя:

— Ты же умная женщина, как ты не понимаешь, что ты сидишь в мышеловке, которая захлопнется, когда придут нацисты. Не думаешь же ты, что их убедят твои документы. Ты хотя бы из-за детей должна уехать отсюда. В Англии, несмотря на войну, ты будешь в большей безопасности.

Что я могла ей ответить? О моей работе Лилиан, разумеется, и понятия не имела.

Мееле вскочила и побежала наверх. Она долго не возвращалась, и я пошла к ней. Она неподвижно лежала на кровати.

— Мееле, что случилось, ты заболела?

— Я не заболела, но я теперь все понимаю, — ответила Мееле.

— Что ты понимаешь? О чем ты говоришь?

Она молча уставилась в потолок. Через несколько минут она, часто дыша, сказала:

— Ты не можешь так меня обидеть, так — нет.

— Мееле, ну говори же, наконец, вразумительно.

Она отвернулась к стене и лежала молча. Потом села, ударила обеими руками по краю кровати и закричала:

— Ты меня за дуру считаешь, но я этого не допущу, не допущу. И не притворяйся невинной овечкой, ты все заранее спланировала и думала, я ничего не замечу, а потом уже поздно будет. Но ты просчиталась!

— К сожалению, я ничего не могу тебе ответить, потому что я все еще не понимаю, о чем, собственно, речь, — сказала я, стараясь скрыть свой испуг перед ее совершенно необъяснимым поведением.

— Ты прекрасно все понимаешь, ты хотела иметь новый паспорт, чтобы вырваться отсюда вместе с детьми. Ты хочешь с ними и с Сидом уехать в Англию, а меня бросить тут одну, без Тины, меня ведь нельзя взять с собой, я же немка. Вот она благодарность, вот она благодарность!

Я стала ее успокаивать, говоря, что она же знает, я никогда бы не бросила свою работу здесь ради собственной безопасности.

Возбуждение Мееле мало-помалу улеглось. В конце концов она улыбнулась и сказала:

— Ну и дура же я.

Она спустилась вниз, поговорила с Лилиан, уложила Тину

спать и пошла еще к фрау Фюсли.

Спустя три или четыре дня, поздно вечером, когда все уже спали, она вдруг появилась в дверях моей комнаты. В накинутом на плечи халате с тюльпанами, вся дрожа, она сказала, что не может заснуть и хочет еще раз спокойно все со мной обсудить. У Сида призывной возраст, его наверняка призовут в английскую армию, и ему придется идти, так почему же я с детьми должна оставаться здесь, если я, она же видит, люблю его — «больше, чем меня», добавила она с горькой улыбкой.

И если я теперь поеду с ним, она это поймет, но не могу ли я оставить Тину с ней, разве так не будет лучше? Денег ей никаких не надо, она станет работать не покладая рук, и ребенок ни в чем не будет нуждаться. Неужели я хочу увезти Тину в Англию, под немецкие бомбы? Неужели я возьму на себя такую ответственность и подвергну малышку опасности? Когда времена станут поспокойнее, она мне ее привезет.

Я ввела Мееле в комнату, она, все еще дрожа, села на мою кровать. Я спросила ее, откуда эти бредни. Мы и не думали уезжать. Сид здесь учится, и то, в чем он мне помогает — борьба с немецким фашизмом, иными словами — он вносит в эту борьбу свою лепту. Откуда у нее только такие мысли берутся, кроме того, она же знает, что из-за войны дорога из Швейцарии в Англию все равно что отрезана. Добраться туда можно только через Испанию, а в Испании Сиду, как бывшему интербригадовцу, никто не даст визы. Даже вполне безобидные англичане призывного возраста, которые хотят вернуться на родину, не могут получить транзитной визы. Тем самым Франко делает одолжение Гитлеру.

Мне удалось и на этот раз успокоить Мееле, но ее состояние напугало меня. Больше сетований не было, но она делалась все тише, мало ела и совсем перестала петь. Иногда она глядела на Тину, и глаза ее наливались слезами.

Мое беспокойство возросло, когда я обнаружила, что Мееле, обычно совсем не любопытная, вскрывает мою почту и снова заклеивает. Когда я с Сидом говорила наедине, она пыталась подслушать у двери. Из-за ее поведения атмосфера в «Доме на холме» стала тревожной. Дальше так не могло продолжаться.

Я посоветовалась с Сидом, стоит ли еще раз поговорить с ней. Он счел, что это не имеет смысла. Бедная Мееле. Если уж для нас это стало невыносимо, то как же мучилась она. Страх потерять нас вытекал из ее любви к ребенку и ко мне тоже. Она заслуживала и моего понимания, и моего доверия. Кроме того, мы обязаны были найти выход из создавшегося положения. Дети тоже почувствовали, что у нас не все ладно. Когда Мееле плакала,

Тина всякий раз начинала хныкать. Меня беспокоила мысль, что Мееле в этом состоянии депрессии остается на всю ночь одна с ребенком. Она теперь часто запиралась, чего раньше никогда не делала. С Тиной она вообще больше не расставалась. Один раз вышло так, что и мне, и Мееле, когда Тина спала после обеда, что-то понадобилось в деревне. Мы молча шли с ней рядом. Я искоса поглядывала на нее, и у меня больно сжималось сердце. Я положила руку ей на плечо и хотела заговорить, но голос изменил мне. Мееле обхватила меня за шею и разрыдалась. Я крепко держала ее. Потом сунула ей носовой платок. Сколько раз в жизни Мееле совала мне свой платок… Немного успокоившись, она начала говорить:

— Это я в заботе о вас. Если Сида призовут и ты опять останешься одна с детьми, как ты без меня обойдешься? Неужели нет никакой возможности поехать в Англию с немецким паспортом?

— Во время войны такой возможности нет, Мееле, но думать об этом совершенно излишне, я тебе сколько раз говорила — мы никуда не уезжаем.

— Ты сделала меня счастливой, когда взяла к себе, но теперь я уже не смогу жить без Тины.

— Мееле, ну что мне еще сделать, чтобы ты поняла, что мы остаемся здесь?

После долгих уговоров мне показалось, что кое-чего я все же достигла. Она стала говорить о будничных делах, которые предполагают совместное будущее. Хорошо бы Сид опять весной посеял перед домом мак, этот красный ковер среди зеленой травы был так красив… Не начать ли нам потихоньку пускать в ход наши продуктовые запасы — в каждом доме обязательно было держать резерв на два месяца — с тем, чтобы пополнять их свежими продуктами. Франку надо бы надеть пластинку на его выступающие вперед зубы. Можем мы позволить себе такой расход? Она слышала от Лилиан, что в городе есть хороший и не слишком дорогой дантист.

Я сказала ей, что семена мака уже куплены, а с зубным врачом я поговорю, как только выберусь в город.

Домой мы вернулись, держась за руки. И потекли хорошие, спокойные дни, в дом вернулась прежняя веселость. Мы облегченно вздохнули. Мы с Сидом уехали ненадолго, и меня отпустило то беспокойство, которое я постоянно испытывала в последнее время, если приходилось оставлять Мееле одну с детьми.

По возвращении мне прежде всего бросилась в глаза молчаливая удрученность Мееле, ее жалкий вид. На мое имя

пришли два письма. Одно от Лилиан, другое от родных. Я взяла письма в свою комнату и тщательно их осмотрела. Оба конверты Мееле вскрыла, а потом опять заклеила. Во всяком случае, мне показалось, что сделала это она, а не швейцарская почта.

Лилиан писала, что вот-вот получит визу и через несколько недель уедет. Далее в письме говорилось — и это было типично для Лилиан: «Только бы за это время ничего не случилось, я уж почти не решаюсь выходить на улицы, боюсь попасть под машину».

Письмо от родственников пришло из Англии. Они просили меня покинуть ставшую опасной Швейцарию и перебраться к ним.

> «Если ты останешься там до вторжения Гитлера, можешь быть уверена, тебе не уцелеть. Если тебя задерживают дела твоего мужа, которого мы не знаем, то хотя бы пришли детей. Но если он понимает создавшуюся ситуацию, он позаботится о том, чтобы ты тоже приехала».

Я ожидала от Мееле новой вспышки, но ее не последовало. И без слов было ясно, что она окончательно укрепилась в своем подозрении. Ее тяжелое молчание угнетало нас еще больше, чем прежние жалобы. И выглядела она все хуже и хуже. Я много раз предлагала ей показаться врачу, но она не соглашалась. И при этом она не переставала печься о нас, работала сверх сил, непрерывно что-то затевала, иногда совсем излишнее.

Вскоре после того, как было получено письмо из Англии, Мееле — это было в среду — поехала к парикмахеру. У нас наверху давно уже не было парикмахерской.

— Устрой себе приятный денек, Мееле, — сказала я. — Сходи в кино, навести Лилиан.

Опять глаза ее налились слезами.

— Мы проводим тебя на поезд.

Она покачала головой.

— Или подожди до послезавтра, мне тоже надо будет в город.

Она отказалась.

Вечером она вернулась усталая и бледная.

Когда в пятницу я собралась ехать в город, она предупредила меня:

— Лилиан нет дома, ей пришлось уехать на несколько дней из-за своих бумаг, мне хозяйка сказала.

— А у меня не будет времени заходить к ней, — отвечала я. И это было правдой.

Когда поезд остановился, на перроне стояла Лилиан.

— Какое счастье, что ты здесь. Я каждый день сюда хожу…

случилось что-то ужасное, нет, только не ко мне, пойдем в парк.

Она нашла уединенную дорожку, осмотрелась по сторонам и тихим голосом начала рассказывать:

Два дня назад к ней пришла Мееле, до крайности взволнованная и в полном замешательстве. Лилиан дала ей валериановых капель и умолила ее прилечь. Мееле согласилась. Она непрерывно твердила: «Ты должна мне помочь, ты должна пойти со мной, ты же знаешь, я не могу жить без Тины. Пожалуйста, пойдем со мной, прямо сейчас».

По-видимому, Лилиан вела себя достаточно решительно, и Мееле пришлось объяснить все подробно:

Она уже давно знает, что мы хотим уехать из Швейцарии, сколько бы мы ни притворялись, что это не так. Мы низкие люди, мы врем ей и хотим бросить ее на произвол судьбы. Но Тину она не отдаст, если речь зайдет о ребенке, у нее есть свое средство.

Мееле побывала в английском консульстве и сообщила там, что мы — коммунисты и что ночью мы тайком проводим сеансы радиосвязи.

«Я сказала в консульстве, чтобы их не пускали в Англию, что они обязаны остаться здесь».

Лилиан была вне себя.

«Бога ради, что ты натворила? Их же могут в любую минуту арестовать».

«Тогда ребенок будет со мной».

Лилиан от ужаса не могла вымолвить слова. Но Мееле начала плакать и, всхлипывая, продолжала рассказывать:

Плохо то, что в консульстве ее неправильно поняли, не оказали ей доверия, и теперь у нее к Лилиан огромная просьба, пусть она пойдет с ней вместе в консульство и там еще раз спокойно все объяснит.

Для Лилиан забрезжил какой-то проблеск надежды. Она заклинала Мееле не ходить туда больше.

«Когда твой разум прояснится, у тебя уже не будет радости в жизни, ты всегда будешь страдать под тяжестью той вины, которую на себя взвалила. Неужто тебе не понятно, какое предательство ты совершаешь? Ни один порядочный человек не простит тебе, если ты ввергнешь эту семью в такую беду. Я рассматриваю твое теперешнее состояние как болезнь и хочу тебе помочь. Конечно, я не подозревала, что они коммунисты, но теперь скажу тебе честно, я могу ими только восхищаться». Вот так я говорила с Мееле.

Рассказав мне все это на скамейке в парке, Лилиан вдруг обняла меня.

— Да, я восхищаюсь вами, это прекрасно, что такие люди есть

на свете!

Немного помолчав, она стала рассказывать дальше. Прежде всего она спросила Мееле, не говорила ли та о нас еще с кем-нибудь.

В консульстве в это время ходило столько всевозможных слухов, поступало столько доносов, что путаным словам Мееле, видимо, не придали особого значения. И тем не менее все это наверняка зафиксировали письменно. После этого Мееле отправилась к своему парикмахеру. Озлобленная неудачей, она теперь рассказала всю нашу историю ему и спросила у него совета, в какое швейцарское учреждение ей следует обратиться. Парикмахер не пожелал ввязываться во все это. Впрочем, он был ярым противником Гитлера.

«Мне надо найти другого парикмахера, этот нарочно делал мне больно», — закончила Мееле свой рассказ Лилиан, к которой она пришла из парикмахерской.

Лилиан еще долго пыталась повлиять на Мееле. В конце концов ей удалось заручиться обещанием Мееле ни с кем больше не говорить об этом. А Лилиан в свою очередь пообещала ей, что нам обо всей этой истории ни словечка не скажет.

Слушая Лилиан, я уже обдумывала следующий шаг. Все, что мы создавали с таким трудом, нелегально, грозило вот-вот рухнуть. Нам надо было действовать немедленно.

Даже если Мееле теперь уже молчит, не слишком ли это поздно? Парикмахер мог в целях самозащиты счесть за благо проинформировать полицию или мог рассказать друзьям эту историю, которая наверняка его занимает, и вот уже она получает распространение. В консульстве могут проверить поступившие сведения.

Кто подвергался опасности, кроме меня и Сида? Что касается Пауля, то Мееле не знала ни его настоящего имени, ни адреса, я сама встречалась с ним в отдаленных городах. Имя другого моего сотрудника было ей известно, и его я должна немедленно разыскать, а потом предупредить уже и Пауля. Обратится ли Мееле к швейцарским властям или теперь она уже способна вступить в контакт с немецкими фашистами?

Надо забрать документы с сеновала, срочно унести из дому передатчик, расстаться с Мееле, отправить в безопасное место детей, сменить квартиру. Но как расстаться с Мееле? Она не согласится, и в таком случае куда она может пойти?

Лилиан дотронулась до моей руки.

— Не могу ли я чем-нибудь помочь? Мееле я уже сказала, чтобы она как можно чаще заходила ко мне. Обещаю тебе, я сделаю все, чтобы не упустить ее из виду.

Только тут я подумала о том, как замечательно ведет себя эта женщина, которая частенько казалась нам чрезмерно пугливой. Еще каких-нибудь два дня назад она дрожала, как бы не случилось какой беды перед ее отъездом, а теперь она, вместо того чтобы уклониться от возможных осложнений, берет на себя риск помогать коммунистам-подпольщикам.

Я хотела ее поблагодарить. Но прежде чем я нашла подходящие слова, меня охватил ужас. Я ведь уехала из дому ранним утром. Что помешает Мееле в мое отсутствие вместе с Тиной покинуть страну, уехать в Германию? Сид, который не знает, что здесь разыгралось, мог, как он это любит, уйти в горы. Проверяют ли детей на границе? Достаточно ли для проезда метрики? Обратный поезд будет только через много часов. За это время Мееле может попросить хозяина на телеге довезти ее до соседней станции. Оттуда в долину, к центральной железнодорожной станции, ходят машины.

Мне надо немедленно возвращаться.

Такси довезло меня только до половины подъема, дальше я пошла пешком. Я много лазила по горам и была хорошо тренирована, но тут я думала только о следующей сотне метров, как преодолеть ее с наименьшей потерей времени. Чтобы сократить дорогу, я карабкалась по самым крутым откосам, бежала через крестьянские дворы, шла вдоль высохшего русла реки и понимала, что все это бесполезно. Если Мееле решила уехать с Тиной, она сделала это с самого утра. Сократи я дорогу к «Дому на холме» даже на целый час, все равно ничто уже не поможет. И тем не менее я мчалась вперед.

До немецкой границы много часов езды. Я часто бывала в том направлении и знала расписание поездов. Но не знала, когда идут поезда в Германию. Телефоном на нашей станции можно было пользоваться только при отправлении и прибытии поезда. Лавочник в деревне собирался сдать свой телефон, но, может быть, еще не успел! Если Мееле скроется с Тиной, я заявлю в полицию. Может, их задержат до перехода границы. Я, я буду что-то сообщать полиции?!

Что тогда произойдет, ясно как божий день. Мееле расколется. Итак, в полицию обращаться нельзя, так что же, допустить, чтобы Мееле отняла у меня ребенка? Никогда и ни за что!

Что значит никогда и ни за что?

Имею ли я право по личным причинам обратиться за помощью к полиции, если знаю, что этот шаг подвигнет Мееле все рассказать о нас, и на этот раз там, где нужно? Выходит, я сама предоставлю ей такую возможность.

Но Мееле нас уже выдала, вполне вероятно, что ее болтовня так или иначе стала известна полиции, а значит, я имею право принять любые меры, чтобы не дать увезти свою дочь в нацистское государство и тем самым лишить меня ее, может быть, навсегда. А мыслимо ли для меня самой обратиться в полицию, чтобы спасти для себя Тину? Ясно одно: если полиция узнает от Мееле о нас, вся работа, пусть даже меня не арестуют, пойдет насмарку. А вот этого-то нельзя допустить ни в коем случае.

Очень многое можно предусмотреть в подполье, но как часто возникают ситуации, которых никто не мог бы предвидеть. Вот теперь-то и выяснится, поступаешь ты как коммунист или…

Думая обо всем этом, я взбиралась на гору. Для меня не существовало ни прелестных долин, ни величественных гор, было одно только физическое напряжение, жуткий страх за ребенка и мучительные поиски правильного решения.

Станция… закрытые гостиницы… дорога через лес… Когда мне оставалось пересечь последний луг, я увидела, что Франк и Тина играют возле дома. У меня подогнулись колени, я легла в траву и, глядя в небо, лежала, покуда совсем не отдышалась.

Сид и дети бросились ко мне. Мееле была наверху, в своей комнате, в последние недели она часто уединялась. Я рассказала Сиду обо всех событиях и была рада, что не должна нести этот груз в одиночку.

— Ее надо было бы убить, прежде чем она выдаст полиции тебя и всех остальных и похитит Тину, — сказал он.

Вот так в солнечный осенний день мы сидели на деревянной скамейке возле дома; в лугах еще было полно цветов, дети играли в мяч, пожалуй, несколько осторожнее, чем обычно играют дети, потому что лес на склонах гор поглотил уже не один мяч. Тина вопила от удовольствия, а Франк посмеивался над нею. И как раз посреди их игры Сид и произнес эту фразу.

Во время гражданской войны в Испании он нередко встречался лицом к лицу со смертью. Моя прошлая жизнь тоже не раз сталкивала меня со смертью.

Такой опыт не ожесточает человека, скорее, учит его ценить жизнь, и не только свою собственную. Мы не были ни террористами, ни преступниками, ни бесчувственными, ни жестокими, когда Сид произносил свои слова, а я их обдумывала.

— Она слишком со многими уже говорила об этом, — ответила я ему, — и вообще, старая, больная женщина…

— Сегодня здесь тоже было не все в порядке, — сказал Сид, — так, мелочи, — прибавил он, увидев мое лицо.

Мне не хотелось больше в этот день слушать ничего плохого,

но в связи со всем происшедшим это было неизбежно.

Сид рассказал.

Франк должен был пойти в лавку. Но увлекся рисованием и забыл.

Мееле спросила его:

«Как ты мог забыть?»

Он ответил:

«Ну, забыл, и все».

Тогда она схватила его рисунок и разорвала. Он посмотрел на нее и проговорил только одно слово:

«Ведьма!»

А она его прибила.

— Сильно?

— Несколько хороших оплеух.

— А он?

— Он? Ничего. Только, все время смотрел на нее. Не нагло, а так… ну, ты же его знаешь.

— А она?

— Еще больше разъярилась и хотела опять на него кинуться. Но тут я вмешался и сказал: «Франк, извинись перед Мееле». И постарался побольше выразить взглядом. Он сразу же сказал: «Извини», а она выбежала из комнаты.

— Ты правильно поступил, Сид. А Мееле при любых обстоятельствах необходимо удалить из дома.

Я теперь знала, как, не возбудив подозрений, довести до ее сведения, что я слышала о ее предательстве.

Она спустилась вниз и спросила, хочу я чаю или кофе и не слишком ли плотный ужин она приготовила.

— Мне надо поговорить с тобой, — сказала я.

Она испугалась. Мы пошли к ней в комнату.

— Что тут сегодня стряслось?

Она, казалось, вздохнула с облегчением и принялась излагать мне свою версию.

Я была настроена очень решительно, меня душила ярость, я говорила громко и быстро, мне было все равно, услышат меня дети или нет.

Мееле это было не все равно, она закрыла окошко.

— Это конец, с тобой ни один человек уже не может жить. Вечные рыдания, галлюцинации, ты всех нас сводишь с ума. А теперь еще и колотишь мальчика. Это последняя капля. Завтра я отправлю тебя в больницу, пусть тебе там подлечат нервы.

Она отчаянно сопротивлялась, но я не дала ей опомниться.

— Нет, ты поедешь, в конце концов я отвечаю за твое здоровье.

Мееле противилась всеми силами. Начала плакать и умолять.

— Тогда хотя бы поезжай в отпуск, отдохни где-нибудь, я найду тебе хорошее место, и недели через две ты вернешься.

— Нет, нет, нет, — сказала она, — я не дам себя выставить отсюда.

— Вероятно, в больнице будет лучше.

— Туда — ни за что.

Она предложила мне, что поживет несколько недель у фрау Фюсли, там она отдохнет.

Я задумалась. Но и это уже было достижением. Я в тог же день переговорила с фрау Фюсли.

Ночью мы с Сидом спрятали передатчик, хотя Мееле еще была в доме. Мы уже давно, заранее, вырыли яму в глухом лесу. Это было не так-то просто среди кустов и переплетения корней. Мы упаковали рацию в водонепроницаемый ящик и, когда Мееле ушла спать, крадучись вышли из дому. Мы шли сквозь темноту, стараясь двигаться как можно бесшумнее, чтобы не привлечь внимание солдат в бараках. Подняв пласт дерна и доску, подложенную под него, мы опустили передатчик в яму.

Когда через двадцать минут мы выбрались из чащобы, она казалась нетронутой. Мы пробирались через кусты, сдвигая ветки в их первоначальное положение, долго вслушивались в темноту, прежде чем перейти наш луг, и, наконец, мокрые, грязные и усталые, ввалились в дом.

Была ночь, а я лежала без сна.

Мееле, что ты с нами сделала?! В чем я ошиблась, как могло такое случиться? Разве могла я не доверять тебе? Как ты сама переживешь свой поступок, как будешь жить дальше? Как же ты в одночасье уничтожила все, что на протяжении долгой жизни было с тобой, — любовь нашей семьи? Ты могла бы всегда жить с нами и радоваться еще нашим внукам. Ни я, ни сестры, ни брат никогда не бросили бы тебя в беде. Тебе была уготована хорошая старость.

В чем моя вина? Или я обязана была все предвидеть? Твои ссоры с нашей матерью, твои настроения, когда мы были еще детьми… А как ты вела себя, узнав, что Тина будет уходить из дому на два-три часа? Твоя самоотверженная любовь, твоя лояльность, а когда требовалось, и твое мужество — во время обысков в Берлине, и потом, когда ты отвозила деньги в Германию…

Мееле не могла бесконечно жить в Швейцарии. Неужто в Германии она выдала бы нас нацистам? При таких обстоятельствах наши товарищи не захотят, чтобы мы долго здесь оставались, и тогда Мееле добилась бы как раз того, чего она

больше всего боялась, — мы вынуждены были бы покинуть Швейцарию.

Трудно было всесторонне осознать трагичность ее поступка.

Через два дня, уходя к фрау Фюсли, она обернулась в дверях:

— Я вас не упущу из виду, можете быть уверены.

Теперь с раннего утра маленькая фигурка усаживалась на скамейке, у которой даже спинки не было, между солдатскими бараками и нашим домом. Стоило кому-то из нас выйти за дверь, Мееле поднимала бинокль. Откуда он у нее взялся? Если я шла в деревню или на станцию, она направляла его на меня, покуда я не скрывалась из виду.

Может быть, она набрела на идею — ее странное поведение бросалось в глаза — сообщить о нас солдатам?

Мы действовали с максимальной быстротой. Я разыскивала для Франка и Тины пристанище в какой-нибудь отдаленной местности и нашла детский пансион, который мне понравился. Директор и его жена оказались прогрессивно настроенными молодыми людьми. Я заплатила им вперед, надеясь, что они позаботятся о детях, даже если нас арестуют.

Мы с Сидом никогда не уезжали вместе, не хотели оставлять Тину без присмотра. Мееле один раз встретила Франка и спросила его о нас.

Много времени отняли поиски квартиры. В соседнем кантоне посреди большого города я нашла две комнаты, которые мне не нравились, но были удобны для работы. Да и как могли мне понравиться комнаты с холодными оштукатуренными стенами, после того как я жила в дышащем теплом, деревянном «Доме на холме»?

В тот вечер, когда я вернулась, меня поджидала фрау Фюсли.

По ее виду я сразу поняла: что-то случилось.

Мееле все ей о нас рассказала и намекнула, что хочет обратиться в швейцарскую полицию.

— Я в политике не разбираюсь, — сказала фрау Фюсли, — но знаю: война и Гитлер — это несчастье. И еще одно я знаю: вы человек, который ничего плохого сделать не может. Поэтому-то я сразу и пришла сюда. Мне бы очень не хотелось, чтобы фрау Мееле оставалась у нас. Меня возмущает то, что она сделала, и то, что еще хочет сделать.

Я просила фрау Фюсли немного подождать и объяснила ей, как прежде объясняла Лилиан, что мы — антифашисты и считаем правильным работать против Гитлера. А многое из того, что говорила Мееле, — всего лишь плод ее фантазии.

— Она все время твердит о Тине. Купила себе железнодорожный справочник и говорит, что собирается в

немецкое консульство. По-моему, все это ужасно, вы только не спускайте глаз с Тины, — сказала фрау Фюсли.

Сначала Сид унес чемоданы детей. Холодные осенние туманы были нам на руку. Потом я с Франком и Тиной, по-прежнему в тумане, пошла на станцию, а Сид вернулся. Мы предпочитали не оставлять дом.

Как тяжело было у меня на сердце, когда в дороге я должна была сказать Франку, что мы едем в пансион, где он останется вдвоем с Тиной. Пора ему опять учиться в нормальной школе.

Больше всего мальчика оскорбило то, что он только теперь об этом узнаёт.

— А ты надолго нас отсылаешь? На субботу и воскресенье мы сможем приезжать домой?

— Франк, мы хотим устроить жизнь по-другому. «Дом на холме» слишком велик и слишком дорог, мы снимем маленькую квартирку недалеко от школы, может быть, в городе, и тогда вы вернетесь.

— Уехали из «Дома на холме», а я ничего не знал! — Он тер кулаками глаза.

— Мееле больше не будет жить с нами, — тихо проговорила я.

— А Сид?

— А Сид будет.

— А если бы я не сказал ей «ведьма»?

— Все было бы точно так же.

— Но Сид ведь может смотреть за нами, когда ты уезжаешь, у него это хорошо получается. Нельзя сразу так сделать, вместо этого пансиона?

Я с грустью взглянула на него.

Тине я тоже пыталась объяснить, что произошло. Она поняла это, только когда я простилась с ней в незнакомом месте, среди чужих людей.

— Не уезжай, — рыдала она, — мамочка, милая, хорошая, останься со мной. — Она вырвалась от Франка и крепко вцепилась в меня. Она горько плакала и никому не удавалось разжать ее ручонки. Франк подошел к нам и стал гладить ее по щеке, а у самого в глазах стояли слезы.

— Тиночка, я ведь тоже тут остаюсь, а мама, ты же ее знаешь, она скоро вернется.

Тут уж я не выдержала с силой разжала пальцы Тины, за руку простилась с воспитательницей и постаралась уйти как можно быстрее.

«…а мама, ты же ее знаешь, она скоро вернется». А если она не вернется? Как дети переживут такой удар? И все это даже не

из-за работы, работа придала бы храбрости, а из-за сумасшедшей старухи. Из-за нее пришлось бросить дом, оставить детей, прервать революционную работу и, может быть, еще угодить в тюрьму.

В поезде на обратном пути я немного успокоилась; облегчение, усталость, тишина, которой я давно не ощущала, переполняли меня. Отступил постоянно нависавший кошмар, что Мееле похитит Тину и увезет в Германию.

Когда фрау Фюсли пришла доить коров, я объяснила ей, что мы вынуждены выехать из дома, и просила ее никому об этом не говорить. Она поняла и только сказала:

— Мне будет очень одиноко.

Такие прощания и мне давались тяжело, тем более что я лучше всех знала, что прощаюсь навсегда. Трудно было мне и окончательно проститься с домом, и с окружающей природой, которую я знала и любила в любое время года.

Ночью мы выкопали рацию, в последний раз я работала здесь, наверху. Через несколько дней я выйду в эфир уже на новом месте. Мы решили продолжать работу без долгого перерыва. Шла война, и мы обязаны были пойти на риск, несмотря на возможные последствия предательства Мееле. Ведь и то уже было равносильно чуду, что при столь частых выходах в эфир наш передатчик еще не был запеленгован! С этой точки зрения перемена места была нам даже удобна.

Сид поехал вперед. Я осталась еще на одну ночь, чтобы на следующий день, когда дом будет пуст, поговорить с Мееле.

Она явилась сама. Уже рано утром стояла у двери.

— Где дети, где моя Тина?

До сих пор мы и виду не подавали, что знаем о ее намерениях.

— Дети в надежном месте, — сказала я.

Мееле, не понимая, смотрела на меня.

— Что это значит?

Я ответила медленно и членораздельно:

— Они там, где ты не сможешь добраться до Тины, даже если со мной что-то случится. Мы уезжаем из этого дома. А теперь иди, делай, что ты хотела, ты знаешь, за себя я не боюсь.

У Мееле подкосились ноги.

Придя в себя, она долго плакала, потом стала твердить как малый ребенок:

— Я же ничего не хотела делать, я ничего не хотела делать.

— Что теперь будет с тобою, Мееле?

— Мне все равно.

— Сколько у тебя денег? Я могу дать тебе на полгода жизни.

— У тебя нет таких денег.

— Есть, я продала брошку.

— Которую твой отец подарил ей, когда ты родилась? Как ты могла, это же был наш неприкосновенный запас. Я ни за что не возьму этих денег.

Мееле отнекивалась, пока я окончательно не разозлилась.

— А можно, можно мне проводить тебя? — спросила она, снова начиная всхлипывать.

— Не имеет смысла, только взвалишь на себя лишнюю тяжесть.

— Исполни мою последнюю просьбу.

Мы вместе пошли на станцию. Мееле тихонько плакала. Она не осмелилась спросить, какой наш новый адрес и насовсем ли мы уезжаем, она знала: мы прощаемся навсегда.

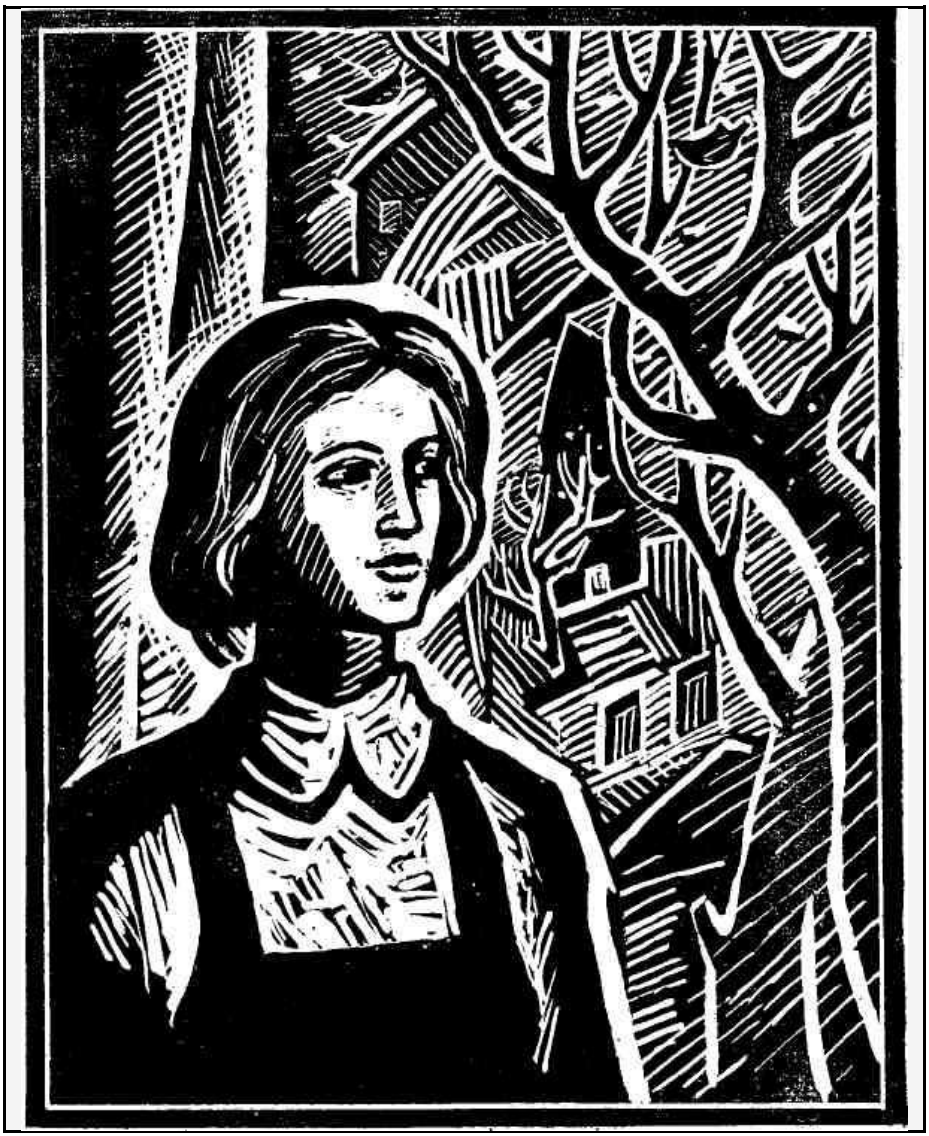
В последнюю минуту перед отходом поезда Мееле сунула мне кулечек с печеньем, которое она испекла.

— Ты всегда его любила… передай привет Франку, обними мою Тиночку… и что я еще хотела спросить… у нее боли в желудке прошли? А лучше ты своди ее к врачу, а то может… может…

Поезд тронулся, она бежала рядом с вагоном, громко плача, шевелила губами, но разобрать уже ничего было нельзя.

Перевод Е. Вильмонт.

В БОЛЬНИЦЕ
Повесть



IN DER KLINIK
Berlin, 1969.

Редактор *А. Гугнин*

Она стоит под дождем, идущим уже вперемежку со снегом, у бокового входа в большое красное здание.

«Посторонним вход воспрещен!»

Она не посторонняя, но очень много дала бы, чтобы быть здесь посторонней.

Марианна медлит, ей хочется взять с собой что-нибудь отсюда, с улицы. Куст у бокового входа по-ноябрьски гол. В луже лежит розовый камешек. Она нагибается за ним, рукой вытирает его шершавую поверхность и кладет в карман.

Она стоит в вестибюле, с опаской поглядывая на ведущие вверх ступени. Это ощущение ей хорошо знакомо.

Мне уже не придется больше бояться лестниц, если только я выйду отсюда.

Если!

Марианна медленно поднимается наверх и останавливается на первой лестничной площадке у окна. При виде скатывающихся по стеклу дождевых капелек ее с новой силой охватывает боль разлуки с ребенком.

С близкими она простилась дома, не желая, чтобы родители провожали ее на вокзал. Мать тут же занялась генеральной уборкой. Прикрыв косынкой седые волосы, она стояла, опираясь на щетку, перед свернутым в трубку ковром и только сказала:

«Удачи тебе, и возвращайся к рождеству».

Отец гладил Марианне щеки и никак не мог расстаться с ней. Она же больше походила на мать: когда душевные переживания доставляли совсем уж нестерпимую боль, ее последним прибежищем была внешняя занятость, повседневные заботы. Потому она почти холодно простилась со своей маленькой дочуркой. Она намеревалась не оборачиваясь сесть в машину, которая должна была доставить ее на вокзал, но это ей не удалось. Ведь в эту минуту они, наверное, подошли к окну и смотрели ей вслед.

На подоконнике стояла на коленях малютка, и Марианне казалось, что стекающие по стеклу капли бегут по щекам ребенка. Однако большие светлые глаза девочки были широко раскрыты, и она кивала матери, не двигая при этом поднятой вверх ручонкой, шевелились только пальчики, открывая и закрывая крохотную ладонь.

Марианна гонит от себя эти мысли, с трудом поднимаясь по больничной лестнице. У нее влажный лоб, она останавливается, ищет носовой платок, обнаруживает использованный железнодорожный билет и улыбается…

Когда Марианна уезжала, на перроне вокзала скопилось

множество людей. Сначала через узкий проход выпускали пассажиров прибывшего поезда. Марианна стояла в толпе ожидающих. Брата она увидела только тогда, когда он взял ее за руку.

«Все еще растешь», — сказала она.

«Метр девяносто… Освободился, хотел повидать родителей. Можно будет тебя проведать?»

Она покачала головой.

«Туда нельзя никому, Дитер. Хорошо, что ты пришел, мать и отец…» — она оборвала на полуслове.

Он оставался до отхода поезда, рассказывал о том, как он изучает физику в Берлине, хвалил одного профессора, ругал другого, поцеловал ее на прощание и сказал:

«Ни пуха тебе, ни пера, дорогая!»

Поезд был переполнен. Солдаты, получившие увольнение на выходные дни, стояли в проходах, оживленно переговаривались и потягивали пиво из бутылок. Молодой человек в клетчатой куртке, которому она предъявила свое удостоверение инвалида, освободил ей место и озадаченно на нее смотрел: девушка с прекрасным цветом лица, карие лучистые глаза, хорошо сложена, без обручального кольца. Он продолжал внимательно ее разглядывать.

Нет, протеза вместо ноги у меня тоже нет, хотелось ей крикнуть ему, но у нее начался длительный приступ кашля.

И вам не надо отодвигаться в сторону, сударь, я не легочная больная. Ведь мы с вами живем в 1965 году, и туберкулез встречается редко, нет у меня и гриппа, и вообще никакого простудного заболевания. Мой кашель идет от сердца, так что успокойтесь, больное сердце никого заразить не может. Я еду в больницу на операцию, и, если на обратном пути мы встретимся, я уже не буду кашлять, очень просто, кашлять уже не буду. Но что это значит для меня, вы в своей клетчатой куртке, конечно, не представляете.

Теперь путь этот уже позади, преодолена и последняя ступенька. Марианна очень устала. Медсестра отводит новую больную в палату № 2. Единственная свободная кровать стоит у окна, и Марианна этому рада.

Робко смотрит она на четырех больных, которые, очевидно, уже познакомились, и раздевается. Сестра Гертруда забирает с белого стула вещи, записывает все в квитанцию, которую Марианна должна подписать, и уносит одежду, закрыв за собой дверь. С этой минуты рвется нить, связывающая Марианну с внешним миром. Спокойно, с чувством облегчения лежит она на кровати. Теперь она уже больше не больная среди здоровых,

пытающаяся не отставать от других. Здесь больны все. В этом доме и здоровые знают, как она себя чувствует и что должно с ней произойти. Здесь никто не смотрит на нее с заботливой любовью или, напротив, отчужденно, когда она кашляет, никто не старается сделать вид, будто не замечает ее учащенного дыхания. Здесь на все смотрят реалистически. То, что должно произойти, находится в руках людей, которым она доверяет. Ей самой остается лишь быть мужественной, разумной и думать о том, как все это пережить. А жить она хочет так страстно, что будущую операцию готова встретить с улыбкой.

Тогда она еще преподавала в школе. Растерялась, услышав от врача слово «пенсия». Инвалид в двадцать четыре года! Достаточно грустной была новость, что у нее порок сердца, излечить который не могут никакие лекарства.

Как же ей быть теперь? Отказаться от радости вглядываться в детские лица, объяснять своим малышам чудо, с помощью которого из «з-а» и «я-ц» вдруг рождается самый настоящий заяц на четырех ногах с мягким мехом и белым обрубком хвостика?

«Заяц у изгороди». Это было предложение, почти что целая история. Вместе с зайцем дети резвились в капустных огородах городского предместья, сидя в теплом классе, они вдыхали свежий морозный воздух, который был там, снаружи, а что самое замечательное — они читали эту историю собственными глазами, и было им семь лет от роду. Были ученики, которые вначале не справлялись. Марианна ежедневно придумывала что-то новое, чтобы и у них пробудить вкус к чтению. Она не теряла терпения, встречая беспомощность, досаду, гнев или слезы, пока вдруг, как гром среди ясного неба, и для этого ребенка отдельные буквы не превращались в слова. Марианне никогда не удавалось дознаться, почему это произошло именно в данный момент. Она давала ребенку возможность насладиться открывшимся перед ним миром. Даже если уже начался урок арифметики, пальчик мог скользить по строчкам детской хрестоматии: «Лео у автомобиля… Бабушка в доме».

Марианна, возможно, потому так сильно любила жизнь, что и для нее слов «заяц у изгороди» было довольно, чтобы ощутить его мягкий мех, услышать биение его сердца и увидеть синевато-красную капусту на белом снегу.

Позывы к кашлю начались задолго до ее визита к врачу. Она сосала леденцы, чтобы их преодолеть. Постепенно ей уже стало трудно стоять и расхаживать между партами, что с малышами было необходимо. Потом добавились колющая боль и ощущение тяжести в груди. Но уходить с работы она все еще не хотела. И

лишь когда заметила, что не в состоянии улыбнуться детям, поняла: время пришло.

Тогда она впервые легла на обследование в больницу, в терапевтическое отделение. Там она пробыла две недели. Сестры, не знавшие, как часто она была близка к полному отчаянию, считали ее скромной, приятной больной.

Чтобы испытать ее силы, ее посадили на неподвижно прикрепленный к полу велосипед. Она нажимала на педали и наблюдала за указателем скорости. С каждой минутой увеличивали нагрузку, ей казалось, она поднимается в гору. Она дышала в трубку, соединенную с кислородным баллоном. Электронное устройство приводило в движение карандаш, вычерчивавший на бумаге кривую ее дыхания. Езда на велосипеде должна была продолжаться семь минут.

Пока она, задыхаясь, старалась выполнить упражнение, а сестра терпеливо уговаривала ее не волноваться, она думала: точно так же происходит и в моей жизни, я мучаюсь, выкладываюсь из последних сил и все-таки не двигаюсь вперед. Я топчусь на одном месте, все медленнее, все слабее, а потом и вовсе останавливаюсь. Как все это бессмысленно.

Потом она подумала о Карле, и тут силы сразу ее оставили. Прошло всего четыре минуты.

Через несколько дней во время другого обследования ею без всякой причины овладел панический страх. Она лежала под очень сильным источником света. Когда врач после анестезии кожи у локтевого сгиба сделал маленький разрез, открывший вену, она не ощутила боли, и вообще все это обследование было безболезненным и безопасным. И все-таки ее пугала мысль о том, что должно последовать дальше.

В открытую вену врач ввел длинную упругую трубку из синтетического материала и медленно проталкивал ее вперед. Марианна чувствовала, как она ползла вверх через плечо и остановилась. Какое-то препятствие. Трубку оттянули немного назад, потом вновь протолкнули вперед — все дальше…

Что произойдет, если врач, дойдя до сердца, слишком сильно его ударит? Не остановится ли оно тогда, как маятник, когда его коснутся?

Марианна открыла глаза и попыталась успокоиться: обычная работа, они выполняют ее двадцать раз в неделю, тысячу раз на протяжении года. Большой рентгеновский аппарат, темным чудовищем нависший над ее телом, надежно укреплен и не сможет внезапно на нее обрушиться.

В комнате стемнело. Вероятно, врач через катетер уже ввел в область сердца контрастное вещество, чтобы можно было

наилучшим образом все рассмотреть. Ей очень хотелось узнать, как выглядит ее сердце на экране этого большого аппарата. Пока она делала один вдох, врачи и сестры сделали много снимков с экрана рентгеновского аппарата. За одну секунду они могли сделать двадцать четыре снимка ее сердца. Как долго должны были люди ломать себе голову, пока этого добились. А она лежала здесь, и ее терзал беспричинный страх. Теперь врачи смогут определить, какое количество крови еще пропускал ее слишком узкий сердечный клапан. Будет ли ей больно, если они возьмут у нее через трубку несколько капель крови, чтобы установить, сколько в ней кислорода?

«И он взял три капли крови из ее сердца…» — из какой это сказки?

Дети охотно слушали сказки, и Карл тоже. Вначале он хотел, чтобы она каждый вечер рассказывала ему сказку. «Но принц должен найти принцессу, дорогая», — требовал он.

Мудрые сочинители сказок заканчивают свой рассказ тем, что принц женится на принцессе, потому что знают: принцу легче освободить пленницу из пещеры великана, а принцессе спастись темной ночью бегством на храпящем коне, нежели устоять в борьбе с тяготами будней.

После катетеризации сердца Марианну вернули в палату. Больных, которым такое обследование еще предстояло, она заверила, что у них нет никаких оснований для беспокойства. Когда высокого роста врач, выглядевший как студент, сказал то же самое, она с возмущением подумала: ему легко говорить, он при этом только присутствовал. Ее раздражало его цветущее здоровье, рыжеватые волосы. Позднее, все продумав, она поняла, что он прав, и удивилась собственной нелогичности.

Доктор Штайгер чувствовал, что больные не поверили его словам. Молодой врач, он радовался, передавая свои знания другим. Убежденный в том, что знание освобождает от страха, он начал обстоятельно, рассказывать, какую важную роль играет катетеризация при диагностике болезней сердца.

Марианна лежала с закрытыми глазами. Пока доктор рассказывал, она представляла, как заяц прыгает через изгородь и мчится по снегу на капустное поле.

Сестра принесла в пустой еще зал пленки с данными катетеризации сердца. Затем собрались специалисты по болезням сердца: профессор детской больницы в сопровождении своих врачей, заведующий терапевтическим отделением и самая главная фигура — директор отделения сердечной хирургии профессор Людвиг с ассистентами. Марианна видела все так ясно, словно сама принимала участие в происходившем. Профессора

Людвига она представляла себе самым старшим по возрасту, с седыми волосами и в темных очках.

Врачи расселись, палатный врач раскрыл папку и зачитал:

> «Марианна Мартене, двадцать четыре года, первые признаки митрального стеноза появились четыре года назад, причина: скарлатина на третьем году жизни с последующим ревматическим заболеванием. Больная заявляет, что в состоянии преодолеть пятнадцать ступенек».

После того как врач закончил свое сообщение, на освещенном экране началась демонстрация кадров пленки с изображением сердца в натуральную величину. Катетер толстой светлой полосой тянулся вплоть до внутренней части сердца.

«Стоп! — воскликнул профессор Людвиг. — Покажите этот кадр еще раз».

Он не знал Марианны, ее фамилии, никогда ее не видел. Он видел лишь ее больное сердце и все свои знания, ум и опыт — вместе с десятью другими врачами, находившимися в этой комнате, — стремился использовать для его исцеления. Все усвоенное за годы учебы, бесконечные вечера, проведенные за чтением книг, исписанные страницы с конспектами прочитанного и сделанные впоследствии операции — все было сейчас направлено на то, чтобы исцелить сердце больной.

В помещении царила тишина, было слышно даже шуршание сматываемой с большой катушки целлулоидной пленки. В эту секунду профессор решал вопрос о жизни и смерти. Для большинства больных его решение оперировать означало спасение, а произносимое во всеуслышание слово «неоперабельно» — смертный приговор. Изредка попадались и счастливцы, которым можно было помочь, не прибегая к операции.

Каково было на душе у хирурга, когда он отказывался от операции? Являлось его решение результатом внутренней борьбы или он видел перед собой лишь безымянное изображение и, принимая решение, не давал воли эмоциям? Не мог же он приходить в отчаяние каждый раз, когда он отказывался оперировать, — такого напряжения не вынес бы никто. Ведь Марианна тоже не испытывала особых огорчений, прочитав в газете сообщение о смерти незнакомого ей человека.

Рядом с ней на больничной койке лежала Паула. Ее должны были оперировать еще девять лет назад. Тогда ей было девятнадцать, она только что вышла замуж. Однако ее муж, фрезеровщик, об операции и слышать не хотел. Сейчас, спустя

девять лет, Паула на ней настояла, согласился и муж, которому теперь пришлось нести ее на руках по ступенькам, ведущим в палату. И если ее признают неоперабельной, он, чья фотография стоит там, на ночном столике, будет виновен в смертном приговоре, вынесенном его жене.

Врач не мог ничего при этом чувствовать, он не знал Паулу, не видел ее забавных взъерошенных волос, не знал, что она обожает Жана Габена, платья зеленого цвета и шоколадное мороженое. Он никогда не слышал ее смеха.

Если состояние было безнадежным, решение наверняка принималось быстро. Ну а как относились врачи к судьбам тех, для кого равную опасность представляли и операция, и отказ от нее? Трогали ли их до глубины души такие случаи?..

Еще до катетеризации Марианну отправили на обследование в рентгеновский кабинет. По дороге туда она встретила маленького мальчика, такого же возраста, как ее первоклассники. На нем была красная шапочка с кисточкой, он улыбнулся ей, затем, словно она позвала его, пошел рядом, рассказывая о своем бумажном змее.

«Он поднимается очень высоко, совсем как птица, — сказал он, — туда, где небо уже не голубое».

«А как он там выглядит?» — спросила Марианна.

«Погоди, тетя», — сказал он и стал на колени.

«Ты что-то ищешь?»

«Нет, я просто не могу так много ходить, — и он посмотрел вверх, туда, где небо. — Там наверху он, наверное, имеет все цвета: зеленый, красный, желтый и лиловый».

Не о нем ли доложил сейчас врач детской больницы: «Больной, семи лет, каждый раз, пройдя пятьдесят метров, без сил опускается на землю», и не сказал ли именно тогда профессор «неоперабельно»? Не замирает ли в ужасе его сердце, когда он произносит это слово? И как он скажет об этом родителям?..

Марианна спокойно выслушала предложение доктора об операции, сделанное им по окончании обследования.

«Потом вы снова сможете вести нормальный образ жизни».

Для нее это было решающим. Казалось, нет на свете большего счастья: жить как все.

Больше не заниматься постоянно собственной персоной; пробуждаясь утром, не думать сразу же о том, насколько по сравнению со вчерашней усилилась одышка, и в состоянии ли я буду сделать то, что наметила.

Когда после обследования Марианна возвращалась к родителям, ею владела одна мысль: иметь возможность жить как

все.

Молодая женщина несла на руках своего маленького ребенка — это смогу делать и я. Мужчина догонял трамвай, девочка прыгала через веревочку, сильные мокрые руки развешивали на балконе белье. Никто из них не подозревал, каким счастьем были его будни, насколько захватывающей может быть для человека мысль, что наступит день, когда он вновь будет в состоянии сам все это проделывать.

Когда она пришла домой, то уже настолько свыклась с утешительной мыслью об операции, что сразу же, без подготовки, выложила все родителям.

«Но ведь врач сказал, что ты и без операции сможешь еще долго жить, — прошептала мать, — подумай о ребенке». Отец сказал:

«Мне шестьдесят восемь, и я нездоров, подожди с этим, пока я…»

Марианна не ожидала от него подобных высказываний. Обычно отец вел себя так, словно он вообще не допускал мысли о смерти.

«Моя операция не опасна, из ста больных у девяноста семи исход удачен, почему же оставшиеся мне, может быть, двадцать лет я должна прожить инвалидом? Впрочем, место в больнице освободится самое раннее только через девять месяцев».

Для отца отсрочка во времени, по-видимому, служила утешением, мать же думала, как Марианна: если это должно свершиться, то лучше поскорее.

Отец, слесарь по ремонту машин и уже два года пенсионер, но по-прежнему очень занятый человек, попросил дочь написать ему, как на языке медиков звучит эта болезнь — порок клапанов сердца.

«Что ты снова затеваешь?» — спросила она.

«Просто интересуюсь».

«Теперь еще и болезнями, — сказала мать. — Промышленность, сельское хозяйство, культура, чужие страны, почтовые марки, краеведение, а теперь еще и болезни и, значит, новая связка архивных материалов».

«Не исключено», — отец бросил на нее воинственный взгляд.

Квартира, в которой родители жили уже сорок лет, состояла, как и другие рабочие жилища в предместье Виттбурга, из двух комнат и кухни, туалет находился на пол-этажа ниже. Но если у всех жильцов в подвале хранился уголь да еще стояла отслужившая свой срок детская коляска, то у них громоздились кучи газетных вырезок. И не только там — они лежали под кроватями и между ножками шкафа, и количество их росло с

каждым днем.

Личная же его переписка находилась на полках кладовой, там, где другие хранят консервированные фрукты. В Виттбурге с его сорока тысячами жителей не было ни одного человека, который вел бы такую международную переписку, как Фриц Кесснер.

«Это объясняется его чисто детской верой, — сказал однажды Дитер, — детская вера двигает горы».

Когда отец вышел на пенсию, ему дали пятое по счету поручение, на сей раз в совете мира. В протоколе первого заседания, в котором он участвовал, было записано: организация выставки детских рисунков из всех стран, тема: мир, один из ответственных за организацию выставки: Кесснер.

Он посмотрел на тощий список зарубежных организаций, с которыми следовало «установить контакты», счел его неудовлетворительным, направился в ближайший большой город, приобрел газеты, представляющие партийную печать других стран, и с помощью учителя иностранных языков средней школы составил ответы на опубликованные в этих газетах письма читателей. Сказав кое-что каждому автору по поводу направленного им в редакцию письма, он сообщал затем коротко о себе, о том времени, когда, еще до 1933 года, он был членом заводского совета представителей рабочих и служащих, о пяти годах, проведенных в концентрационном лагере при Гитлере, а также о днях сегодняшних. Он описывал Виттбург с его древними башенками на городских воротах, разрушенный в годы войны инструментальный завод у реки, на котором теперь вновь занято восемьсот рабочих. И лишь потом упоминал о своей просьбе.

Фриц Кесснер получил сто тридцать детских рисунков из восьми стран. Двое других «ответственных» за организацию выставки получили двенадцать рисунков.

Когда Марианна настояла на операции, отец впервые использовал свою корреспонденцию в личных целях. Он запросил друзей в Англии, Франции и Швеции, какого мнения тамошние врачи об операции митрального стеноза третьей степени. Ответ из Англии был положительным, из Франции — сдержанным и ни к чему не обязывающим, из Швеции ему писал врач:

> «Операции на сердце и их последствия до конца еще не изучены, и, будь это моя дочь, я не дал бы ее оперировать».

Много дней он никому об этом не рассказывал. Потом поделился с Марианной. Она рассердилась.

«Шведский врач — терапевт и не специалист по сердечным

болезням, кроме того, терапевты в большинстве случаев против хирургического вмешательства. Меня обследовали десять специалистов, кое-что в этом дело понимающих, и все они пришли к единому мнению».

В этом небольшом городе весть о предстоящей операции быстро разнеслась среди многочисленных друзей и знакомых. Каждый, казалось, уже слышал о подобном случае, имевшем печальный исход, и доброжелатели советовали от операции отказаться.

Марианна была разочарована тем, что ее обычно столь разумные родители поддались этому влиянию.

«Чистейшей воды сплетни, — сказала она, — и что эти умники вообще понимают в таких делах!»

Она уже забыла, что еще сама недавно представляла себе человеческое сердце таким, каким оно изображается на обычном прянике. Она даже не знала, что сердце имеет две отделенные друг от друга половины. Правая половина сердца принимает из тела использованную кровь и перекачивает ее коротким путем через легкие в левую половину сердца. В легких кровь обогащается вдыхаемым из воздуха кислородом и затем, теперь уже красная и светлая, течет дальше, в левую половину сердца. Из левой части сердца кровь под большим давлением проделывает длинный путь по всему телу и снова течет, отработанная и вследствие недостатка кислорода голубоватая, в правую половину сердца и к легкому.

Возможно, поэтому говорили о голубой крови знатных фамилий, так как это была усталая, отработанная кровь, срочно требовавшая обновления.

Каждая половина сердца в свою очередь состоит из двух частей, меньшей — предсердия и большей — желудочка, доходящего до верхушки сердца. Предсердие и желудочек отделены друг от друга сердечным клапаном. В каждой половине сердца один клапан. Они открываются и закрываются, подобно двери под дуновением ветра, при каждом ударе сердца.

У Марианны отверстие клапана в левой части сердца вследствие ревматических воспалений было все в рубцах и настолько сузилось, что свежая светлая кровь не могла больше в должном количестве поступать в организм. Желудочек сердца, получавший слишком мало крови для перекачивания, в результате неполной нагрузки мышечной ткани уменьшился. Предсердие, тщетно пытавшееся всю получаемую кровь переправить через слишком узкое отверстие клапана, испытывало чрезмерное напряжение. Кровь застаивалась в легком, и ее

ненормальный приток наносил ущерб всем органам, получавшим недостаточную или слишком большую нагрузку.

При операции разрез делается сбоку между двумя ребрами, и после вскрытия полости сердца хирург прокладывает себе путь к левому желудочку сердца и нащупывает клапан. Всего лишь в течение четырех-пяти ударов сердца его палец, закрывший доступ притоку крови, может находиться на отверстии клапана. Хирург ощупывает клапан, как бы «видит его кончиками пальцев», и затем расширяет отверстие. После того как ему это удается, кровь впервые начинает в полном объеме течь своим нормальным путем. Несомненно, вначале левому желудочку тяжело перекачивать это непривычное для него количество крови, как каждой длительное время бездействующей мышце трудно сразу полностью справиться с предназначенным для нее объемом работы. Однако через несколько недель после операции эта перестройка обычно успешно завершается, и все приходит в норму.

Марианне удалось убедить родителей в необходимости операции, но ей не удалось освободить их от волнений и тревог. С нетерпением ожидала она известий из больницы и была рада, когда ее наконец вызвали туда на операцию.

После того как сестра Гертруда унесла из палаты одежду, Марианна повернулась лицом к стене; она устала и хотела бы уснуть. Но сестра возвращается еще раз, приклеивает ей на кожу кусочек липкого пластыря, а рядом накладывает мазок йода, чтобы установить, переносит ли больная то и другое, и говорит:

— Вас оперируют в начале следующей недели.

Марианна кивает. Сегодня четверг.

В своей сверкающей белизне комната кажется скучной. Ярким пятном выделяются лишь апельсины и яблоки между двойными рамами, букеты цветов, а также куколка в вязаном платьице на ночном столике одной больной.

Марианна рада, что лежит у стены. Больным на трех кроватях посередине некуда отвернуться от своих соседей по палате.

Марианна много спит. Она почти не думает о предстоящей операции, мысли ее убегают вперед, к тому времени, когда она выздоровеет.

На других кроватях расположились две молодые и две пожилые женщины. Марианна не может понять, зачем оказались в больнице пожилые. Трудно представить, чтобы им тоже предстояла операция на сердце.

У молодой женщины, лежащей на кровати рядом с ней, голубые глаза с лиловым оттенком, какие часто встречаются у

рыжеволосых. Но у нее черные волосы; коротко стриженные, они локонами падают на лоб. Сестры часто беседуют с этой больной, обращаясь к ней по имени: Криста. Ей, как и Марианне, еще разрешается вставать с постели, иногда ее вызывают из палаты, и она возвращается с цветами или подарками. Марианна была поражена, впервые увидев Кристу не в постели. Она не представляла ее себе такой высокой и крепкой, возможно, потому, что у нее очень нежное лицо.

На кровати у стены, примыкающей к двери, лежит фрау Вайдлих. Она, как и Марианна, спокойная больная, однако на иной лад. Когда сестры о чем-либо спрашивают Марианну, она улыбается, а эта женщина всегда удручена. У нее близко поставленные круглые голубые глаза, маленький нос и крохотный ротик. Когда она в постели, короткие косички обрамляют простенькое милое лицо, о которым не вяжется застывшее на нем выражение печали.

Обе пожилые женщины носят почти одинаковые фланелевые ночные сорочки, схожи и их фамилии. Полная, привлекательная фрау Мюллер, прибыла из деревни Потсдамского округа. Тощая, фрау Майер, проживает в Гёрлице. Она редко расчесывает свои седовато-желтые пряди волос.

Марианна много думает о доме, в первую очередь о своей девочке. С какой радостью заключает она ее в объятия, но Катрин тут же, барахтаясь, вырывается на свободу. В материнской нежности она нуждается, только когда устает или что-то у нее болит. Товарищи, мяч, самокат, солнце, дождь и ветер заполняют дни Катрин. Когда она вечером ложится в постель, то засыпает прежде, чем Марианна успевает поднять решетку ее кроватки. Марианна думает о матери, ее добром старом лице, которое она и Дитер находят гораздо красивее, чем на сделанных в молодости фотографиях. Ее успокаивает, что Дитер в эти дни дома. Родители гордятся своим большим мальчиком, которому нужно низко наклониться, чтобы поцеловать мать. Они горды тем, что их сын учится, и теряются, когда он высказывает мысли, согласиться с которыми они не могут…

Отец провел рукой по волосам и сказал:

«Мой мальчик, и это ты называешь социализмом?»

«Конечно, социализм минус бюрократизм».

«Но Маркс говорил…»

«Высказывания Маркса не следует механически переносить на 1965 год».

«Порой я думаю, что сердце во всем этом не участвует. Когда я был в твоем возрасте…»

«Я все знаю: голодал, бастовал, участвовал в демонстрациях,

нацисты, концлагерь».

«Дитер!» — сказала мать.

«Да, конечно, извините».

Мать не обладала большими познаниями и не могла принимать участие в спорах детей с отцом. И все же, когда им, уже взрослым и тем не менее оставшимся для родителей детьми, приходилось чего-либо стыдиться, то в большинстве случаев перед матерью.

«Не мешай, пусть говорит», — сказал отец.

«Я, безусловно, отдаю должное тому, что было тобой пережито, твоему опыту, и тем не менее все это может быть полезно для меня лишь в ограниченных масштабах. Я тоже социалист, но моя жизнь при социализме состоит из восьми лет начальной школы плюс пионерские сборы после обеда и четырех лет полной средней школы плюс вечерние собрания членов Союза свободной немецкой молодежи. Так что я не могу постоянно пылать энтузиазмом».

Отец посмотрел на юношу оскорбленно и растерянно.

«Возьми, к примеру, участие в уборке урожая. Ты представляешь себе дело так, что молодежь направляется в деревню с песнями, голубым знаменем в руках и вещевым мешком за плечами. Ты разочарован, если вместо этого я беру с собой чемодан и транзистор, а также хороший костюм, если в этом сельском захолустье будет куда пойти вечером. Тебе недостаточно, что я понимаю — урожай картофеля должен быть собран, сельскохозяйственный производственный кооператив с этим не справляется и мы, студенты, должны туда поехать. Тебе недостаточно, что я добиваюсь того, чтоб все другие это тоже поняли. Тебе нужен энтузиазм».

«Не делай только вид, что ты ничем не восторгаешься, это же глупо, — сказала Марианна, — а с уборки картофеля ты приехал очень довольный».

«И даже хорошо поправился», — заметила мать.

Они посмеялись, и в семье снова воцарились мир и согласие…

Фрау Мюллер и фрау Майер беседуют. Фрау Майер шепелявит, бранится и брюзжит. Марианна улавливает: озлобленную старуху зовут Ангеликой. Так ей и надо, думает она, забывая, что фрау Майер, несомненно, когда-то выглядела иначе. Хорошо, что из их разговора мало что можно понять. Прислушиваться у нее нет никакого желания.

Когда Дитер говорил об армии, дома был Карл.

«Не знаю, почему по отношению к армии непременно должен проявляться энтузиазм, — сказал Дитер. — Ни одному человеку я не поставлю в укор, если он рассматривает армию как печальную необходимость. Было бы непростительным легкомыслием ее не иметь, и я прихожу в ярость, если кто-то пытается от службы в ней увильнуть. Но почему я должен вести себя так, будто жду не дождусь, пока смогу лично принять в этом участие. Или требовать от матери, чтобы она, стоя у обочины дороги, радостно аплодировала сыну, шагающему в солдатском мундире. Вспомни «Живые и мертвые» Симонова. Солдаты сражаются до последнего и ненавидят противника, навязавшего им эту войну. Но в то же время его солдаты могут мечтать о том, что их внукам не нужно будет становиться солдатами, ибо к тому времени, надо надеяться, мы окажемся настолько сильными, что сможем отказаться от этого чудовищного занятия и огромных непроизводительных расходов. Они могут завидовать своим внукам. Позволительно это и мне».

«Тогда я удивляюсь, что ты добровольно обязался стать офицером», — сказал Карл.

«Ты не можешь или не хочешь понять?»

«Карл, та поможешь ли наладить хлеборезку», — попросила мать.

«Прав на сто пятьдесят процентов, как всегда», — проворчал Дитер, когда другие вышли на кухню.

«Чепуха, — возразила Марианна, — тогда про отца ты должен сказать — двести процентов».

«Когда речь идет об отце, нельзя вести счет на проценты, — отвечал Дитер, — отец — это чистое золото».

Марианна улыбнулась.

«Теперь у него опять новое увлечение. Объявились бывшие граждане Виттбурга — два в Аргентине, три в Мексике и два в Австралии, не нацисты, пожилые люди, еще молодыми уехавшие за границу. Он посылает им литературу о ГДР и вырезки из окружной газеты. Мать жалуется: «Ведь все это за его счет». А он ей в ответ: «По мне, одной яичницы на воскресенье вполне достаточно».

«Циничен и высокомерен», — сказал о Дитере Карл.

«Нет, — отвечала Марианна, — он молод и он мыслит, но всегда как социалист».

Тогда она уже была женой Карла Мертенса…

Как часто мысли мешают благим намерениям. Она не хотела больше вспоминать о Карле, но он стоит перед ней, мускулистый, не очень высокий, лицо худое и строгое, те же светлые глаза, что

у их дочери. Он возникает перед ее мысленным взором, но нет уже прежней боли, по крайней мере этого она добилась.

С того момента, как она узнала о предстоящей операции, ей стало ясно, что до этого она должна окончательно оформить разрыв с Карлом.

Сама процедура развода была несложной и не повлекла за собой обострения ее сердечной болезни. Теперь уже нет. Прошло то время, когда Карл мог причинить ей боль. И думает она об этом сейчас лишь потому, что до сих пор не может до конца понять, как это получилось, когда именно начали портиться их отношения, что послужило тому виной. Она не ощущает больше никакой горечи, особенно в эти дни, когда остаются считанные часы до момента, который изменит всю ее жизнь.

Как чудесно зазвенит все вокруг, когда она выздоровеет! Как легко будут идти ноги, как приятно будет нести что-нибудь в руках, как равномерно забьется сердце, как беззаботна будет прогулка в лесу, какую радость доставит работа с детьми, каким естественным станет дыхание — но никогда оно не будет естественным настолько, чтобы она забыла, каким оно было во время ее болезни.

Здесь никто не убеждает ее, что послеоперационные боли легко переносимы. Но что значат несколько дней страданий по сравнению с длящейся годами борьбой с болезнью.

Криста читает, обе старушки беседуют, слышно их невнятное бормотание.

— Раньше было лучше, дети тоже могли работать, когда нам было восемь лет, мы уже подрабатывали. Теперь же это запрещено, потому проходит столько времени, пока люди чего-нибудь добиваются…

Раздраженная и полная досады, Марианна обдумывает, должна ли она вмешаться в разговор.

— Зато они дольше ходят в школу, — говорит Фрида Мюллер.

— Вот именно, — негодующе замечает Ангелика Майер. — Наш Курт, сынок дочки моей, должен был пойти к нам на выучку. На кладке печей можно неплохо заработать, да учителя накинулись на дочь, парень, дескать, должен учиться в школе.

Из дальнейшей беседы выясняется, что господин Майер проявлял интерес к глине и изразцам только в тех случаях, когда чувствовал на своей спине костлявый указующий перст Ангелики; как только он оставался один, он предавался беспробудному пьянству. Каждое утро тащила она за оглобли тележку, направляясь вместе с ним на работу, и ходила за ним по пятам до

конца рабочего дня. Так она изучила ремесло печника и могла заменить подмастерье. До последних недель, когда она «в течение дня дважды полумертвая падала от усталости», она заботилась о том, чтобы сооружения господина Майера не стали пизанскими печами[9].

Марианна живо представляет себе эту пару, тянущую тележку. Она — в башмаках на деревянной подошве, толстых чулках, переднике из мешковины и темном платке. Он — ниже ее ростом, с редкими волосами на круглой голове и довольными, пьяно блестящими глазами, целиком поглощенный мыслью о том, как, поравнявшись с пивной, суметь ускользнуть от Ангелики.

— Нет внука, который помог бы, а я вот тут умираю. — Старуха вздыхает. — Поскольку я больна, мужу надо бы в производственный кооператив ремесленников, но его туда не берут. — Она щелкает пальцем по горлу.

Молчание.

— Почему они все-таки его не берут, — вдруг возмущается она, хлопая по газете рукой, — об акушерках они тут кричат вовсю: родилась, мол, тысяча детей, хотя потрудились над этим матери, а то, что выложена тысяча голландских печей, об этом нигде не пишут… — Газета падает на пол. — У него доброе сердце, — внезапно говорит Ангелика.

Хильда Вайдлих равнодушно смотрит в потолок.

С фрау Вайдлих часто беседуют сестры, а также Зуза Хольц, которая проводит с больными дыхательные упражнения и заставляет их кашлять.

— Вот погодите, завтра придет профессор, и, если он найдет вас такой удрученной, операции не разрешит. У вас митральный стеноз, вам действительно нечего опасаться. Фрау Вайдлих, что случилось, почему вы ничего не едите, вам страшно?

Фрау Вайдлих качает головой.

— У вас горе?

Фрау Вайдлих рыдает. Зуза Хольц говорит:

— Оденьтесь, прогуляемся в коридоре.

— Я лучше полежу.

— В тридцать четыре года у человека вся жизнь впереди.

Хильда Вайдлих не отвечает, слезы двумя струйками текут по щекам.

— Уверяю вас, операцию отменят, если вы так будете себя вести.

Марианне надоели угнетенное состояние фрау Вайдлих и ворчливое бормотание Ангелики. Она берет свой купальный халат — лучше взяла бы в больницу новый, этот черно-белый они вместе покупали во время отпуска, когда ездили к морю, и в тот

день началось ее несчастье…

Опять воспоминания!

Марианна выходит из палаты. В стену вделан аквариум с серыми камнями, зелеными растениями и рыбками ярких цветов.

За ее спиной открывается дверь, выкатывают пустую детскую кроватку. Марианна заглядывает в палату. Дети, боже мой, дети! Что такое моя операция по сравнение с тем, что предстоит перенести этим беспомощным крошкам!

Сестра Гертруда катит кроватку дальше, и на стенах детского отделения Марианна видит рисунки на сюжеты различных сказок.

Сестра Гертруда возвращается, золотистая копна ее волос образует под шапочкой купол, похожий на детский воздушный шар. Она идет по коридору, держа на руках заплаканную девочку, и останавливается перед аквариумом. Большие черные глаза малютки блуждают по сторонам, следя за движениями рыбок. Тонкими ручками она прижимает к груди игрушку — это потрепанный резиновый барашек.

Когда сестра подходит к кроватке, ребенок снова начинает всхлипывать.

— Хватит, Биргит.

Малютка кривит рот, икает и больше не плачет. Катрин продолжала бы плакать, думает Марианна. Биргит, вероятно, тоже, будь она на руках у матери.

Марианна возвращается в палату, садится на край кровати и говорит Кристе:

— Стены в детском отделении — я еще никогда не видела ничего подобного! Персонажи сказок высечены прямо в стене и затем расписаны красками. Все в натуральную величину в пастельных тонах. Заяц и еж носятся друг за другом, причем еж выглядит так, будто у него действительно иглы, о которые можно уколоться, а заяц в разгаре погони прыгает на стену. На дороге подсолнечник, а в небе над ним плывут два облачка. Бременские городские музыканты не только звери, расположенные друг над другом, нет, осел кричит, собака широко раскрыла пасть и чешется, кот шипит, а петух поет. Таковы все картины. Почему не раскрасили стены здесь у нас, это было бы прекрасно и для взрослых.

Так долго Марианна говорит здесь впервые.

Криста смеется и отвечает:

— Мне больше всего нравится кот в сапогах.

Марианна узнает, что Криста Биндер здесь работала, была операционной сестрой, когда у нее обнаружили митральный стеноз.

У Марианны и Кристы одинаковая болезнь, и, возможно, их

прооперируют в один и тот же день.

Открывается дверь, и сестра Гертруда вкатывает кроватку с Биргит. Все больные приподнимаются и разглядывают малютку.

— Биргит останется здесь на несколько дней. В детском отделении не хватает мест — не правда ли, Биргит?

Биргит робко кивает.

Марианна рада. Мне снова повезло: если ребенок будет у нас, мужество меня не покинет.

Она разговаривает с Биргит, которая постепенно теряет робость и выводит барашка на прогулку по кроватке.

Барашек уродлив. Его курчавые шерстинки выступают на теле маленькими затвердевшими бугорками. Как вообще можно делать барашка из резины!

У Биргит с барашком постоянно что-то случается: он непослушен, и его наказывают, он плачет, и его утешают, он должен есть, но выплевывает шпинат обратно. И наконец его укладывают спать.

Криста говорит Марианне:

— Потом у меня тоже будет ребенок.

Криста Биндер вышла замуж шесть недель назад. Со своим будущим мужем она познакомилась в больнице. Он инженер, специалист по медицинской электронике.

Фрау Вайдлих спит. Старушки наблюдают за играющим ребенком, а Криста тихо разговаривает с Марианной:

— Свадьбу я хотела отложить на год, когда операция будет позади и я снова буду здорова, но Ханс не согласился. «Ты должна чувствовать себя совершенно спокойной и защищенной, — сказал он, — а в минуты страдании думать о своем муже».

Марианна не отвечает.

— Проснись, — говорит Биргит барашку, — идет фрау Хольц, и нам надо упражняться. — Она проводит язычком по синеватым губам. — «Добрый день, Петер, я фрау Хольц», — в знак приветствия она трясет переднюю лапу барашка. — Сейчас мы смажем спинку, сначала белой мазью, не пугайся, она холодная, но плакать никому и в голову не придет, ведь это сметана, а теперь желтой мазью, это мед. Хорошенько вдохни, твой животик должен стать полным, как воздушный шарик, теперь выдохни, воздух снова выйдет из шарика, и животик станет совсем тоненьким. А теперь изо всех сил подуй. — Биргит берет с ночного столика бумажные салфетки, разнимает их, держит у рта тонкий слой бумаги и дует. — Ты должен дуть так сильно, как большой ураган, и теперь кашлять, сильнее, еще сильнее, иначе ты не выздоровеешь. Так, Петер, на сегодня довольно, завтра тебя

оперируют. От этого здорово щиплет, и наверх кладут большой пластырь, вот сюда. — Биргит кладет руку себе на грудь. — Но ты не должен плакать. Если фрау Хольц говорит: кашлять, дуть, выплюнуть, ты должен все это в точности исполнить, тогда сердечко твое будет здоровым, и наш Петер сможет бегать вот как далеко, — Биргит широко разводит руками, барашек падает на пол, — вот как далеко!

В палате тихо. Биргит ложится и сосет свой большой палец. Марианна повернулась лицом к стене. Криста тихо говорит:

— Завтра приезжает профессор, он сам будет оперировать Биргит.

— Это опасно?

Криста медлит с ответом, сестры не говорят с больными о других пациентах, а Марианне самой предстоит операция. Да и навряд ли нужен ответ. Каждый, кто видит посиневшее лицо этого ребенка, понимает, что он тяжко болен.

У Биргит в сердце, в перегородке между правой и левой его половинами, имеется отверстие, вследствие чего обе половины сердца и все важные органы и прежде всего кровообращение не могут правильно функционировать. Этот врожденный порок сердца именуется тетрадой Фалло[10]. Тетраде Фалло сопутствуют дальнейшие дефекты. Правый желудочек сердца слишком велик, аорта на месте выхода из сердца расположена неправильно, и легочная артерия часто сильно заужена, хирургическое вмешательство сложно и опасно.

— Мамочка! — кричит Биргит. — Мамочка! — Она садится и плачет. — Хочу к мамочке. — Она берет свой самый длинный черный локон и сует его себе в рот. — Мамочка!

Марианна подходит к кроватке ребенка. Но Биргит безутешна.

— Рассказать тебе сказку?

Биргит кивает.

— Шил-был старик, который купил себе овцу. Это была большая красивая овца. Шерсть у нее была густая-прегустая, и кто касался ее рукой, не мог добраться до кожи, всюду была прекрасная густая шерсть. У этого старика был при доме пустой сарай, и он давно хотел поместить туда какое-либо животное. А тут как раз его жене исполнилось семьдесят лет, и он купил овцу, чтобы сделать ей ко дню рождения подарок, так как *ему* очень хотелось иметь овцу. Жена тоже радовалась, но ухаживать за овцой пришлось *ей.* Она должна была ее кормить.

— Это была мама Петера? — спрашивает Биргит.

— Нет, овца приходилась ему тетей. У жены старика день рождения был в декабре.

— Это была бабушка?

— Конечно, бабушка. На улице падал снег, и у дедушки мерзли уши. Овца, у которой была густая шерсть, совсем не мерзла.

Собственно, овца могла бы ссудить мне немного шерсти, подумал дедушка. В корзинке, где бабушка хранила все необходимое для шитья, он взял большие ножницы. Затем пошел в сарай к овце и выстриг у нее над правой задней ногой клок шерсти. Там образовалась лысина.

Он отнес шерсть жене и сказал: «Спряди из этой шерсти нити и из них свяжи мне шапочку».

Жена так и сделала, и шапочка получилась очень красивой.

Стало еще холоднее, и у старика замерзли руки.

Мне нужны перчатки, подумал он, пошел к овце в сарай и опять настриг шерсти — на этот раз со спины над левой задней ногой. Теперь у овцы было уже две лысины. Она громко заблеяла, но старик не обратил на это внимания.

Бабушка связала ему пару теплых перчаток.

Стало еще холоднее. Замерзли все реки и озера.

— Мама говорит, я потом смогу кататься на коньках.

— Конечно, Биргит.

— Рассказывай же дальше, почему ты не рассказываешь дальше?

«Мне нужен шарф», — сказал муж — на этот раз он взял шерсть с шеи овцы.

— Отсюда? — спросила Биргит и положила пальчик на шею резинового барашка.

— Да, отсюда. Но он хотел иметь длинный шарф, так как это было модно, и ему потребовалось много шерсти.

Стало еще холоднее. У мужа мерзли на ногах пальцы. Хорошо бы связать чулки, подумал он и пошел с ножницами в сарай. Он должен был низко нагибаться, так как теперь шерсть у овцы осталась только на животе.

Жена начала вязать чулки. Когда она хотела покормить овцу, муж сказал: «Сейчас не хватает лишь пятки на одном чулке, ты лучше сначала быстрее ее довяжи».

«Овца голодна, послушай, как жалобно она блеет», — сказала жена.

«А я замерзаю, взгляни, у меня пальцы на ногах совсем синие».

И жена сперва довязала чулок.

Когда она понесла овце горшок с едой, было уже темно. Овца не вышла ей навстречу, безмолвно и печально лежала она в углу. Выглядела она совсем тощей и голой.

Жена пошла к мужу и сказала: «Наша овца заболела».

Муж и жена побежали в сарай.

Он потрогал овцу и сказал: «Она дрожит».

«Она дрожит от холода, — сказала жена. — Что же нам теперь делать?»

«Возьмем ее в дом, поближе к печке», — сказал муж. Он привел овцу в комнату. В тепле овца перестала дрожать и поела.

«Что будем делать дальше?» — спросила жена.

«Мы должны связать ей костюм из шерсти», — отвечал муж.

«Где же мы возьмем шерсть?»

Муж молчал.

«Но откуда же?» — спросила жена.

Тогда муж снял с головы свою шапку, с шеи шарф, с рук перчатки и с ног чулки.

Жена все это снова распустила, а муж намотал из ниток клубок, он оказался большим, как футбольный мяч. Жена связала овце костюм с отверстиями для ног и головы. Когда костюм был готов, муж отвел овцу обратно в сарай.

«Ах, какой же я был глупец!» — сказал муж.

— Расскажи эту историю еще раз, — просит Биргит.

— У моих родителей тоже были овцы, — говорит Хильда Вайдлих.

Все поворачиваются к ней.

— В детстве у меня волосы были еще длиннее, чем сейчас, одна из овец принимала их за сено и бегала за мной, чтобы сожрать мои локоны.

— У вас красивые волосы, — говорит Марианна фрау Вайдлих, — надо действительно быть овцой, чтобы принять их за сено.

Криста смеется.

— Я тоже любила рассказывать всякие истории моим внукам, — говорит Фрида Мюллер, — больше всего им нравится сказка о семи козочках, — она вздыхает, — но теперь они уже вышли из этого возраста.

— А я никогда не умела рассказывать сказки, — говорит Ангелика Майер, — но для Куртхен у меня всегда найдется что-нибудь вкусненькое, другое он не признает.

— Расскажи все еще раз, — говорит Биргит.

Входит сестра Гертруда, чтобы сделать ребенку укол.

— Сегодня укол немного жжет, так что крепко стисни зубки, дорогая.

Биргит кивает.

— Только сначала Петеру.

Барашек получает свой укол.

— А теперь Биргит. И ты хорошо уснешь. — Сестра Гертруда делает ей укол и спрашивает: — Больно?

Биргит не отвечает. Она закинула назад голову, на лбу образовалась морщинка.

— Готово. Было больно?

— Да.

На ресницах повисли слезинки.

— Почему ты мне раньше не ответила?

— Я же должна была стиснуть зубы.

Марианна не может уснуть. В слабых проблесках света, проникающих через застекленную часть двери, она видит профиль Биргит, изгиб лба у висков, заострившийся носик и вьющиеся волосы. Марианна тоскует по Катрин, которая теперь спит дома у дедушки с бабушкой. Ее носик — круглая пуговка между двумя круглыми розовыми щечками, рот несколько велик, а губы полноваты, но это может измениться, когда она подрастет. Марианна любит наблюдать, как рано поутру просыпается ее дитя: только одно мгновение у нее пустые глаза, новый день сразу же наполняет их своим сиянием, и вот Катрин уже сидит, перелезает через решетку, ходит по комнате, собирает свои вещи, разговаривает, поет, смеется и рвется наружу, на свободу, чтобы не упустить ни одной минуты ясного утра.

У дедушки с бабушкой ей хорошо. Но матери уже шестьдесят. И живой, неугомонный ребенок, хоть он для них большое счастье, утомляет. Возможно, он помогает заглушить тревогу. В эти дни родители будут скрывать друг от друга свой страх. Они не будут говорить об операции, но за обедом не прикоснутся к пище, а на лице отца застынет мрачное выражение.

О своем старшем сыне мать и сегодня говорит так, будто он в отъезде. Эрнст родился в 1925 году. Катрин, видимо, на него похожа. Наверное, потому родители так привязаны к внучке. Два пожилых человека, пережившие так много, вновь молодеют, когда рядом кричит малое дитя, нуждающееся в пище, пеленках, и улыбается им.

О неродившемся, который должен был появиться на свет в 1927 году, мать говорила один-единственный раз. Отец в ту пору был без работы. И чтобы спасти от голода и холода первого ребенка, они пожертвовали вторым. Эрнст рос крепким, жизнерадостным и способным юношей. Он погиб восемнадцати лет на войне, развязанной Гитлером, которого родители страстно ненавидели и с режимом которого боролись.

Отец, выпущенный на свободу после трех лет пребывания в концлагере, был еще до рождения Марианны вновь туда

заключен. Марианна не думает, что она была желанным ребенком, но мать писала отцу: жизнь и ожидание твоего возвращения приобретают еще больший смысл теперь, когда я жду ребенка.

Дитер, самый младший, родился, когда матери было сорок. Она хотела сына взамен погибшего старшего и взамен другого ребенка, тогда не рожденного. Так много мужества и веры в будущее было у нее в тяжелом 1945 году. Многие товарищи по партии только после разгрома фашизма смогли обзавестись семьями. Это тоже часть истории страны: поседевшие коммунисты с еще юными детьми.

Свой четвертый день рождения Марианна праздновала в бомбоубежище. Она хорошо помнит, что тогда — редкостное событие — ела пирог с вишнями. Внезапно пирог отлетел куда-то далеко, вишни превратились в искрящиеся глаза, Марианна закричала и упала плашмя лицом вниз. Она заболела скарлатиной, от которой чуть не умерла. Месяцами ее приковывала к постели ревматическая лихорадка. Через восемнадцать лет врачи ей сказали, что порок сердца является следствием той болезни.

Обе старушки спят; одна храпит, другая тяжело вздыхает. Криста дышит равномерно. У Хильды Вайдлих скрипит кровать, больная не находит себе покоя. По потолку скользит какая-то тень. Из угла доносится высокий протяжный звук.

Марианне страшно. Ночь угрожающа, все вокруг изменилось. Словно только сейчас она поняла, что ей предстоит, и всю ее объемлет страх. Любое хирургическое вмешательство опасно, особенно операция на сердце. Почему так много врачей было против? Кто гарантирует, что я это перенесу? Жизнь не остановится, с той маленькой, ничего для мира не значащей разницей — меня больше нет. Застывшее, холодное, бесчувственное, мертвое тело. Все в мире идет по-прежнему: снег падает, море шумит, женщины развешивают белье, цветы цветут, новая книга выходит, ребенок поет, свежий хлеб ложится на полки — только не для меня. Но все эти цветы я хочу увидеть, и книгу я тоже хочу прочитать, я хочу дышать, вдыхать запахи, слышать, любить, предаваться печали. Лучше жить с больным сердцем, чем вовсе не жить. Я даже не буду знать, что умираю. Больному дают наркоз, и он уже не просыпается. Мертвого человека зарывают в землю или сжигают. В мире ежедневно умирают десятки тысяч людей. Но на этот раз буду я. Я хочу жить, безразлично как. Я могу еще отказаться. Профессор не разрешает операции, если больной боится. Тогда я смогу

вернуться домой, к ребенку, к родителям, я буду чувствовать на лице тепло солнечных лучей, смеяться над Дитером, расчесывать до блеска волосы Катрин. Ведь было так много хорошего, даже в последнее время. Только бы жить, даже с болезнями и страданиями. Крупинка соли на языке, звуки флейты, солнечные блики на воде, грибы и Гарц, теплая печь, свежевыглаженная ночная сорочка, учить детей чтению, слушать музыку — пусть это продлится всего один год. Ведь в году так много часов, и если один день принесет всего три радостных события, то это более тысячи радостей в течение одного только года. Я еще хочу их испытать, я должна уйти прочь от этих инструментов и больничных запахов… Возможно, я умру не во время операции, а потом, и тогда все страдания и страшная борьба с удушьем окажутся напрасными. Завтра же рано утром я выпишусь, не дожидаясь обхода врачей.

Шорохи в углу звучат теперь еще более зловеще, глухо, подавленно. Марианна приподнимается, прикладывает руки к вискам и прислушивается. Возможно, в этой комнате кто-то умирает. Она должна позвать сестру.

Но пока Марианна ищет кнопку звонка, она догадывается: всхлипывает фрау Вайдлих, только и всего. Обессиленная, Марианна снова ложится. Нечто подобное она год назад уже пережила в терапевтическом отделении. Один трусливый больной заражает еще троих, а здесь таких больных уже *двое.*

Марианна встает, у нее кружится голова. Она выпивает глоток воды и подходит к кровати Хильды Вайдлих. Осторожно приподымает с ее лица мокрое от слез одеяло и тихо, чтобы не разбудить других, говорит:

— Чего вы боитесь, фрау Вайдлих? Эта операция намного безопаснее иных болезней. Каждый может стать мужественным, если только захочет. Твердо решите: отныне я не буду грустить и не буду бояться. Это был бы, как вам сказать, верный путь. И радуйтесь потом, когда избавитесь от страха, и мы все порадуемся вместе с вами. И тогда вы на самом деле почувствуете себя лучше. Думайте о том, как вы будете счастливы через шесть недель, когда сможете вернуться домой.

Хильда Вайдлих не отвечает, но, когда Марианна хочет встать, она обеими руками ловит ее руку.

Марианна начинает снова:

— Вас что-то гнетет? Может быть, вы мне расскажете, ведь становится легче, когда выскажешь то, что у тебя на душе, поделишься своими горестями. Порой с чужими это проще, чем с близкими друзьями. Мы здесь ненадолго вместе, у нас одна болезнь и уже потому во многом одинаковые мысли. Но когда мы

выйдем отсюда, мы навсегда расстанемся. И тогда вы сможете забыть и меня, и все, что вы мне теперь расскажете.

Марианна не знает, понимает ли фрау Вайдлих ее слова. Слишком темно, чтобы можно было уловить выражение ее лица.

— Право же, я спрашиваю не из любопытства, — говорит Марианна. — Думайте о том, как будет прекрасно, когда все это останется позади. Можно ведь выбрать, о чем думать; думайте же именно *об этом.* И ваш муж не нарадуется на свою здоровую жену. Он уже трижды справлялся, когда все это произойдет.

— Да, — шепчет фрау Вайдлих и больше не плачет, — он-то уж всякое терпение потерял.

Марианна не знает почему, но тревожные призраки ночи возвращаются. Только теперь она их к себе не подпустит.

— Есть ли у вас семья, обеспечена она всем необходимым? При такой болезни это часто проблема.

— Детей у нас нет, муж был против, а теперь хорошо, что так получилось.

— Значит, после операции вы сможете о себе позаботиться, это важно. Я сама хотела бы, раз уж мы целый год не можем работать, поскорее заняться хотя бы учебой. Я учу совсем маленьких и не честолюбива, чтобы стремиться учить более старших, меня интересует детская психология. Еще два года назад я собиралась приступить к ее изучению, но помешала болезнь. Знаете, когда я с детьми…

Хильда Вайдлих ее не слышит. Она целиком погружена в собственные мысли, другие ее не интересуют. Марианна спрашивает:

— Вы прежде работали?

— До замужества в цветочном магазине, это было десять лет назад. Мой муж не хотел, чтобы я работала.

— Иметь дело с цветами — это должно быть прекрасно! — Марианна обдумывает, что еще сказать.

Фрау Вайдлих шепчет:

— Ваша история с овцой мне очень понравилась. — И, словно дальнейшее имело к этому отношение: — Мой муж долго не соглашался на операцию, потом же, напротив, всячески на ней настаивал и меня торопил.

И снова градом текут слезы.

Мой муж, мой муж — нет иных интересов, нет профессии, нет детей. В эту жизнь, все содержание которой исчерпывалось одним «мой муж, мой муж», теперь вторглась болезнь, и женщина оказалась совершенно беспомощной перед предстоящей ей операцией.

— Спите, ведь уже ночь.

Марианна возвращается к своей кровати.

— Дитя мое, — тихо подзывает ее Фрида Мюллер, — взгляните, пожалуйста, на градусник за окном. Очень холодно на улице?

Марианна пугается, она думала, все уже спят.

— Не могу разобрать, — шепчет она, — вам холодно?

— На улице мороз, не зря же у меня разболелись суставы, а грибы чувствительны, как грудные дети, но ведь у девчонки голова совсем другим забита.

Марианна сидит в полумраке у кровати беспокойной старушки.

Четыре раза в течение дня Фрида Мюллер приезжала на велосипеде на бывшую птицеферму сельскохозяйственного производственного кооператива «Красная заря». Она входила в первый из шести длинных бараков, смотрела на градусник, брала лопату, разгребала огонь в железной печке и подбрасывала туда уголь.

Она склонялась над первой грядкой длиной в тридцать метров и внимательно рассматривала торчащие в темной смеси торфяных удобрений крепкие белые головки. Если заболевал хотя бы один шампиньон, он тут же заражал своих соседей, и в течение нескольких дней могла погибнуть целая грядка.

В большинстве случаев она замечала председателя через маленькое окошко, когда находилась в первом парнике. Он еще не успевал войти в дверь, как она кричала: «Ничем не могу помочь, Эрвин!» Ему ничего не оставалось, как принять просительный тон.

«Фрида, смотри, ведь есть уже и совсем большие, я пришлю кого-либо в помощь, чтобы их собрать!»

На шампиньонах кооператив хорошо зарабатывал.

«Никто сюда не войдет, мои грибы еще не созрели!»

«Магазинам нужен товар, несколько корзин…»

«Свои вишни ты небось рвешь с дерева, когда они совсем созреют. И не вздумай в мое отсутствие тронуть хоть один гриб».

Этого сделать он не мог, она тщательно запирала парники, а ночью ключи лежали у нее под подушкой.

Теперь ключи находятся у «девчонки», имени которой Марианна не знает. На девушку наверняка подействовали красивые глаза председателя. Фрида уже видит перед собой шесть парников, начисто опустошенных, без единого гриба.

— Куда же теперь девались утки? — спрашивает Марианна.

— Мы должны были разводить уток, таково было распоряжение. Сооружение примерно обошлось нам в двадцать

тысяч марок, да мы еще закупили дорогие инкубаторы. Хлопот с птицей было много, но, когда она уже была годна для убоя, уток оказалось слишком много, и мы сели на мель. В магазинах утки продавались, но не наши, привозные. Они плохо спланировали, а мы должны за это расплачиваться.

Несомненно, этому огорчительному событию есть свое объяснение; Марианне его причины неизвестны. Невозможно сказать фрау Мюллер: не будем обсуждать допущенные ошибки, давайте смотреть не назад, а вперед. Форменное безобразие, что пострадавшим все это преподносится без объяснений.

— Я почувствую себя хорошо, — говорит Фрида Мюллер, — когда снова окажусь возле моих грибов. Теперь иди, милая, посмотри еще разок на градусник.

В темноте видны лишь очертания термометра, но Фрида Мюллер должна спать спокойно:

— Два градуса тепла.

Как по-разному складывается у людей жизнь, насколько каждому важно свое, личное. Марианна прислонилась к оконному стеклу. Она видит фонарь, кусочек улицы, черную ветвь дерева, сильно раскачиваемую ветром.

Буря пригибала к земле деревья, когда Марианна — а ей было тогда восемнадцать — направлялась в школу. В ту пору ее еще не пугал ветер, она боялась своего первого места работы. Робко стояла она перед дверью школы в Эберсло и нажала кнопку звонка только тогда, когда ее через окно заметил лысый швейцар в очках.

В коридоре ей встретился молодой человек с двумя географическими картами под мышкой. Он остановился, приветливо поздоровался и, заметив ее неуверенность, спросил, куда она направляется. Какое-то мгновение они стояли друг против друга, затем он проводил ее к директору. Когда она вышла из кабинета, он — все еще с картами под мышкой — вновь оказался в коридоре. Он осведомился, где она проживает, выразил готовность показать ей нужную улицу, а узнав про оставленный на вокзале чемодан, тут же предложил свою помощь. Дети с ним здоровались, несколько раз его останавливали родители, и Марианна думала: будут ли когда-нибудь родит ли просить моего совета? Он взял чемодан на плечо, донес до ее комнаты, находившейся над столярной мастерской в глубине двора в здании, похожем на склад, посмотрел на чугунную печку с длинной черной трубой, засомневался в том, что зимой она будет давать достаточно тепла, вызвался потом присмотреть за ней и разругал эту

скверную квартиру.

Она сказала:

«По-моему, здесь уютно, а ванной у нас в доме тоже нет».

Карл Мертенс внимательно на нее посмотрел. Он почувствовал ее робость и обещал помочь в подготовке к занятиям, посещать ее уроки и оказать поддержку в проведении первых родительских собраний, которых она особенно боялась. Позднее он как-то сказал ей, что она сразу ему понравилась, но решающими были ее слова об уютной комнате без ванной, которые она произнесла так просто и весело, показав умение приспосабливаться к обстоятельствам. Марианна этого не поняла. Поскольку она была именно такой, то не нашла в своих словах и поведении ничего особенного.

Он сдержал свое обещание, толково и со знанием дела готовил ее к занятиям и проводил ее первое родительское собрание.

Он был руководителем кружка в системе партийного просвещения, и она радовалась, что может часто видеть его, не привлекая чьего-либо внимания.

На одном из производственных совещаний Карла хвалили за то, что он «примерно заботится о новом товарище».

В сентябре в одно из воскресений он пришел утром проверить, как работает печь. В трубе оказалось полно сажи и ржавчины, скоро вся комната окуталась клубами черной пыли, а на дворе сияло осеннее солнце. Марианна была в отчаянии, что из-за нее он вынужден был проделать такую грязную работу. Она поставила таз на подставку перед зеркалом, увидела в зеркале свое печальное лицо со следами сажи на лбу и щеках и его смеющиеся глаза, обведенные черными кругами. Он взял ее за плечи, повернул к себе лицом и, став неожиданно серьезным, сказал:

«Когда мы будем вместе, тебе никогда не придется грустить».

Из-под крана в коридоре он принес ведро воды, они вымыли пол, смахнули пыль со стен, протерли окна. Он наполнил угольными брикетами деревянный ящик и закрепил расшатанные винты в дверце комода.

Перед тем как уйти домой переодеться, Карл на мгновение остановился и сказал: «Я сразу же вернусь».

Так как эти слова были произнесены как вопрос, она кивнула.

Она привела себя в порядок, надела другое платье и прилегла отдохнуть на старой кровати, медные шарики которой походили на круглые золотые миры. «Я сразу же вернусь…»

Они отправились гулять вдоль канала. Его отец погиб на войне, год назад умерла мать. Больше всего ему хотелось стать

астрономом. Вместо этого он выучился на механика, а позднее стал учителем. У него был телескоп, на покупку которого он два года откладывал деньги, и теперь он в ясную погоду по вечерам изучал звездное небо. Любимым цветом обоих был красный, прекраснейшим временем года была весна, а телевизору они предпочитали книгу. Он спросил, может ли он познакомиться с ее родителями.

Временами он бывал вспыльчив, однако никогда по отношению к другим, только против «непослушания» вещей. Он был вне себя, если ключ не желал отпирать дверь, соскальзывал нож, заклинивалась оконная рама. Ей нравились его недостатки, так как благодаря им она хотя бы изредка могла ощущать свое превосходство. Смеясь, она опускала ему руки на плечи, и выражение досады тут же исчезало с его лица.

Марианна вздрагивает, когда открывается дверь и входит сестра.

— Что вы делаете у окна посреди ночи? Если простудитесь, операцию придется отложить.

Сестра Гертруда проверяет у Марианны пульс.

— Завтра утром профессор делает обход. Вы не можете уснуть, может быть, дать снотворное?

Профессор. Он уезжал на конгресс, а фрау Хольц, сестры и врачи говорят о нем так, словно он постоянно наблюдает за ними через оконное стекло. Во всяком случае, даже отсутствуя, он руководит отделением. Марианна принципиально против авторитарной власти и завтра постарается хорошенько его рассмотреть…

В отделении сердечной хирургии на шестнадцать больных приходится десять врачей и шестнадцать медицинских сестер. Вчера на утреннем обходе присутствовали все врачи, за исключением профессора. В белых халатах и белых перчатках, они светлой живой изгородью выстраивались у постели больного. Один из врачей докладывал историю болезни, бумага в его руках выглядела как табличка «осторожно, окрашено». Один за другим следовали вопросы и ответы, затем изгородь распадалась, чтобы вновь сомкнуться у следующей постели.

Марианна наблюдала за врачами, занятыми осмотром больных. Один из врачей, невысокого роста, бледный, с редкими волосами и воспаленными веками, чаще всего находился на узкой стороне изгороди; темноглазый, с лысиной и очками в роговой оправе, казался ей печальным, пока она не увидела, как он смеется, быстро осматривая больных. Доктор Бург, спокойный, вежливый заведующий отделением, наблюдал за ним. Доктор фрау Розенталь, по-матерински заботливая врач-анестезиолог,

разговаривала с двумя молодыми врачами. У одного из них, он прибыл из Чехословакии, были ямочка на подбородке и узкие лукавые глаза. Второй был южноамериканец из Чили. У него было красивое темное лицо, и смотрелся он как картина…

Марианна закрывает глаза. Полночь уже позади. Уснула даже фрау Вайдлих, только она еще не спит.

Рано утром больных будит Биргит, которая плачет, так как ее мучает жажда. Криста говорит, что перед операцией пить нельзя. Входят сестры и готовят палату к обходу, он начинается ровно в семь. Сегодня дверь открывается не так, как обычно. Врачей будто забрасывает сюда сильным порывом ветра, а «доброе утро» профессора воспринимается как дуновение чистого морозного воздуха.

Он мускулист, полон энергии, не похож на ученого, Марианне он напоминает одного французского прыгуна на лыжах с трамплина. Очень черные волосы. Но лицо бледное и круги под глазами. Несколько часов на солнце, и он бы загорел. Но он не прыгун на лыжах с трамплина, все дни он проводит в больнице, а ночью часами сидит за письменным столом.

Живая изгородь выстраивается у постели фрау Вайдлих. На этот раз она смыкается вокруг двух человек — больной и профессора. На Хильду Вайдлих его голос производит потрясающее впечатление. Сквозь отверстие в изгороди Марианна видит, как он подает ей руку и думает: наверно, именно так она выглядела в свои лучшие времена.

Сегодня здесь и доктор Штайгер, который тогда в терапевтическом отделении давал Марианне разъяснения по поводу катетеризации сердца. Она рада знакомому лицу и кивает ему. Он не отвечает, и ей становится неловко. Конечно, он ее узнал. Она лишь одна из множества больных.

Профессор здоровается с обеими пожилыми женщинами, которым послезавтра предстоит операция.

— И тогда я не буду так часто падать? — робко спрашивает Фрида Мюллер.

— Нет, — говорит профессор, — вы вообще не будете больше терять сознание. Доктор Штайгер все вам объяснит.

И каждый твердо верит, что ни фрау Майер, ни фрау Мюллер, измученные больным сердцем, никогда больше не рухнут на землю, потеряв сознание.

Профессор подходит к постели Марианны.

Врач из Брно, по возрасту не старше доктора Штайгера, перебирая бумаги и медленно подбирая слова, докладывает историю ее болезни. Ему еще трудно говорить по-немецки, он выглядит уже не лукавым, а смущенным. Нельзя сказать, что

профессор вырывает у него бумаги из рук, но нетерпеливое движение, каким он берет их, весьма на это похоже. Его сотрудникам, наверное, не до смеха, успевает подумать Марианна, пока он готовится выслушать ее сердце. Профессор говорит врачам какие-то слова, она силится понять их значение, а он уже всматривается в ее лицо, спрашивает, как она себя чувствует, улыбается и говорит:

— Здесь, по-видимому, все в порядке.

Она считает это большой похвалой и гордится ею.

Тем временем профессор Людвиг подходит к Биргит, гладит ее щеки, рассматривает ее пальцы, кончики которых расширены, что типично для болезни Фалло, разговаривает с ней и смеется над ее ответами. Он сам отец четверых детей. Менее чем через два часа Биргит в состоянии глубокого наркоза будет лежать перед ним на операционном столе.

Профессор переходит к Кристе.

— Здесь мне даже не о чем спрашивать — наш самый образцовый пациент.

Криста, довольная, кивает.

— Когда бы ты хотела, чтобы это произошло, снегурочка?

— Оперировать будете вы, профессор? — полувопрос, полупросьба.

— Ты же знаешь, ни родственников ни знакомых…

Она знает это и тем не менее разочарована.

После его ухода трудно привыкнуть к своему состоянию больной.

— Он изумительно относится к больным, — говорит Марианна.

Криста улыбается, начинает что-то говорить, но тут же умолкает.

Когда ей впервые разрешили сопровождать на обходе профессора и они вошли в мужскую палату, она была потрясена.

«Кашляйте, пожалуйста, — сказал он недавно перенесшему операцию. Больной, довольно толстый молодой человек, пытался это сделать. Но уже гремел голос профессора: — И это вы называете кашлем? Этот жалкий, ленивый писк! Если вы теперь не будете напрягаться и с помощью кашля не прочистите легкое, вы получите воспаление легких, и тогда крышка, как это было бы досадно после удачной операции».

И следующему больному: «Простите, если я правильно понял, вы сказали, что не можете мочиться? Ведь это умеет даже младенец в пеленках, это же первое, чему учатся, появившись на свет».

Третьим был широкоплечий молодой человек. Грудь его была

украшена татуировкой, ожерелье с крестиком лежало на ночном столике.

«Пожалуйста, кашляйте… Я сказал *кашлять,* а не пищать. Боже мой, муха на стене и та умеет это лучше. Такой краснобай, а вот кашлять как следует — на это вас не хватает. Подучитесь хотя бы у наших женщин из соседней палаты, как надо кашлять. У них втрое больше мужества, чем у вас».

Этих больных Криста жалела.

«С многими так поступать необходимо, — пояснил ей профессор, — и именно с мужчинами, особенно такими, как этот плаксивый верзила с ожерельем».

Конечно, и женщины не все обладали мужеством — Криста бросает взгляд на фрау Вайдлих.

Попадались трудные больные, например два года назад фрау Тимм. Ежедневно по утрам она подкрашивалась, а вечером накануне операции покрыла красным лаком ногти на пальцах ног.

Ее должны были оперировать заведующий отделением и доктор Паша. Перед самым началом операции Паша сказал: «Сестра, принесите, пожалуйста, чернила».

Они решили подшутить над больной, перекрасить в черный цвет ногти на ногах фрау Тимм и сказать, что это следствие операции. Конечно, Криста чернила не принесла. Когда фрау Тимм выздоравливала, она своими капризами замучила всех сестер. Но такое происходило слишком редко, в большинстве случаев больные были трогательно благодарны. Они знали, что операция вернула их к жизни.

Потому такой чудесной считала Криста свою профессию, потому путь к ней, невзирая на все связанные с ним сложности, не казался ей слишком трудным.

В чересчур длинном платье, связав узлом темные волосы, чтобы выглядеть старше своих лет — было ей тогда пятнадцать, — стояла Криста перед входной дверью дома доктора Людвига. Ее денег хватило лишь на одну поездку на трамвае, обратно ей предстояло идти пешком, а в выходных туфлях тетки это ей навряд ли бы удалось. Поэтому в сумке, висевшей у нее на руке, она несла собственные сандалии. Криста тайком сбежала с работы в овощехранилище, так как в объявлении указывалось: являться от тринадцати до четырнадцати часов. Правда, там значилось еще и другое: искали работницу, умеющую готовить и ухаживать за маленькими детьми. Ее кулинарные таланты ограничивались приготовлением нескольких блюд из продуктов, которые в 1950 году получали по продовольственным карточкам, а ребенка ей однажды довелось вывозить в коляске на прогулку.

Доктор Людвиг, сам открывший дверь, увидел перед собой бледную темноволосую молоденькую девушку с вытаращенными глазами и спросил: «Что тебе нужно, снегурочка?»

Протестуя, она затараторила. Никогда не съест она отравленное яблоко, ее, хорошую повариху, сразу же насторожит дурной запах. А что до снегурочки, она согласна быть ею только в качестве его домашней работницы.

Озадаченный врач отвел Кристу к жене, которая ласково с ней поговорила, и девушка выболтала многое такое, чего рассказывать не собиралась. Свершилось невероятное: долой черствую тетку, долой скупую торговку овощами, впервые в жизни у нее своя отдельная комнатка у людей, которые любят друг друга и очень к ней добры.

Во время развязанной Гитлером войны доктор Людвиг, молодой врач и офицер фашистского вермахта, оказался в плену у американцев. Он продолжал работать врачом в одном из лагерей. Случай свел его с американским хирургом, работающим в области хирургии сердца, и Людвиг наблюдал его операции на животных. Сама мысль о деятельности в области почти неисследованной, а также беседы с американским хирургом, который с восторгом говорил о будущем своей профессии, увлекли его и определили дальнейшую жизнь.

После 1945 года он возвратился в Германию, где науки, не связанные непосредственно с войной, были в загоне на протяжении десяти лет. Многие больные, которым операция на сердце могла бы спасти жизнь, представлялись молодому врачу жертвами гитлеровской войны. Но в первые мирные годы, когда истощенные люди умирали от туберкулеза, с трудом находились средства для борьбы с эпидемиями, а хирургов не хватало даже для простых, хорошо известных операций, шансов на успех в борьбе за новую отрасль науки почти не было.

Доктор Людвиг работал хирургом в маленькой больнице. Он женился на скромной красивой девушке, работавшей в лаборатории той же больницы. Еще до того, как они поженились, Маргит знала, что для их счастья она должна будет проявить огромное понимание и самоотверженность по отношению к врачу, одержимому работой и не щадящему самого себя.

«Выгодный брак», — сказал кто-то из родственников, намекая на должность старшего врача и месячный оклад в девятьсот марок.

Когда первому ребенку было полгода, доктор Людвиг зарабатывал уже только половину своего прежнего оклада. К тому времени его теоретические изыскания в области болезней сердца

продвинулись настолько, что он хотел перейти к практическим опытам. В его больнице это было невозможно. Семья покинула маленький городок, в котором Маргит выросла, и доктор Людвиг начал стажироваться в качестве ассистента в крупной больнице.

Им надо было теперь привыкать к тому, чтобы экономить каждый пфенниг. Если он заканчивал работу поздно и трамваи уже не ходили, он проделывал длинный путь домой пешком, о такси не могло быть и речи. Маргит читала медицинские журналы, конспектировала наиболее важные статьи, завела картотеку, кормила ребенка, стенографировала доклады мужа и экономила на скромном окладе, чтобы по-прежнему помогать свекрови.

Прежде всего нужно было создать аппараты, позволяющие лучше распознать порок сердца. Надо было найти возможность делать фотографии сердца с экрана рентгеновского аппарата.

Доктор Людвиг предложил рентгенологам сконструировать такой аппарат. Его план высмеяли. Он стиснул зубы и продолжал работать еще упорнее.

Его силы удвоились, когда он познакомился с Хербертом. Тот был человеком уже больным, в пенсионном возрасте, но обладал завидной волей и вдохновением. Он работал слесарем и любую возможность использовал для того, чтобы узнать что-то новое, так он стал токарем, сварщиком, механиком, техником, киномехаником, а в последние годы занимался электроникой.

Доктор Людвиг и тощий, с поблекшими глазами Херберт облюбовали помещение рядом с котельной больницы, где первое время их единственным орудием труда был старый токарный станок. Денег, необходимых для выполнения поставленной ими задачи, им не отпустили. Многое они приобретали за свой счет, кое-что им дарили. Случалось, что доктор Людвиг, сидевший за письменным столом, делал заметки, а Херберт, испытывавший в это время аппарат, говорил: «А теперь, господин доктор, не шевелитесь, за вашей спиной проходит ток напряжением две тысячи вольт».

Их сотрудничество благотворно сказывалось и на многом другом.

Умудренный горьким опытом войны и ее последствий» доктор Людвиг серьезно задумывался над закулисной стороной и взаимосвязями текущих событий, и умный, объективно мыслящий ученый был готов признать новый общественный строй. Одного только он не понимал: почему ему, желающему спасти человеческие жизни, социалистическое общество не оказывает более существенной поддержки. Часто злился он на авторитеты, и Херберт, старый коммунист, предостерегал его от опрометчивых

шагов. Тяжело было осознавать, что имеются сотни важных для блага людей потребностей и нужд, и даже половины из них нельзя было пока удовлетворить.

Теоретическими изысканиями доктор Людвиг занимался в свободные от работы вечера. Однажды на важном этапе его исследований заболела коклюшем их трехлетняя дочь Сибилла. В этот поздний час жена еще сидела за машинкой. У ребенка начался длительный приступ кашля. «Пожалуйста, продолжай, мне этот материал необходим к утру», — сказал Людвиг и поспешил в соседнюю комнату. Он успокоил девочку, которая жадно ловила ртом воздух, сменил запачканное постельное белье и тут же постирал его в раковине на кухне. Рассказал ребенку сказочку и возвратился к Маргит.

«Она спит так сладко».

Они стояли у кроватки Сибиллы.

«Я хотела сказать тебе это завтра, но завтра уже наступило…»

Маргит умолкла.

Он посмотрел ей в лицо.

«Кажется, я уже все знаю…»

Несколько мгновений они прислушивались к дыханию спящей малютки.

«Чудесно, — сказал он, — нехорошо, когда в семье только один ребенок».

Вскоре ему повысили оклад. Они все тщательно подсчитали и решили еще до рождения второго ребенка взять домашнюю работницу.

«Не более чем на два часа ежедневно», — сказала Маргит.

И тут нежданно-негаданно в доме очутилась Криста. Вначале они и не представляли себе, как ее прокормят, вознаградят за труд и где найдут для нее место в маленькой квартире. Но они привыкли к невозможному и чувствовали, что Криста им подойдет. Комнатка на чердаке многоквартирного дома была очищена от хлама. Криста чувствовала себя счастливой, когда стирала белье, стояла в очереди в магазинах, терла шваброй пол. Она восторгалась врачом, привязалась к Маргит и скоро стала активной участницей всего происходящего в доме.

Херберт часто заходил посоветоваться с доктором Людвигом. Он хорошо относился к Кристе, а ей доставляло удовольствие расспрашивать его, как идут дела, так как он просто объяснял трудные, малопонятные для нее вещи.

Когда Маргит помогала мужу во время опытов, Криста чистила картофель и думала, добьются ли они успеха. Херберт говорил, им нужен цейсовский объектив. Как они его раздобудут? Сегодня я приготовлю доктору его любимое блюдо.

В конце 1952 года наступил очень важный для них день. Врач и рабочий сконструировали и изготовили киносъемочную камеру, с помощью которой можно было на специальной пленке получать снимки непосредственно с экрана рентгеновского аппарата — 24 изображения в секунду. Они сделали первую киносъемку работающего сердца, текст к отдельным кадрам писали Херберт, доктор Людвиг и его жена. Они все закончили к трем часам утра, Криста несколько раз варила кофе. Но теперь снятый фильм должна была размножить копировальная фабрика ДЕФА[11]. Доктор Людвиг поехал в Берлин. Сотрудники ДЕФА качали головами: им потребуется от двух до трех недель. Но хирургический конгресс, где должен был демонстрироваться фильм, открывался утром следующего дня. И они работали всю ночь, а врач не стесняясь всячески их подгонял.

Людвиг прибыл точно к открытию конгресса. Но времени для подготовки доклада уже не оставалось. Пока выступал предыдущий оратор, он делал необходимые заметки. Оказавшись на трибуне, он не мог их найти. Людвиг говорил, а Херберт слегка дрожащими руками демонстрировал перед учеными впервые снятый большой фильм о работающем сердце. Внезапно Херберт почувствовал, как обмерло его собственное сердце. Пленка не перематывалась, как было предусмотрено, на вторую катушку, а сорвалась с нее и покатилась в зал конгресса. Херберт знал, как много зависит от того, сумеет ли врач показать конгрессу результаты своей работы. Но позволить легко воспламеняющийся пленке беспрепятственно катиться по залу было более чем легкомысленно. Пленка вздувалась, спиралью скользила между рядами кресел, многие курили. Херберт бежал вслед за пленкой шепотом умоляя делегатов конгресса: «Пожалуйста, не курите, пожалуйста, не курите!»

Эти ученые не принимали в расчет ни одержимости доктора Людвига, ни долгих ночей, отданных этой работе, ни ожесточенной борьбы, с которой она была связана, ни материальных лишений, здесь принимался во внимание только результат. Отныне можно будет распознавать пороки сердца, определять, в какой стадии они находятся, возможна ли еще операция и как именно надлежит к ней приступать. Они видели перед собой подвиг новатора. И открыто высказывали свое уважение и восторг.

Врач, бледный от бессонной ночи, слышал продолжительные аплодисменты, но склонился только перед одним человеком в зале — перед своей женой. Он благодарил ее за умение сохранять спокойствие в трудные времена, за всегда хорошее настроение. В соседней комнате Херберт пытался скрыть слезы радости и бился

над окончательно перепутанной пленкой.

Когда Криста узнала, как проходил конгресс, она с облегчением подумала: наконец-то мы впервые обретем покой. Но она заблуждалась. Теперь доктор Людвиг оперировал собак. Жена, ожидавшая через несколько недель третьего ребенка, ему ассистировала. Операциям на собаках сопутствует тяжелый запах, животные сильно кровоточат. Маргит вынуждена была подолгу стоять и крепко прижимать пальцем рану.

В 1953 году заведующий отделением доктор Людвиг провел первые операции на людях, страдающих болезнью сердца. Ему очень хотелось съездить в научную командировку в Советский Союз, где в области хирургии сердца был достигнут огромный прогресс.

Теперь началась борьба за больничные койки. В просторных помещениях больницы он всегда вынужден был класть своих больных туда, где оказывалось свободное место. Он не имел постоянного ассистента. Было чрезвычайно трудно получить операционный зал на целый день, если для этого приходилось откладывать другие срочные операции, требовавшие меньше времени.

В одно из воскресений, летом, они все пошли в парк. Сидя на скамье, Криста легонько покачивала ногой детскую коляску и пришивала разноцветные узелки к воротничку на платьице Сибиллы. Маргит вязала свитер для Кристы и одновременно вместе со второй дочуркой заглядывала в детскую книжку с картинками.

Сибилла унаследовала от отца черные глаза, а от матери светлые волосы, у двух же других дочерей были голубые глаза матери и темные волосы отца.

Доктор Людвиг сел подле жены и искренне восхищался лежавшей в коляске малюткой. Сибилла ревниво вскарабкалась к отцу на колени. Она была резвым ребенком, вскоре затеяла с отцом игру на детской площадке, и трудно было сказать, кто из них больше шумел и буйствовал. Когда они слишком расшумелись, Маргит попросила их вести себя спокойнее, так как малышка уснула. Людвиг послушно вернулся на скамью. Первой Херберта увидела Сибилла. Она кивнула и окликнула его. Он медленно двигался, опираясь на палку. Доктор Людвиг многое отдал бы, чтобы сделать снова молодым это усталое сердце, отданное людям. Они потеснились, усадили возле себя Херберта, тепло приветствовавшего детей. Херберт обратил внимание на то, как шьет Криста: один за другим быстро возникали голубые и красные узелки.

«Какие у тебя умелые и ловкие руки, к тому же ты умная

девушка, и как досадно, что все это пропадает на кухне».

Обращаясь к доктору, Херберт сказал: «Ей надо быть операционной сестрой».

«Наша Криста?» — спросил доктор Людвиг с таким изумлением, будто Херберт предложил ему учить латыни грудного ребенка.

Приносят завтрак. Входят две сестры, чтобы увезти Биргит. Они надевают на нее операционную сорочку и укладывают ее на передвижную койку. Биргит кивает женщинам:

— Я скоро вернусь.

Марианна к завтраку не притрагивается.

— Вы никому этим не поможете, — говорит Криста, — ешьте спокойно. Кроме того, пока ребенка начнут оперировать, пройдет немало времени.

Пока Марианна пытается проглотить чай с хлебом, Биргит лежит в предоперационной. Здесь абсолютный покой. Никому не разрешается кашлять или громко разговаривать. На виду должно быть как можно меньше инструментов, так распорядился профессор. Он заставил сестер навсегда запомнить слова одного знаменитого врача: показывать больному инструменты все равно что начать подвергать его пытке.

Доктор фрау Розенталь стоит у края стола и держит резинового барашка перед глазами Биргит, чтобы та ясно видела хорошо знакомый, близкий ей предмет. Она дает ей понюхать наркотическое средство, гладит ее темные волосы и спокойным тихим голосом спрашивает, есть ли у Биргит куклы, всегда ли барашек послушен и как его зовут.

Биргит начинает рассказывать.

Врач спрашивает: «Ты немного устала?»

«Нет».

«На каком боку ты любишь спать?»

«На животике, а мой Петер…» — У Биргит слипаются глаза…

— Биргит дадут наркоз, и она заснет на полуслове, — говорит Криста, — она не почувствует боли, а после операции получит болеутоляющие средства.

— Вы ко всему этому уже привыкли!..

Привыкла? Никогда.

У Кристы в тот раз не хватило мужества всерьез задуматься над словами Херберта, но доктор Людвиг, чей темперамент не допускал неопределенности, однажды сказал: «Завтра поедешь со мной в больницу и посмотришь, как я оперирую».

Ночь она провела почти без сна в страхе, что во время операции ей станет дурно.

Утром он взял ее с собой в машину. Когда она получала белый халат и пахнущие дезинфекцией резиновые перчатки, ей сделали замечание. Неужели ей неизвестно, что в операционном зале под халатом нельзя носить ничего шерстяного? Она получила маску, которая закрывала все лицо и оставляла свободными только глаза. Когда полная страха и с трудом переводящая дыхание она стояла в умывальной, туда вошли врачи. Это походило на кукольный театр: шесть врачей в одинаковых халатах, с одинаковыми масками на лице стояли перед шестью одинаковыми тазами и одинаковыми движениями мыли руки. И в этом ряду она была седьмой.

В предоперационной больная уже лежала на столе. В ужасе Криста подумала: «Еще и это — ребенок!»

Перед ней стоял доктор Паша. Его настоящее имя она никогда не научилась выговаривать. Он приехал из Ливана, и так называли его все. Доктор не обижался, потому что знал, что все его любили.

Криста увидела: хирург взял нож и без колебаний, словно перед ним лежала деревяшка, сделал разрез на ноге выше стопы.

Ей сразу же стало дурно, и она подумала: никогда не будешь ты медицинской сестрой, один этот маленький разрез так на тебя действует, при операции ты присутствовать не сможешь.

Доктор Паша копался в ране, что-то выискивал. Криста даже обрадовалась приступу обморочной слабости, доказывающей ее непригодность. Она смутно и расплывчато видела круглые черные глаза доктора за очками в роговой оправе, и совсем издалека прозвучал его добрый голос: «Взгляните, это вена. — Он поднял ее пинцетом. — Теперь я надрезаю».

Она никак не могла себе представить что можно надрезать эту вену, тонкую, как веревочка. Ей хотелось увидеть это, пока она еще не потеряла сознание. Надрез действительно удался, но даже эта тонкая трубочка туда ни за что не войдет. Доктор Паша дважды тщетно пытался это сделать. Боже, что будет, если ему это не удастся, ведь там, рядом, больную ожидают другие врачи. Может быть, он волнуется? Но Паша не волновался. Он что-то сказал сестре, и она вошла с еще более тонкой трубочкой. И снова безрезультатно. От напряжения Кристе захотелось засунуть в рот большой палец — дурная привычка, оставшаяся с детских лет, — и лишь тогда она заметила, что у нее на лице маска. Наконец трубка проскользнула внутрь. Паша объяснил: «Первое время после операции эта трубочка останется в вене, она будет, так сказать, пищеводом для всех лекарств, вводимых через кровь в организм. Сейчас больной через трубочку вспрыснут вызывающий онемение яд кураре, когда-то умные индейцы смазывали этим

ядом кончики своих стрел».

Дыхание малютки замедлилось, а затем вовсе остановилось. Доктор Паша тут же через рот ввел в дыхательное горло тонкую резиновую трубку и включил аппарат искусственного дыхания. Криста видела, как снова поднимается и опускается грудная клетка.

И лишь тогда ей пришло на ум, что все это только безобидное начало и главное ждет ее впереди.

Паша приветливо смотрел на нее. Поразительно, думала она, когда все лицо закрыто и видны лишь глаза, можно лучше узнать характер и настроение человека, чем когда видишь все лицо.

Врач сказал: «Вам лучше войти в операционный зал после того, как будет вскрыта грудная клетка. И все время глубоко дышите».

«Нет, — отвечала Криста, к немалому своему удивлению, — я пойду вместе с ней». Она шла рядом с каталкой, которую двигали в операционный зал.

У малютки были золотистые косы и длинные темные ресницы. Впереди у нее не было зуба, возможно, когда он выпал, мать подарила ей по этому случаю монетку. Так было у одной подружки Кристы, и она страшно той завидовала. Тетка никогда ее не баловала. Монетка в пятьдесят пфеннигов за первый выпавший зуб осталась для Кристы символом теплоты и надежности, тоски и мечты. Сейчас Криста шла рядом с каталкой. Эта девочка не может умереть, она обязательно должна выздороветь.

Заведующий отделением и четыре хирурга стояли вокруг больной, протиснуться между ними Криста не могла. Она наблюдала за операционной сестрой, подававшей множество инструментов и все время вдевавшей в иглы нитку. Криста думала о своем шитье, воротничке для Сибиллы, бывшем всему виной. Никогда не достигнет она мастерства, каким владела эта сестра.

Заведующий отделением впервые поднял глаза и заметил, что Криста не видит, как идет операция.

«Лестницу для Кристы», — бросил он и тут же весь сосредоточился на операции. Кто-то притащил лестничку из четырех ступенек. Криста взобралась наверх, должна была пригнуться, чтобы что-либо увидеть, ей не за что было ухватиться. Совсем близко висела большая операционная лампа с рукояткой. Но она вовремя сообразила: если ее коснуться, лампа закачается и не будет ровно освещать операционное поле.

Теперь грудная клетка малютки была широко открыта. Это позволяло заглянуть внутрь. Снаружи видно было только

операционное поле, окруженное серо-зеленой марлей. Врачи работали очень сосредоточенно, и даже непосвященный чувствовал, насколько движения и мысли одного согласованы с мыслями и движениями других. У нее возникло ощущение, что, если здесь сойдутся двое не понимающих друг друга, им нельзя вместе оперировать.

Мысль, что она когда-нибудь сможет принадлежать этому коллективу, показалась ей слишком дерзкой. Было нечто особенное в том, что она могла видеть все происходящее. Она чувствовала торжественность этой минуты и была глубоко взволнована. Она еще не знала, что через несколько мгновений произойдет событие, которое станет одним из самых глубоких переживаний за всю ее жизнь.

Какой-то инструмент был введен в открытую грудную клетку, раздвинуты ребра… Она отвела взгляд, для нее это было чересчур. Она не заметила, как рядом с ней оказался Паша. Он коснулся ее плеча и тихо сказал на своем своеобразном немецком: «Криста, пожалуйста, смотрите».

Она подняла глаза и увидела, как бьется живое человеческое сердце.

Ребенок лежал недвижим в глубоком беспамятстве, но сердце его продолжало биться. Обнаженное и беззащитное, оно взывало к врачам об исцелении.

Криста подняла руки в непривычных белых перчатках, чтобы вытереть слезы — она не смогла добраться до слез…

К этому не привыкнешь никогда, никогда, даже если изучаешь эту профессию семь лет — любишь ее, — а теперь уже, может быть, больше не…

На этот раз Криста без маски, но слез она не вытирает.

На улице грохочет тяжелый грузовик. На стене над пустой детской кроваткой мелькают светлые зайчики.

— Криста! — Марианна видит лишь короткие черные волосы на подушке.

— Сейчас, — говорит Криста, пытаясь взять себя в руки; за это «сейчас» Марианна и полюбила ее.

Хорошо водителю этого грузовика, он здоров, возможно, насвистывает песенку.

Наступает тишина, затем Криста тихо говорит:

— При первой операции, которую я наблюдала, больная находилась в тяжелом состоянии. Это была девочка чуть постарше Биргит. Хотя я в этом еще ничего не смыслила, у меня во время операции было ощущение, что все опасались за ее жизнь. Хирурги выглядели озабоченно и все время следили за аппаратами, контролирующими работу сердца. Я сошла с

маленькой лестницы, на которой простояла три часа, и подошла к врачу-анестезиологу, стоявшему за занавеской. И я вновь увидела лицо этой девочки. Оно было таким белым, каким я никогда не видела человеческое лицо. Лишь под закрытыми глазами лежали тени. Я никогда не видела цвета ее глаз. Одна коса расплелась и свисала со стола. Все внимание молодого анестезиолога было сосредоточено на ребенке и аппаратах. Я даже не осмелилась с ним заговорить. Я слышала, как профессор — тогда он был еще заведующим отделением — давал указания. Его голос показался мне чужим.

Вдруг он зарычал: «Пожалуйста, поживее, господа!»

Это прозвучало страшно. Не помню, чтобы он когда-нибудь говорил «поживее» и «господа». Ведь это были его сотрудники и друзья. У меня становилось все тяжелее на сердце. Потом мне показалось, что взгляд анестезиолога стал менее напряженным. Но полной уверенности в этом не было. Он взял волосы ребенка в свои руки и начал их заплетать. Он заплел их до самого конца, и я знала, что дитя будет жить, иначе он бы этого не делал, это было бы бессмысленно. Все одновременно заговорили, дребезжали инструменты, текла из крана вода, кто-то смеялся… У ребенка были голубые глаза.

«У нее голубые глаза, — прошептал Карл, впервые увидев свою дочурку, — дорогая, дорогая моя».

Тогда они жили уже вблизи Балтийского моря в деревне Энгельдин, очень походившей на город.

К началу школьных занятий они украсили зал осенними цветами. По-праздничному одетые родители, школьники и учителя сидели на светлых полированных скамьях. Карл, будучи заместителем директора, произнес вступительное слово. Во время его речи несколько раз аплодировали. Марианна сияла от гордости.

Директор, пожилой человек, чрезвычайно далекий от всяких нововведений, охотно передал своему заместителю бразды правления. Все школьные дела Карл и Марианна обсуждали дома. В их браке не было места скуке. Она была слишком неопытна, чтобы давать Карлу дельные советы, но она была нужна ему в качестве слушателя. Порой Марианне хотелось, чтобы он не воспринимал все так серьезно, не придерживался столь педантично установленных правил, а также не заботился так сильно о том, что скажут люди.

Она очень ценила в нем то, что он постоянно ей помогал. Он проверял ее подготовку к занятиям, посещал некоторые ее уроки, критиковал ошибки. Как-то она плохо себя чувствовала и,

выслушав его, расплакалась. Впервые увидев на ее глазах слезы, он испугался, приласкал ее и сказал: «Ты уже многому научилась, но именно потому, что ты моя жена, я как директор не могу проходить мимо недостатков в твоей работе, хотя бы из-за других учителей».

Она подумала тогда, что он прав.

Вскоре после этих слез выяснилось, что она ждет ребенка. Возможно, эти месяцы их брака, когда они так радовались малютке и Карл трогательно о ней заботился, были самыми счастливыми.

После нелегких родов она узнала о том, что у нее порок сердца. Ей посоветовали показаться специалисту. Но сразу это почему-то не получилось. Карл гордился своей красивой, крепкой дочуркой. Когда он строил воздушные замки для крошки в детской коляске, Марианну обычно трогал его пыл. Иногда же он рассуждал конкретнее и настаивал: Катрин, которой теперь исполнилось три месяца, будет учиться в вузе.

Марианна возражала: «Пусть свободно развивается, не вмешивайся, она не искусственно выращиваемое деревцо, а человек».

Марианна продолжала работать. Ее квартира находилась на самом верхнем этаже школы. Детская коляска стояла на балконе. Когда Катрин сильно кричала, Марианна во время урока спешила наверх, и, если при этом задыхалась, винила во всем лестницу. Второй раз она кормила Катрин во время большой перемены. Карл предпочитал домашние обеды, и она готовила их ему после уроков. Он очень любил пунктуальность. Когда, желая избавить мужа от долгих ожиданий, она начинала в спешке суетиться, он упрекал ее за недостаточную организованность.

Однажды летним вечером незадолго до каникул они пододвинули стол как можно ближе к окну. Она кормила ребенка, Карл готовился к завтрашним урокам. Тетради ее учеников лежали в ящике письменного стола. До них у нее руки доходили всегда значительно позднее, чем у Карла. Теплый воздух, напоенный ароматом цветов из всех окружающих садов, легкие облачка в небе, золотисто-коричневая кожа ребенка, его ручонка на ее груди, Карл в сорочке с открытым воротом, его взгляд, когда он смотрел на нее и ребенка, — день мирно клонился к вечеру.

Позвонил телефон, и Карл вышел из комнаты. Когда он вернулся, она вопрошающе посмотрела на него.

«Ничего особенного».

По его виду она поняла, что сообщение было важным.

Катрин лежала в своей кроватке с разрумянившимся от еды

личиком. Марианна готовила ужин. Подле деревянной дощечки лежали четыре помидора. Она достала ножик-пилку из ящика кухонного стола.

Дитя уже крепко спит, я тоже устала, но мне еще необходимо подготовиться к завтрашним урокам. Карл ходит по комнате взад и вперед — расскажет ли он мне о телефонном звонке, я ему всегда все говорю. Мне нужна луковица. До подвала две лестницы, когда вернусь, буду кашлять, но Карл что-то обдумывает, разве я могу беспокоить его из-за какой-то луковицы? Как это прекрасно — слышать ровное дыхание Катрин, но вот входит Карл, теперь он заговорит об этом.

Он стоял у двери, ведущей на кухню, она обернулась и кивнула.

«Дорогая, этот недавний звонок был от Пауля из отдела народного образования; он предлагает — собственно, они почти все решили, но я это сделаю, только если согласишься ты: меня посылают на годичные курсы усовершенствования в Берен в Фогтланде».

Марианна берется за третий помидор… Одна в квартире, одна с ребенком, одна в школе, одна по ночам, А нож в ее руке режет, режет, режет…

Первые недели разлуки были самыми тяжелыми, так как к тоске прибавился еще страх, что она без Карла не справится со своими школьными делами. Ее считали хорошей учительницей, никто не знал, как много ей помогает муж. В самом начале учебного года должны были состояться родительские собрания. Она их еще ни разу самостоятельно не проводила.

Она стояла у школьной кафедры с растерянным от волнения лицом, что-то говорила и сидящих перед ней людей видела как в тумане. Постепенно успокоилась. Легко ответила на первые вопросы. Собрание прошло настолько интересно, что родители забыли, как неудобно им сидеть, втиснувшись в школьные парты.

Когда Карл в первый раз заехал домой с курсов, она рассказала ему об этом. Он указал на допущенные ею ошибки, и вся ее гордость тем, что было ею самостоятельно проделано, сразу улетучилась.

«Но ведь тебя же здесь не было», — сказала она вздыхая.

В палату входит сестра Гертруда, направляется к Кристе и склоняет над ее постелью свой большой, скрытый под шапочкой узел волос. Они шепчутся, Криста встает и выходит.

Воспоминания о Карле, неожиданно нахлынувшие на Марианну, причиняют боль, даже если они возникают обособленно, безотносительно к настоящему.

Сегодня у меня нехороший день. Что я этой ночью так красноречиво проповедовала фрау Вайдлих? И кто определяет — хороший этот день или плохой? Почему я теперь лежу здесь и ломаю себе над этим голову? Почему бы мне не выйти в коридор и не взглянуть на аквариум?

В коридоре возле передвижного столика с едой стоят Криста, четыре сестры и молоденькая девушка. В отделении всякие посещения запрещены, но незнакомка на больную непохожа.

После трех дней пребывания среди голых больничных стен аквариум с его разноцветными рыбками, желтым песком, свежими водорослями и неправильной формы камнями радует глаз. Камни — серого цвета. Камешек, который она подобрала возле больницы, розовый. Она возвращается в палату и достает его.

Сестры все еще стоят вместе с девушкой, напоминающей Марианне желтую маргаритку. Криста смеется и обнимает девушку за талию.

Марианна чувствует теплоту зажатого в руке камешка. Она подходит к аквариуму и опускает его в воду. Там он — ее дар — останется навсегда.

На Балтийском море, во, время первого их отпуска после годичной разлуки, они часто прогуливались по пляжу, собирая камни причудливой формы, которые Катрин непременно хотела унести домой в своем ведерке. Жили они в палаточном лагере. Уже в первую ночь Катрин в своем пестром спальном мешке спала таким же крепким и здоровым сном, как дома в своей кроватке.

Палатка стояла за кустами облепихи в лощине у самого моря. По светящимся краям тучи можно было угадать скрытую за ней луну. Карманный фонарик осветил их постель и погас, когда они улеглись.

«До каких лет ребенок спит так крепко?» — спросил Карл.

Марианна рассмеялась, усталая и счастливая: «Тогда мы поставим отдельную палатку специально для Катрин».

Карл уснул так же быстро, как его дочь.

Марианна еще бодрствовала. То ли тучка уплыла дальше, или глаза привыкли к темноте: Марианна увидела ужасающе близко над собой наклонные стены палатки, и они были гигантского размера. Она опустила веки, и тогда стены надвинулись на нее. Она попыталась глубоко вдохнуть, воздух. Дыхание было вязким, как сироп. Осторожно сняла она с плеча руку Карла и села в постели.

Как только она опять легла, все возобновилось.

Теперь стены толстыми, мокрыми полотнами опустились на ее лицо.

Потом кто-то стал коленями ей на грудь и не давал подняться.

Задыхаясь, Марианна вскочила, рывком открыла полог палатки и выбежала наружу.

Прохлада ночи и далекая линия горизонта, видимая и в темноте, успокоили ее. Медленно шла она вдоль берега и села в плетеное кресло с тентом. Лучше ей было бы спать здесь, у моря. Она долго сидела на берегу.

На обратном пути она споткнулась перед палаткой, Карл проснулся. Она рассказала ему, что с ней произошло, и положила голову ему на плечо. Он успокаивал ее, пока дыхание ее не стало ровным.

Днем она позабыла о ночном страхе.

Когда Катрин увидела море, она пошла в воду не раздеваясь, в платье и сандалиях, издавая радостные крики. У Марианны и Карла за время разлуки накопилось много такого, о чем они хотели бы рассказать друг другу, но, когда они оказались вдвоем на морском берегу, все слова словно потонули в песке. Солнце, море и то, что они вместе, делали их счастливыми.

Весь день и даже вечером Марианна не думала о прошедшей ночи, пока с ней не повторилось то же самое. В темной палатке ей нечем было дышать. На этот раз с ней было так, будто она снимала через голову слишком тесное платье и в нем застряла. С какой бы силой она ни тащила и ни дергала с себя платье, сорвать его с лица она не могла. Она боролась молча, но Карл услышал ее тяжелое дыхание. Когда она тихо выбралась из палатки, он последовал за ней и, утешая, обнял. Ночь была прекрасна; босиком, в спортивных костюмах шли они по влажному морскому песку. Карл показывал ей созвездия.

«Мне сейчас так легко, что, кажется, я могла бы полететь».

«Не улетай, дорогая».

Когда они снова лежали в палатке, она крепко прижалась лицом к его плечу и уснула.

Но каждую ночь страх возвращался. Марианна пыталась тихо лежать, пока Карл не уснет, ведь ему необходим был отдых. Каждый раз она старалась покинуть палатку как можно осторожнее, а потом, закутавшись в одеяло, долго оставалась снаружи. Если, просыпаясь, он не находил ее рядом с собой, огорчался, что она его не разбудила, — а может быть, в нем постепенно нарастало раздражение ее поведением?

Теперь она бывала угнетена и днем. Что с ней происходило? Она и раньше часто жила в палатках, но такого страха никогда не испытывала. Карл не раз беседовал с ней спокойно и рассудительно. Она кивала, с трудом сдерживая слезы, готовая

следовать его советам, — и каждый раз в узкой темной палатке повторялось одно и то же.

В одну из ночей он потерял терпение. «Ты прекрасно знаешь, что здесь достаточно воздуха для дыхания, так сделай же усилие». Он крепко держал ее за руку. Она боялась задохнуться, вырвалась, объятая ужасом, и, уже выбегая из палатки, услышала, как он сказал: «Истеричка».

На следующее утро, когда он и Катрин купались в море, она одна шла вдоль пляжа. Ее пугала мысль испортить им обоим этот первый после разлуки отпуск, но она ничего не могла поделать. Каждую ночь она пыталась призвать на помощь разум, думать о других вещах, на короткое время это помогало, а затем возвращались страх и удушье.

«Истеричка».

Карл прав, долгое время он был терпелив и добр, но кто выдержит такое каждую ночь? И все же это слово ее глубоко ранило. Она уходила все дальше от палаток… Это моя вина — я знала, я недостойна Карла, я просто недостаточно для него хороша.

Построенные здесь в море перемычки сильно выветрились. Похожие на причудливые орудия пытки, возвышались над водой их источенные основания с яркими узорчатыми прожилками древесины и верхушками, отшлифованными водой, песком и камнями. На берегу килем кверху лежала рыбачья лодка. Загорелый мальчуган в крохотных застиранных трусиках развлекался тем, что ковырял пальцами в мягкой смоле, скопившейся на поверхности лодки. С задумчивым видом он размазывал по ногам липкую массу. Увидев Марианну, он вместо приветствия улыбнулся; черная масса пробивалась у него даже между пальцами ног. Растянувшись в тени скалы, разгоряченная и усталая, Марианна так живо представила себе, как он наслаждался своей игрой, и решила не мешать ему.

Черная лодка на светлом песке, запахи моря, смолы и водорослей, ребенок, занятый своей игрой, — невзирая на усталость, она почувствовала, что нервы ее успокаиваются. Этой ночью я буду думать о высоком небе, а если стены начнут на меня давить, я просто подниму руки и смогу убедиться, что вокруг меня свободное пространство.

Когда она снова посмотрела в сторону лодки, мальчика там уже не было. Движимая материнским чувством, она прежде всего взглянула на воду, но тут же увидела, что он строит туннель в груде влажного песка.

Линия горизонта простиралась так далеко, море было столь величественно, и огорчение, причиняемое тесной палаткой,

показалось незначительным. Почему это должно омрачать ей жизнь? И тогда впервые она подумала о том, что ощущение страха и удушье, возможно, связаны с ее сердцем. Она решила показаться врачу.

Во второй половине дня они поехали в Росток. Марианна любила жизнерадостную деловитость этого города. Катрин они купили яркое ведерко, разные формочки для песка, а в большом универмаге искали купальный халат для нее самой. Карл настоял, чтобы она примерила перед зеркалом несколько моделей.

«Черно-белый, — сказал он, — тогда твои глаза выглядят еще более золотистыми».

О чем ей, собственно, волноваться? Карл любовался ею, Катрин спокойно сидела на табурете, размахивая своим ведерком, год разлуки миновал, солнце сияло, ее класс хорошо завершил учебный год.

Потом они пошли вместе в книжный магазин. Они любили покупать книги вдвоем, скоро им в доме понадобится новая книжная полка.

А ночью Марианна почувствовала себя еще хуже. Возможно, подействовало и разочарование от того, что ничто не улучшилось — ни приподнятое настроение, ни добрая воля не смогли уменьшить ее страх и отчаяние. В темноте она ходила взад и вперед по пляжу и думала: ведь Карл видит, как я мучаюсь, почему он не предложит подыскать комнату. Почему он ни разу не сказал: бедная девочка, мы ведь можем вернуться домой и ежедневно на велосипедах ездить на озеро. Он просто думает, что я истеричка и ему не следует мне потакать. И тут же она начинала обвинять себя: я эгоистка, вижу вещи только с моих позиций, я порчу ему отпуск, ночи напролет он мучается из-за меня, я не могу требовать слишком многого.

Возвращаясь, она лишь в последний момент заметила, что он сидит перед палаткой, и в страхе отпрянула.

«Завтра же едем домой, я так больше не могу», — сказал он.

«Мы могли бы снять комнату».

«Откуда мне знать, какой спектакль ты выкинешь в комнате?»

Ее сердце забилось так часто, как удары дятла клювом по дереву, и каждое биение причиняло боль.

В аквариуме от стенки к стенке, словно занятые важным и неотложным делом, плавают рыбки. Их не трогают печальные глаза Марианны. Она поворачивается и возвращается в палату.

Доктор Штайгер стоит между кроватями двух пожилых женщин. Он кивает Марианне, улыбается и говорит:

— Скоро и до вас дойдет очередь.

И этого знака внимания со стороны человека, которого она почти не знает, достаточно, чтобы ее настроение улучшилось. Он выглядит так же молодо, как и год назад, когда она лежала в «терапии», и его пристрастие все объяснять ничуть не уменьшилось.

— Итак, ваше сердце бьется слишком медленно, — продолжает он, обращаясь к обеим старушкам, — вы можете ощутить это по ударам пульса. Вместо семидесяти вы насчитаете всего тридцать ударов в минуту. Иногда пульс совсем прерывается, и тогда сердце и кровообращение останавливаются. Мозг ваш очень чувствительный орган, он не переносит отсутствия крови, и вы теряете сознание. Теперь создан электронный аппарат, мы называем его электростимулятором, сейчас вы услышите почему. Он как батарейка, в которую вставлены провода; на концах проводов закреплены электроды. Батарейку — размером она не больше чем полкусочка мыла — мы вшиваем под кожу в брюшную стенку, а покрытые синтетическим материалом провода пропускаем внутри до самого сердца и там закрепляем оба электрода. Если мы теперь подключим провода к батарейке стимулятора, электрические импульсы этого аппарата семьдесят раз в минуту передаются на сердце, и оно работает как тогда, когда вы были молоды.

Ангелика Майер не сразу воспринимает все эти новые диковинные вещи. Фрау Мюллер робко спрашивает:

— Господин доктор, а как это самое удерживается на сердце, смогу ли я двигаться и нагибаться, понимаете, я ведь хочу вернуться к моим грибам?

Врач знает, что слишком медленное питание мозга кровью может повести к известной путанице в мыслях, и именно с этим связывает упоминание о грибах.

— Конечно, вы сможете двигаться, пожалуй, даже заниматься гимнастикой. В наших электродах просверлены два маленьких отверстия, и мы пришиваем их к сердцу, как, ну, скажем, пуговицу к брюкам.

Ангелика пришла в себя:

— В брючной пуговице четыре отверстия, — говорит она.

Доктор смеется.

— Верно, имеются и другие различия. Наши пластинки нельзя прикреплять так просто, как пуговицу, ибо мы должны пришивать их к работающему сердцу, которое ни на секунду не останавливается.

Доктор оглядывает палату. Фрау Вайдлих лежит отвернувшись и к разговору не прислушивается. Он встречает неподвижный от напряжения взор Марианны.

— Выходит, ради нас затрачивается куча денег, — говорит фрау Мюллер.

— Дорого, конечно, стимуляторы мы покупаем на Западе.

— На Западе, — говорит обрадованная этим известием Ангелика и с трудом проглатывает готовые вырваться «тогда все хорошо».

— Мы ввозим их из Америки, в этой области США продвинулись дальше нас, но там вы должны были бы все сами оплачивать: каждую таблетку, каждый укол, каждую перевязку и, конечно, каждую операцию. Во многих больницах стоимость операции исчисляют по количеству затраченного на нее времени. И потому первый вопрос, который задает больной, проснувшись после наркоза: как долго это продолжалось? Впрочем, в Западной Германии страховая больничная касса также не оплачивает стоимость стимулятора — незначительная разница, не правда ли?

Во взгляде Марианны, обращенном на доктора Штайгера, можно прочитать благодарность.

Но Ангелика едва ли услышала сказанное. За себя она теперь почти не волнуется. Если только здешние врачи так же искусны, как те, что там, она снова будет класть печи и баловать своего внука.

— Теперь мы для контроля устанавливаем у вашей постели аппарат, фиксирующий тоны вашего сердца, — продолжает доктор. — Если будет ухудшение, вас немедленно оперируют.

В дверях доктор Штайгер сталкивается с Кристой.

— Вам не следует так много расхаживать.

— Только в коридор. Пришла в гости Элька, — говорит довольная Криста, — она принесла свой школьный аттестат, средний балл 1,7.

— Неплохо, профессор будет рад, — замечает доктор Штайгер, покидая палату.

Когда Эльку положили в больницу, ей было одиннадцать лет. На ее отливающее синевой маленькое личико было страшно смотреть. Рот был открыт, она все время жадно ловила воздух.

Такие тяжелые формы болезни очень обременительны для врача. Он изучает рентгеновские снимки и данные катетеризации сердца и знает, что в принципе больной уже перешагнул определенную грань и теперь уже неоперабелен. Но не сделать операции значит предоставить больного его судьбе.

Если же врач, ознакомившись со всеми данными, решает оперировать, то риск, который он берет на себя, как бы связывает его с незнакомым до этого больным. Затем он сам лично его обследует и, возможно, устанавливает, что состояние больного

еще хуже, нежели он полагал ранее на основании имеющихся данных. И тогда он должен еще раз сызнова принять решение. Он консультируется со всеми врачами отделения сердечной хирургии во время ежедневных служебных совещаний. Если у него достанет мужества вторично сказать «да», а операция не удается, он может себя утешить: это была лишь попытка, мы с самого начала знали, что идем на риск. И все же неудача подавляет и угнетает врача.

Что же касается Эльки, профессор сразу же по ознакомлении с историей ее болезни решительно высказался против операции. Случай выглядел исключительно тяжелым. Девочке сказали, что в операции нет нужды и она скоро вернется домой. Элька попросила разрешения поговорить с профессором. Когда он подошел к ней, она окинула его спокойным взглядом и сказала: «Почти всю свою жизнь я провела в постели. Когда мне становилось немного лучше, мне разрешали сидеть у окна и смотреть на улицу, где играли другие дети. Теперь я уже давно не была у окна. Почему вы не хотите меня оперировать?»

Профессор погладил ей руку и ответил:

«Моя дорогая, одним больным нужна операция, другим больше помогают уколы и лекарства».

Ребенок впился в него глазами, профессор едва выдержал этот полный укоризны взгляд, а девочка со зрелостью больного, знающего свою участь, ответила: «Уколы и лекарства я получала достаточно долго, они мне не помогают, я знаю, что без операции я должна буду умереть, так что вы спокойно можете меня оперировать».

Профессор задумался и потом сказал: «Мы пригласим твою мать и вместе с ней все обсудим».

Ее мать была вдовой. Она сидела напротив профессора, смотрела на него тем же спокойным взглядом, какой был свойствен Эльке, и наконец спросила: «Какова вероятность, что ребенок после операции будет жить?»

«Пять процентов».

Мать долго молчала, потом сказала: «Я знаю, если операции не будет, Элька умрет, следовательно, у нее будет шансов в пять раз больше, если вы ее прооперируете, господин профессор, и я очень прошу вас об этом».

Некоторые утверждали, что профессор оперирует слишком много, и, когда серьезные операции следуют одна за другой, персоналу не под силу с ними справиться. Если операция не удавалась, переживал весь коллектив отделения и сам профессор бывал крайне удручен, В такие дни Криста звонила домой его жене и говорила: «Сегодня было уже слишком». Тогда Маргит

заботилась о том, чтобы к приходу отца дети еще бодрствовали.

Когда доктор Штайгер узнал о решении профессора оперировать Эльку, он спросил: «Разумно ли затрачивать силы, средства и нервы в случае почти безнадежном?»

«Конечно, нам нужны только перспективные операции, — ответил профессор, — это было бы великолепно для нашей статистики и потребовало гораздо меньшего напряжения сил. Но если есть хотя бы малейший шанс остаться в живых, каждый больной имеет право этот шанс использовать».

— Элька была нашей любимицей, — говорит Криста, — между прочим, она лежала на вашей кровати.

— Учителя не должны иметь любимчиков, я полагала, так же обстоит и у вас. — Марианна улыбнулась.

— Мы не имеем права отдавать кому-либо предпочтение, но к некоторым чувствуешь особое расположение. Вы не представляете себе, как внимательно следят больные за тем, сколько времени врач, сестра и прежде всего фрау Хольц остаются у постели других больных, и, если чувствуют себя обойденными, обижаются, как дети. В принципе каждый больной думает, что он болен особенно тяжело.

Такой глупой я не буду, решает Марианна.

— В моем классе я тоже не всех люблю одинаково, — сказала она. — Удивительно, в начале учебного года мне больше всего нравятся дети, с которыми не испытываешь никаких трудностей, а нарушители спокойствия приводят меня в отчаяние. Но если вы учили их четыре года подряд, расставание с детьми, причинявшими много хлопот, особенно трудно. Возможно, потому, что с ними приходилось больше заниматься. Вот был у меня Фриц Кюне: вертелся на парте, дрался, на вопросы отвечал глупо и дерзко, его непричесанная растрепанная голова находилась в постоянном движении, вслед за ним начинали шуметь и другие — три недисциплинированных ученика могут испортить целый класс. Я еще не выставляла отметок, это было в самом начале первого учебного года. На третьей неделе он впервые прилично выполнил домашнее задание. «Просто шутки ради», — объяснил он. В его тетради было полно загнутых углов и чернильных клякс. Написанные им двойки и тройки имели слишком крупные головки и, казалось, вот-вот должны перекувырнуться. И вдруг он показал, на что способен. Я решила в тот день особо похвалить детей, хорошо выполнивших домашнее задание, и попросила их выйти с тетрадями к доске.

Один ребенок не мог найти свою тетрадь, четверо помогали ему в поисках, другой был слишком робок, чтобы выйти вперед,

третий опрокинул стул. Фриц тут же заявил: «Фрейлейн, это не я». Наконец мне удалось собрать их у доски, но в это время шумели и вертелись все остальные. Эти шестеро выстроились перед классом в одну шеренгу. И вот ты, учительница, сидишь среди этого гула голосов и говоришь как можно громче, чтобы тебя слышали: «Я жду, пока вы успокоитесь». Шум медленно стихает, становится все слабее, пока двое последних не замечают, что разговаривают только они. И тогда наступает мгновение полной тишины. Его нельзя пропустить, ты ждешь еще несколько секунд, пока тишина окончательно не установится, но нельзя ждать слишком долго, а то тут же снова начнутся разговоры.

Теперь я могла начать.

«Ребята, которые стоят у доски, — сказала я, — лучше всех выполнили домашнее задание. Остальные тоже хорошо поработали, но взгляните на эти тетради. Поднимите тетради высоко и так, чтобы все их видели». — Трое ошиблись и показали классу голубые обертки тетрадей. Фриц сделал правильно.

«О-о», — пронеслось по классу. Малыши, стоящие впереди, были полны гордости и в то же время смущены, даже мой Фриц вел себя в эту минуту благоразумно.

Теперь я предлагаю: «Сосчитайте, сколько детей стоит у доски». Их было шесть. «А теперь для верности подсчитайте тетради». Тоже шесть.

«Так, теперь вы шестеро садитесь на свои места, и мы все вместе напишем новое число. Как вы думаете, какое именно?»

На доске я вывожу шестерку.

Позднее, когда они уже знали все цифры, я однажды спросила: «Какую цифру вам больше всего нравится писать?» Первым ответил Фриц: «Шестерку».

Возможно, вы мне не поверите: в моем классе было двадцать восемь детей, и всех их я любила, от отъявленного шалуна до маленькой примерной ученицы. — Марианна внезапно смолкла. — Впрочем, это мелочи.

— Я думаю, это любовь к профессии.

И этой любви к профессии Карл почти лишил ее, хотя и помогал ей.

В его отсутствие она опекала учительницу-практикантку. Робкой и нерешительной приехала в Энгельдин Герда. За день до ее приезда Марианна заглянула в комнатку на чердаке школы и нашла ее неуютной. Из цветной материи она сшила занавески на маленькие окна и поставила на стол цветы.

Руководя работой Герды, Марианна обнаружила, как много дала ей педагогическая деятельность в школе. Поскольку Карл

был на курсах, ее жизнь очень скрасила эта девушка, которая была на два года моложе ее. Приятно было и то, что Герда относилась к ней с уважением, спрашивала совета и к ней привязалась.

Герда зашла еще раз, когда Карл уже вернулся с курсов. Марианна познакомила его с ней, даже с чувством некоторой гордости, словно представляя плоды своего труда. Она попросила Карла побывать на уроке, проводить который ей помогала Герда. Марианна начала его приветливо, спокойно и уверенно, как всегда, когда работала с детьми. С методической точки зрения она это занятие подготовила особенно тщательно. Карл много раз прерывал ее, она покраснела, сбивалась и с трудом закончила урок. Герда сидела при этом несчастная и смущенная, дети также почувствовали напряженную атмосферу в классе.

Позднее она пыталась объяснить Карлу, в какое затруднительное положение он ее поставил и как сильно обидел. Он не понял и сказал, что всегда критикует ошибки, и почему он должен именно ей отдавать предпочтение? Ее глубоко задело, что он и впоследствии так ничего и не понял. Почему он в этом отношении оказался столь нечувствительным, ведь он вовсе не был толстокожим? Она наблюдала, как делались влажными его глаза, когда он говорил о вещах, которые его волнуют, например о звездах.

И вновь она простила его. Разве не бывает, что то или иное высказывание воспринимается близкими как грубая бестактность и равнодушие, а виновный об этом и не подозревает? Нет ли в душе у каждого таких сторон, которые особенно чувствительно реагируют на те или иные вещи?

Сегодня она поняла: ей трудно было по-настоящему овладеть своей профессией, так как Карл лишил ее уверенности в себе.

Любовь к профессии… Криста крепко сжимает пальцами холодные металлические прутья кровати. Громко завыть, отшвырнуть подушки, затопать ногами! Но она уже не ребенок, а сохранять самообладание — это важнейшее правило людей ее профессии.

— Случилось что-нибудь, Криста? — Марианна склонилась над кроватью своей соседки по палате.

У Кристы короткие густые волосы. Она делает движение головой, словно отряхивается вышедшая из воды собака.

— Снова рецидив, — говорит она, печально улыбаясь. — Когда я училась, хотела все бросить, врач был со мной груб, и вообще все мне давалось с большим трудом. Как раз в эту пору я познакомилась с Хансом, и он рассказал мне кое-что, о чем я

часто думаю и сейчас. Он говорил об одном австралийском писателе. Его звали Аллан Маршалл. У него был поразительный характер. Это инвалид, который никогда не сдавался. Ему действительно удалось победить свой тяжкий недуг. В его автобиографии есть такие слова: «Никогда не сдавайся, и ты никогда не будешь побежден». Тогда это здорово мне помогло. И понимаешь, такой была и моя маленькая Элька, иначе она бы никогда не выкарабкалась. Такой же в своей области и профессор, без его мужества и оптимизма многие операции не были бы осуществлены.

Она сразу перешла с Марианной на «ты».

«Никогда не сдавайся, и ты никогда не будешь побежден», — думает Марианна. И все же существуют еще люди, утверждающие, что чтение книг всего лишь бесполезная трата времени. За каждой книгой стоит человек, и потому книга может так же, как и человек, прийти на помощь. Этот писатель живет далеко от меня и, конечно, вырос в совершенно иной среде. В Австралии живут кенгуру, растет девственный лес, и там мало воды. Но слова эти звучат так, словно он сидит здесь, у моей кровати, и специально для меня их придумал…

— Я и сейчас не сдаюсь, — говорит Криста, — во втором полугодии моего пребывания на пенсии я хочу изучить стенографию и машинопись, тогда профессор возьмет меня секретарем.

— Замечательно, — говорит Марианна, — почему ты сразу это не рассказала?

— Потому что я чувствую себя как матрос, списанный на берег и ставший докером в гавани.

— Но ты ведь остаешься с капитаном.

— Да, с капитаном, но уже не в одном строю.

В 6 часов 45 минут Криста стояла в помещении перед операционным залом и мыла руки. При болезни Фалло операция длится около трех часов. Надо надеяться, вчера профессор не слишком поздно лег спать. Своей научной работой он занимался только дома. Она знала, как он страдал от того, что у него почти не оставалось времени для своих детей. Криста помнила инцидент с его старшей дочерью. Обычно веселая и неугомонная, Сибилла стала вдруг плаксивой и строптивой, когда пошла в школу. Родители тщетно искали причину и начали волноваться. По воскресеньям Сибилла тихонько забиралась в кресло отца и там сидела. Иногда он оборачивался, гладя ее щечку, порой он о ней забывал — так тихо, притаившись, сидела она за его спиной.

Однажды учительница пригласила мать в школу. К делам

школьным профессор относился серьезно. Он пошел вместе с женой, и они узнали следующее. Малышей попросили рассказать, как они проводят с родителями субботу и воскресенье. Девочки и мальчики рассказывали, Сибилла руки не подняла. Когда ее вызвали, она угрюмо стояла у парты и молчала.

«Расскажи нам, чем ты вместе с отцом и матерью занималась в субботу или в воскресенье?» — ободряла ее учительница.

Сибилла подняла глаза и громко на весь класс крикнула:

«У меня вообще нет отца, мне нечего рассказывать, у нашего папы для нас нет времени!»

Сестра Криста вынула из раковины упавший туда кусок мыла.

Надо надеяться, доктору Юлиусу, который простудился, теперь получше. Надо надеяться, возвратилась из поездки жена Паши; свою умную и нежную подругу жизни он называл «мой жандарм», но каждый раз, когда его жандарм находился в отъезде, видно было, как ему ее не хватает. Паша помог Кристе преодолеть тяжелое впечатление от первой операции. Он был добрым человеком, возможно, слишком мягким. Она видела на его глазах слезы, когда он узнавал плохое о человеке, которого ценил. В ночь под Новый год он в остроконечном бумажном колпаке над сияющим лицом пел на тирольский лад и увлеченно танцевал, а потом неделями мог вспоминать об этом событии. Он славился своим кулинарным искусством. Последний рождественский вечер Криста вместе с ним дежурила в больнице. Он часто изъявлял готовность работать в неудобную для других смену. В тот раз он на больничной кухне приготовил свое отечественное блюдо «Паша II». Были приглашены все сестры, лаборантка и судомойка. Никто не мог выговорить названия приготовленных им блюд, поэтому все лучшие его творения на кулинарном поприще перенумеровали и назвали Паша I, II и III.

Он был единственным врачом, позволявшим себе отпускать легкомысленные шуточки в адрес медицинских сестер. Никто на него не обижался, а его ломаный немецкий еще больше развлекал присутствующих.

Паша мог без всякого почтения вышучивать то, что казалось ему забавным, не делая исключения и для политики. Некоторые говорили, он коммунист, но от немецких товарищей Криста никогда не слышала таких острот. Он любил страну, в которой жил, и защищал ее от несправедливых нападок. Если же он отвечал: «Я здесь только гость», его друзья знали, что он сам обнаружил нечто заслуживающее критики.

Но главное, это был умный и искусный, бесконечно увлеченный своей работой хирург, обладающий собственным мнением, упорно возражавший даже профессору, если был

убежден в своей правоте. Его глубокие знания и интеллект не раз выручали коллектив в трудную минуту.

Операционные сестры любили дежурить, когда в отделении находился доктор Паша. Их помещение было рядом с ординаторской. Когда ночью сестра отдыхала на кушетке, она слышала, как Паша, полагавший, что он здесь совсем один, поет, и засыпала под печальные песни его далекой родины.

Если ночная смена Кристы совпадала с дежурством доктора Паши, она часто бодрствовала, так как ей нравилось беседовать с ним. Он ходил взад и вперед по комнате, смотрел на нее сквозь круглые стекла очков в черной оправе и излагал свое мнение о хирургах, делающих операции на сердце. «Флегматичных хирургов-сердечников просто не существует. Мы должны реагировать исключительно быстро, двухчасовая операция на сердце требует такого напряжения, что многие врачи его не выдерживают. Часто во время операции на принятие решения отводятся секунды, и врач знает: если я решу правильно, больной будет жить, решу неверно, он умрет. Никто не упрекнет его, если операция окажется неудачной, возможно, и другой путь не спас бы больного, и все же — как он будет держать ответ перед своей совестью? — Паша молчал, словно ожидая, что скажет Криста. — Успех каждой операции решают знания и мастерство, — продолжал он, — но операция на сердце требует, кроме того, еще и очень быстрого темпа. Скорость здесь главное, часто только она помогает избежать опасности. Палец врача всего лишь секунды может оставаться на клапане сердца, аорта может быть зажата только в течение тридцати минут, за это время рана должна быть зашита, аппарат «сердце-легкие» позволяет выключить сердце из кровообращения на два часа».

Криста вспомнила, как профессор однажды сказал: «Каждая выигранная секунда идет больному на пользу». За эту секунду нес ответственность весь коллектив, принимающий участие в операции, и она требовала такого же напряжения, какого требует борьба за доли секунды от спортсмена, бегущего на километровые дистанции.

Доктор Паша развернул свои бутерброды и угостил Кристу.

«Наш профессор, нет, наш шеф, — сказал Паша, — это три разных человека. Один человек дома, другой с больными, третий во время операции. Дома он простой и добрый. С больными полон решимости, великий врач, которому безоговорочно верят. В операционном зале — сущий дьявол».

«В операционном зале все вы…» — Криста проглотила последние слова, их не смела произнести ни одна сестра…

6 часов 55 минут. Криста вынула руки из таза с водой и

опустила в миску со спиртом… Санитар Лотар, в также другие сестры, находившиеся здесь с самого начала, нередко с грустью замечали, что раньше у них было еще лучше, тогда профессор был доступнее и человечнее. К нему можно было обратиться с любым вопросом, и с больными он поддерживал тесный контакт.

Как он помог тогда фрау Геллерт! Ее муж, бухгалтер, с ней разошелся, на развод она согласилась. После операции фрау Геллерт вначале чувствовала себя хорошо, затем вдруг похудела, очень вяло занималась дыхательной гимнастикой, не притрагивалась к пище, ею овладела полная апатия. Она получила письмо, из которого узнала, что ее муж, пользуясь тем, что она в больнице, собирается вывезти из дома всю мебель. Профессор Людвиг, заручившись соответствующими документами, поехал в Дрезден, заставил владельца дома выдать ему вторые ключи от квартиры и привез их больной. С этого момента она вновь стала поправляться.

«Хороший психолог мог бы многое сделать в моей больнице для спасения человеческих жизней, — говорил профессор, — но такая единица не предусмотрена штатом. — Сам же он был слишком занят, чтобы заниматься такими вопросами. — У меня теперь все больше времени уходит на операции. Но каждый раз возникает вопрос, что лучше: прооперировать еще одного больного или улаживать второстепенные детали».

7 часов. Криста вынула руки из миски и опустила в раствор гидрамона, образующий на коже стерильную защитную пленку.

Она вошла в зал, взяла передвижной столик, именуемый в отделении «немой сестрой», и заранее подготовила на нем все инструменты для вскрытия грудной клетки. Отвинтила крышку коробки с пчелиным воском, и вдруг в операционном зале с кондиционером и воздухом, продезинфицированным почти на сто процентов, запахло летом, липовым цветом и пчелиными сотами. Пчелиным воском врач плотно облепит края раскрытой грудной клетки, чтобы остановить кровотечение из мелких сосудов.

Остальные инструменты она вместе с другими сестрами разложила на трех столах.

В 7 часов 50 минут Криста услышала, как каталка с больной въезжает в большой зал. Элька находилась под глубоким наркозом, аппарат искусственного дыхания двигался рядом. Криста, которой было хорошо знакомо каждое движение, происходящее в операционном зале, знала, что в эту минуту Лотар поднял беззащитное тело на стол, придал ему необходимое для операции положение и крепко привязал.

Криста не слышала, как вошел Ханс. Во время подготовки к этой операции, где решался вопрос о жизни и смерти, они виделись только в течение нескольких секунд. Во время самой операции они станут двумя из пятнадцати медиков, работающих как один человек, обладающий пятнадцатью парами рук и одним мозгом и делающий все возможное, чтобы спасти этого ребенка.

Ханс уже проверял электронное устройство, контролирующее кровообращение.

Лотар смазал грудь девочки антисептическим раствором и шепнул Кристе: «В месткоме скандал».

Криста пожала плечами. Обычный скандал, к которым уже все привыкли. У профсоюзных активистов больницы отделение сердечной хирургии было на плохом счету. Никто из них не имел, по-видимому, представления о том, как протекает работа в этом отделении. Каждую вторую среду производился инструктаж председателей цеховых профсоюзных комитетов, и на нем никогда не было представителя их отделения, так как по средам дважды оперировали с применением аппарата «сердце-легкие». И в этот день нельзя было и думать, чтобы на инструктаж пошел Лотар или кто-нибудь другой, так как в операционном зале и в отделении реанимации требовалось удвоенное количество персонала.

Порой трудно было себе представить, что сотрудники этого отделения вообще имеют личную жизнь. Как удивлена была Криста, узнав, что Лотар в часы досуга с успехом выступает в роли ведущего в концерте и акробата. Доктор Юлиус увлекался конструированием органа. Удивительное сочетание! Специалист

по одному из самых современных, сложнейших, какие только существуют, аппаратов — «сердце-легкие» и — конструирование органа.

Лотар нередко вел с Кристой беседы на философские темы. «Многие сестры были бы обходительнее, будь они замужем, но медицинские сестры не так легко выходят замуж, ибо знают мужчин вдоль и поперек, их никто так просто не введет в заблуждение, тут не помогут ни сильные мускулы, ни важный вид, ни хвастовство».

«Есть и более серьезные причины, — возражала Криста, — наши сестры так поглощены своей профессией, что отрешаются от внешнего мира, для личной жизни просто не остается времени — разве это правильно?»

Кроме того, профессор предпочитал незамужних операционных сестер. Работа в операционном зале была слишком тяжелой и нерегулярной. Ни один муж не примирился бы с таким положением вещей. Исключением являлся только Ханс, да и то потому, что сам принадлежал к этому коллективу.

Лотар, до этого стоявший у изголовья больной, подошел к Кристе и тихо сказал: «Не знаю, увезем ли мы ее отсюда живой».

«Она еще никогда не играла с другими детьми», — ответила Криста и поняла, насколько бессмысленно было сказанное ею. Как будто это могло спасти от смерти.

Вошли врачи.

Криста внимательно рассматривает каждого из них. По тому, как двигаются врачи, она со временем научилась понимать, какой день им предстоит — хороший или «с червоточинкой», как однажды выразился профессор.

«С червоточинкой» был в коллективе врач, который либо чувствовал себя нездоровым, либо его одолевали заботы, которые он не мог отбросить прочь, перед тем как надеть больничный халат, это могло быть чье-то испорченное настроение, чья-то бессонная ночь.

Профессор любил выражаться образно: «Скрипач в оркестре, вступающий с запозданием на долю секунды или играющий слишком громко, мешает всем своим коллегам, является для них обузой. Я только дирижер, результат же зависит от каждого оркестранта».

Потому Кристе хотелось, чтобы у Паши жена оставалась дома, у доктора Юлиуса прошла простуда, а профессор не работал всю ночь напролет.

Над больной склонилась первая группа врачей во главе с заведующим отделением доктором Бургом. С ним Криста любила работать, среди врачей он был единственным, кто умел хранить

спокойствие независимо от того, приходилось ли ему ассистировать, как сегодня, или самому делать труднейшие операции. Она подала ему инструменты для вскрытия артерии на тонкой руке Эльки, трубку, которую вставили в открытую артерию, иглу с нитью. И позднее то же для вены у локтя. С помощью этих двух трубок во время операции постоянно измеряется кровяное давление, которое регистрируют и показывают аппараты Ханса.

Тем временем вторая группа врачей начала вскрывать артерию на ноге у пахового сгиба. Позднее через нее с помощью аппарата «сердце-легкие» будет нагнетаться кровь в организм.

Прошло двадцать минут после вскрытия грудной клетки. Заведующему отделением и его ассистентам Криста подала скальпель, молоток, долото, марлю, зажимы, вилообразный крюк, иглы, нитки, пчелиный воск, инструмент для расширения раны.

Теперь, после срединного разреза через грудину, можно было значительно лучше, чем при боковом разрезе между ребрами, наблюдать пульсирующее сердце.

Криста продела в иглы крепкие нити, и заведующий отделением наложил шов на сердечную сумку (перикард). Теперь — ножницы, чтобы перикард, плотно облегающий сердце, взрезать между держащими его нитями. Лишь теперь, лишенное всякое защиты, лежало перед врачами сердце. Но его внутренняя часть все еще была закрыта.

Подготовительные работы были закончены.

В предоперационной профессор мыл руки. Было как всегда: когда он входил, менялась атмосфера, казалось, воздух был насыщен электричеством.

У Кристы мысли блуждали ровно столько времени, сколько понадобилось профессору Людвигу, чтобы пройти от двери до операционного стола. Она уже держала наготове иглу с нитью. Место впадения верхней полой вены в правое предсердие профессор простегал швом, подобным тому, что на табачном кисете, в форме круга величиной с пфенниг. Он накладывал шов на сердце, как портниха на шелковую ткань.

«У профессора красивый почерк» — так называл это Паша.

Круглый зажим, хирургический пинцет, ножницы, зажим, поднимающий эту часть сердца. Зажим лежал вокруг простеганного круга.

Затем в вену на предсердие профессор ввел канюлю с трубкой, ведущей к аппарату «сердце-легкие». Простеганный на сердце шов был туго стянут вокруг трубки, так, как стягивают табачный кисет. Теперь был создан соединительный путь от верхней полой вены, там, где она ведет в правое предсердие, к

машине. Такой же соединительный путь был проложен к машине от нижней полой вены. Две трубки вели теперь от вен на предсердии — в обход всех других частей сердца — к машине, которая должна была взять на себя работу сердца. Таким же образом трубка связывала с машиной артерию на ноге в паховом сгибе.

Сама операция, собственно, еще не начиналась. Криста уже держит наготове шприц с лекарством, предотвращающим свертывание крови. С кровью, которая свертывается, машина работать не может. Еще несколько минут, чтобы дождаться, пока подействует лекарство, сигнал для доктора Штайгера — диски и насосы аппарата «сердце-легкие» пришли в движение. Зажимы с трубок удаляются, кровь из верхней и нижней полых вен поступает в машину. Там она смешивается с консервированной кровью, проходит через вращающиеся диски, где обогащается кислородом, и поступает в трубку, ведущую к артерии на ноге. Так циркулирует она по телу без участия сердца и легких.

Доктор Штайгер начал охлаждать кровь в машине для того, чтобы снизить обмен веществ в теле больной. Он громко считает: «Тридцать градусов… двадцать девять градусов… двадцать семь градусов…»

Врачи стояли вокруг больной. С начала их работы прошел час. Это была единственная передышка между подготовкой и самой операцией. Мускулы расслабились, одновременно все мысли сосредоточились на том, что может обнаружиться после разреза во внутренней части сердца. Все они уже видели, что легочная артерия на месте выхода из сердца сильно заужена. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, как должен был страдать этот ребенок. Требовалось примерно десятикратное по сравнению с нормальным давление, чтобы проталкивать кровь через слишком узкое отверстие этой артерии, и эту дополнительную работу должно было каждым своим биением выполнять сердце.

При всем искусстве диагностики часто случалось непредвиденное, и поэтому окончательное решение принималось лишь тогда, когда сердце было раскрыто. Возможно, именно этот момент оказывался для всех самым драматическим.

Двадцать шесть градусов… двадцать пять… двадцать четыре… сердце начало биться медленнее. Двадцать три… сердце билось неритмично, конвульсивно вздрагивало и трепетало. Двадцать два… сердце еще раз вздрогнуло. Двадцать один… сердце, с таким трудом поддерживавшее в больной жизнь, остановилось. Впервые оно отдыхало. Изобретенная человеком машина работала вместо него.

Профессор молча протянул руку и не глядя взял инструмент. Он и Криста так хорошо сработались, что им не нужно было слов. Требовалась ему игла, он — сам того не сознавая — раскрывал ладонь шире, чем тогда, когда брал ножницы. Нужен был пинцет или тампон, каждый раз его пальцы двигались по-иному. Быстрым уверенным движением вкладывала Криста нужный инструмент в слепо протянутую руку. Она точно следовала за ходом операции, понимала возникающие осложнения, и часто готова была подать требующийся инструмент еще до того, как за ним протягивалась рука. Если инструмент был ею выбран неправильно, профессор нетерпеливым движением бросал его на столик с неожиданным, пугающим Кристу звоном.

Профессор вскрыл полость сердца.

В перегородке между правым и левым желудочками сердца находился дефект — большое отверстие, расположенное далеко внизу и труднодоступное. Через это отверстие, которого нет в здоровом сердце, в левый желудочек попадала значительная часть венозной, бедной кислородом крови, которая должна была бы идти в легкие и там отдать углекислый газ и обогатиться кислородом. Вместо этого она смешивалась с артериальной кровью и вновь циркулировала в теле, вследствие чего тканям и органам не хватало кислорода и больная ощущала удушье. Отверстие было два сантиметра в длину и более чем сантиметр в ширину.

Криста протянула ножницы и кусок тефлонового фетра. Профессор отрезал лоскут овальной формы и сверху примерил к отверстию.

Криста окунула в жидкий парафин первую иглу, изогнутую в форме рыболовного крючка, с черной ниткой. Черные нитки лучше видны, нежели белые, так как кровь не меняет их цвета. Накладывание шва требовало напряжения, желудочек сердца не лежал плоско распростертым перед хирургом, как гладкий кусок материи, край сердечного дефекта прятался в неровных, волнистых изгибах сердечной ткани, и добраться до него стоило большого труда. Иглой дважды прокалывалась сердечная мышца по краю дефекта и по краю кусочка фетра. Затем прошивалась сердечная мышца и вновь кусочек фетра. Для каждого шва Криста подавала новую иглу с новой нитью, и каждый шов был шедевром терпения и мастерства. По тому, как работал иглой профессор, Криста видела, какой дряблой была больная сердечная ткань у края отверстия. После каждого шва ассистенты брали у профессора оба конца нити, соединяли их зажимом и осторожно клали сбоку на грудную клетку. На самом трудном и глубоком месте отверстия сердце было наполнено кровью. «Отсосать», —

требовал несколько раз профессор, но отсасывающее устройство уже работало. «Отсосать», — взывал он громко и тщетно.

«Мы отсасываем, господин профессор», — сказал заведующий отделением. Но отверстие в сердце по-прежнему было закрыто кровью.

«Зажать аорту».

Теперь сердце было отрезано от всякого притока крови. Кровь больше не текла, и тем не менее край отверстия на этом месте был скрыт, оставаясь почти невидимым. Ухватить его иглой казалось невозможным. Трижды пытался это сделать профессор. Наконец ему удалось прошить сердечную мышцу, осторожно вел он за ней нить, его руки работали с легкостью порхающей стрекозы.

Нить следовала по пути, проделанному иглой. В последний момент в месте прокола порвалась сердечная ткань. При второй попытке все это было бы еще труднее. Каждый думал только об одном: удастся ли следующий шов. Это был двенадцатый по счету. Он пожирал драгоценные секунды. Тринадцатый, четырнадцатый. Аорта была зажата уже двадцать минут.

«Открыть аорту», — сказал профессор.

Какое-то очень короткое время врачи рассматривали демонстрируемую на экране телевизора кривую кровяного давления, ее подъемы и падения. Персонал, обслуживающий машину «сердце-легкие», регулировал ее работу, чересчур большое или слишком малое количество крови могло повредить мозгу больного. Экран телевизора, который должен был показывать электрокардиограмму, ничего не показывал, так как сердце не работало.

«Закрыть аорту». Доктор Паша вновь зажал аорту. Криста держала наготове пятнадцатую, влажную от парафина иглу.

«Теперь начинается самое плохое место», — сказал профессор.

Он взял иглу, ассистенты прилагали все усилия к тому, чтобы дефект сердца был виден как можно лучше. Профессор приблизился к ткани и наложил шов.

В расположенной по соседству кондитерской продавали булочки, во дворе громыхали крышки ящиков с мусором, рабочий покрывал масляной краской автомашину, жужжал пылесос, которым обрабатывали ковер. Здесь, в операционном зале, ребенка от смерти отделяли три шва.

Место шва было скрыто кровью и нависающей над ним сердечной тканью: шов не удался.

Имелось средство не допустить смерти больного на операционном столе. Если невозможно было зашить отверстие,

профессор мог ограничиться расширением легочной артерии, отверстие же в сердце оставить в прежнем состоянии. Тогда больная, возможно, проживет еще месяца два. А в статистическом отчете больницы будет одной смертью меньше.

Но был ли смысл отправлять ребенка домой обреченным на смерть?

Большие стенные часы безжалостно тикали. Больную необходимо было вскоре отключить от машины. Теперь шов удался, но последующий был в равной мере трудным. Все вздохнули с облегчением, как только профессор передал ассистенту концы нитей и протянул руку за новой иглой.

Поддерживаемый двумя пальцами врача кусок фетра парил в воздухе, как парашют, прикрепленный к сердцу над больным местом.

Криста подала шестнадцатую иглу, семнадцатую, восемнадцатую.

Все трудные швы удались. Профессор натянул нити и с крайней осторожностью наложил лоскут на отверстие. Он подошел абсолютно точно. Заведующий отделением взял зажимом первые два конца нити и подал их профессору, который вязал их узлом над фетром. Нитка за ниткой связывались узлом.

В какой-то момент Криста почувствовала, что у нее кружится голова, самое трудное было позади, но время торопило.

Профессор уже склонился над легочной артерией. Он разрезал место, где она была сужена, и расширил его. На этот раз он вставил лоскут пяти сантиметров длины и трех сантиметров ширины. На хорошо видимой легочной артерии шить было проще, и он наложил сплошной шов.

10 часов 30 минут. Собственно операция была закончена. Профессор подал доктору Юлиусу знак, кровь в машине начала медленно согреваться, за этим велось непрерывное наблюдение. Сердце начало слабо и ритмично биться. Если бы оно само не забилось в полную силу, его должен был заставить сделать это электрический шок, под воздействием которого оно бы заработало, но сердце Эльки само нашло дорогу в жизнь. Впервые за двенадцать, лет жизни ребенка оба круга кровообращения функционировали раздельно друг от друга. Впервые кровь текла под нормальным давлением через расширенную легочную артерию. Впервые бледное, отливающее синевой личико Эльки приобрело розовый оттенок…

Сестра Гертруда вносит электронные аппараты, о которых говорил доктор Штайгер. Их устанавливают возле фрау Мюллер и фрау Майер и присоединяют к их пульсу.

Так… так… так, отстукивает в комнате сердце Фриды

Мюллер.

Так-так — пауза — тактактак, обращается к больным беспокойное сердце Ангелики.

— Что с Биргит? — шепчет Криста.

— Выстояла, — отвечает Гертруда.

Марианна счастлива. Лишь по охватившему ее радостному чувству она понимает, как тревожилась за Биргит. И в голову приходит совсем уж нелепая мысль: как хорошо это для барашка.

Теперь все дело в том, как пойдут дела в ближайшие дни, думает Криста…

Теперь все дело в том, как пойдут дела в ближайшие дни, думает также доктор Штайгер, покидая операционный зал и входя в ординаторскую. Он садится за круглый стол выкурить сигарету. Найдется ли в сердце Биргит достаточно силы, чтобы беспрерывно перекачивать через организм большой, непривычный для него поток крови? Фантастическая машина, которая еще на некоторое время взяла бы на себя часть этой работы, еще не изобретена. В отделении Ханса Биндера, где обслуживают электронные аппараты, призванные наблюдать за кровообращением, и где они все более совершенствуются, часто над этим задумываются. Во всех странах работают над конструкцией такой машины.

Врач наливает себе чашку крепкого кофе, который после операций всегда стоит на круглом столе. Доктор Юлиус не любит бросаться в глаза.

В ординаторскую входят его коллеги. У доктора Штайгера со всеми хорошие отношения. В больнице сердечной хирургии остаются только люди, увлеченные своей работой; лишь это позволяет им выдержать напряженный ритм операций да и сам темп этой работы. Врачи, придающие значение карьере — естественно, каждый хирург рассчитывает на то, что когда-нибудь он самостоятельно поведет отделение, — здесь от этой мысли должны отказаться. Профессор и заведующий отделением еще молоды, и больниц сердечной хирургии пока еще немного.

В ординаторскую входит сестра Лора, она ищет заведующего отделением доктора Бурга. Сестра Лора очень красива. С тех пор как она ждет ребенка, ее рыжие волосы, кажется, блестят еще ярче, похудевшее лицо бледно.

«Сердце сестры Лоры я бы не хотел оперировать, — сказал однажды Паша, — оно холодно и без аппарата «сердце-легкие».

«Она наблюдательна, обладает чувством долга и пунктуальна», — ответил заведующий отделением.

«Она наблюдает только плохое», — убежденно парировал Паша.

Все они были бы ошеломлены результатами этого дара наблюдательности: заведующего отделением Лора окрестила вялым флегматиком, профессор, по ее мнению, насаждает культ личности, доктор Штайгер ничего не умеет, хотя охотно берется за любое дело, доктор Юлиус — наш пострел везде поспел, а Паша вину за плохо выполненную работу с удовольствием приписывает сестрам.

Возможно, профессора, высоко ценившего выдержку и эрудицию заведующего отделением, раздражала порой его медлительность. Возможно, заведующему отделением порой чудилось диктаторство в самостоятельности профессора, в его темпераменте и оперативности. Возможно, доктор Паша дал почувствовать сестре Лоре свою антипатию. Возможно, младший ординатор доктор Штайгер мог бы обладать большим чувством ответственности. Безусловно, бывали времена, когда врачи действовали друг другу на нервы. Но были также чудесные коллективные поездки в Тюрингию, и как огорчались врачи, которые по служебным обстоятельствам не могли принять в них участия. А на работе коллектив отделения сердечной хирургии всегда оказывался крепко спаянным в часы величайшего напряжения во время операций.

Доктор Штайгер оставляет в распоряжение других круглый стол, кофейник и наполовину заполненную пепельницу. Пепел в ней свидетельствует о прегрешениях врачей, которые в операционном зале должны были часто наблюдать, какой вред наносят своему сердцу курильщики. Но уж коли сам профессор…

По пути к постели Биргит доктор Штайгер еще раз заходит в женскую палату и прислушивается к сердечным тонам в обоих аппаратах.

— Не могу больше выносить этот надоедливый стук, — говорит Марианна после его посещения. — Можно бы еще привыкнуть, если бы это происходило через равные промежутки времени, но эти перебои, эти чередования медленного темпа с быстрым, сводят меня с ума.

— Скоро ты перестанешь это замечать, — говорит Криста. — При такой операции, как у этих двух старушек, наступает один замечательный момент. Аппарат стучит неравномерно и слишком медленно, как больное сердце, электрокардиограмма вычерчивает неблагоприятные кривые, но аппарат уже закреплен на брюшной стенке, электроды у сердца, и теперь врач вставляет в батарею идущие от электродов соединительные провода. С этой секунды больной спасен. Ты слышишь равномерные, нормально звучащие тоны. Это как лучшая музыка, а углубления и выступающие зубцы электрокардиограммы свидетельствуют о регулярном, здоровом

биении сердца. Это как прекраснейший ландшафт.

Вошедшая сестра Гертруда прерывает рассказ Кристы и говорит:

— Фрау Мертенс, послезавтра вас оперируют, и вас также, сестра Криста, поэтому завтра оставайтесь в постели.

Сразу преображается мир.

Криста и Марианна умолкают.

Через сорок восемь часов у них все уже будет позади.

Марианна тоскует по ребенку и родителям. Не написать ли им, когда состоится операция? Отцу и матери тяжело переносить неопределенность ожидания, и все же будет лучше, если она уже после операции даст телеграмму, что все закончилось хорошо. Она знает, что останется жить, страх у нее только перед болью и сопровождающим ее удушьем. Во время предварительных исследований она слышала от больных, что после операции некоторое время отказывает память. Когда она спросила об этом Кристу, та ее высмеяла, но, возможно, она сделала это по долгу медицинской сестры, чтобы не волновать больную. Что будет с ребенком, если случится что-либо непредвиденное? Родители возьмут девочку к себе, но они уже пожилые люди. Может ли она распорядиться, чтобы Катрин ни в коем случае не возвращали Карлу, имеет ли она право на это, так ли уж он плох, чтобы общение с ним могло принести ребенку вред? Он не долго останется одиноким. Какой окажется его новая жена? Надо надеяться, не такой во всем послушной, какой была Марианна, иначе ей будет так же тяжело.

Может быть, это было главной ее ошибкой? Чересчур много восхищения им, покладистости, никакого чувства собственного достоинства. Но ведь ссоры начались лишь тогда, когда она перестала со всем мириться.

Вскоре после того, как Карл унизил ее в присутствии практикантки, он изъявил желание присутствовать на очередном родительском собрании в ее классе. Она отказалась: «Целый год я все делала сама, и ведь получалось».

И тогда он впервые обрушил на жену приступ ярости. Он орал на нее, вылетали слова, которые уже нельзя было вернуть, и он произносил их при ребенке. Это было самое ужасное. Катрин, всхлипывая, подбежала к матери и обхватила ее колени. В заключение он язвительно заметил: «В качестве директора я сам решаю, в чем и когда мне участвовать» — и выбежал из комнаты.

Дверь с грохотом захлопнулась; она подмела отвалившуюся штукатурку. Всякий раз, когда она думала о предстоящем родительском собрании, учащенно и болезненно билось сердце; ночами она плохо спала. На собрание он не пришел, ее охватило

ощущение свободы.

Подобные сцены повторялись еще несколько раз. Ей не хочется припоминать произнесенных им бранных слов, но не стираются в памяти его сверкающие глаза, сжатые кулаки. Он никогда не сдерживался в присутствии дочери, и Марианна начала избегать всего, что могло повлечь за собой ссору при ребенке. Впоследствии он хотел исправить допущенную оплошность. Она пыталась пойти ему навстречу, но внутренне жила уже больше для себя и ребенка.

В ту осень они узнали, насколько серьезна ее болезнь. Она надеялась, что этот удар судьбы их сблизит. Вначале Карл был озадачен и очень с ней ласков. Внешне дни протекали спокойнее, он не говорил «ты истеричка», когда она жаловалась на то, что дорога в магазин идет в гору — здоровый человек этого подъема не замечал, — или когда она не хотела выходить на улицу в ветреную погоду, так как ей казалось, что тогда у нее разбухает сердце. Но Карл не мог долго приспосабливаться к больной жене. Она ощущала, что муж чувствовал себя обманутым. Он женился на здоровой веселой девушке, а теперь рядом с ним едва передвигающийся инвалид. Чем он это заслужил? Он не был плохим, он просто видел истинное положение вещей; за это она никогда на него не обижалась. Гораздо оскорбительнее была его постоянная уверенность, что она притворяется более страдающей, чем это есть на самом деле. Каждый день Марианна заново начинала борьбу за то, чтобы оставаться мужественной, а свою болезнь сделать как можно менее заметной для окружающих. Никто не догадывался, сколько силы воли требовалось ей в трудные для нее часы, чтобы встать со стула, одеть Катрин, вымыть посуду или даже начистить картофель.

Ей было бы легче, если бы он это заметил и поддержал ее. Он же принимал как нечто совершенно естественное все те огромные усилия, которые она прилагала, чтобы казаться здоровой. Если иногда она теряла самообладание, он замечал это и считал, что она преувеличивает свои страдания. Возможно, он был бы к ней более предупредителен, если бы ее болезнь сопровождалась обмороками или припадками и тем самым была более зримой для окружающих. К внешним проявлениям ее недуга — торопливому, поверхностному дыханию он привык, с ее быстрой утомляемостью он теперь считался, хотя и не всегда мог скрыть свое раздражение.

Так как он полагал, что она просто не хочет держать себя в руках, она редко просила его о помощи. Раньше она всегда сама топила по утрам печи — ведь его работа важнее и он больше занят. Когда ящики для углей пустели, она приносила наверх два

полных ведра брикетов. Если Карл был дома, он помогал ей. Потом ей стало еще труднее таскать ведра наверх, однако он далеко не всегда заботился о том, чтобы в ящике постоянно был уголь.

Марианна считала мелочным обижаться из-за этого. Она внушала себе: он просто рассеян. И все же однажды ночью после одного такого дня она поняла: прошлое для нее миновало. Огонь не хотел разгораться, она стояла перед печкой на коленях и раздувала тлеющие угли. Позади в кресле сидел Карл с газетой у самого лица. В этом не было ничего предосудительного, перед уроком ему надо было ознакомиться с важнейшими событиями дня, она же пенсионер и у нее много свободного времени. Внезапно он рассмеялся над каким-то веселым рисунком или удачной остротой. Если бы он к ней обернулся, чтобы обратить ее внимание на это место в газете, и, заметив, как ей трудно растопить печь, пришел на помощь, возможно, все получилось бы по-другому. Но он продолжал смеяться, в то время как она, задыхаясь, с грязными руками стояла на коленях перед печкой. В это мгновение все унижения, которым он ее подвергал, как бы слились воедино. Их не могла укрыть и темнота ночи.

— Ну что, мои хорошие, — говорит Зуза Хольц и закрывает за собой дверь. — Кажется, у вас плохое настроение. Наверное, профессор давно не пожимал вам руки. Теперь займемся как следует дыхательной гимнастикой.

Начинает она с Марианны.

— Если вы и после операции будете так же стараться дышать, битва выиграна, — говорит фрау Хольц. — После операции вам хочется дышать как можно более поверхностно, вдыхать воздуха ровно столько, сколько необходимо для жизни. Дело в том, что у вас на левой стороне грудной стенки будет дренаж, причиняющий боль при движении. Поэтому вы будете пытаться не очень нагружать левую сторону, включая и легкое. Но если легкое плохо дышит, то легочная ткань, получающая недостаточное количество кислорода, становится питательной средой для бактерий. При этом нарушается кровообращение в легком и могут образоваться застои, а это опасно. Как видите, выздоровление в ваших руках — глубоко дышать и не слишком много спать, понятно?

Марианна кивает — насчет дренажной трубки лучше бы ей не знать.

— И еще вот что. Старайтесь потом двигать левой рукой, пытайтесь ее поднимать, даже если свежая рана между ребрами причиняет боль. Когда операция проводится через боковой разрез,

она затрагивает и руку, поэтому после операции больной стремится как можно бережнее с ней обращаться. Но если вы совсем не будете шевелить рукой, мускулатура станет слабой, рука может остаться онемевшей или левое плечо окажется ниже правого.

— Какого размера будет моя рана?

— Длиной около двадцати сантиметров. У женщин хирург делает разрез под грудью, поэтому впоследствии шов почти незаметен.

— Очень мило со стороны врача, — говорит Марианна и думает: нужно ли мне знать все это?

Зуза Хольц задает несколько вопросов личного характера. Марианна сама не знает, как это получается, она вдруг рассказывает о Катрин, родителях, Дитере и школе. Фрау Хольц слушает так, словно другие больные ее не ждут.

— Вы подойдете ко мне сразу после операции? — спрашивает Марианна, когда фрау Хольц переходит от нее к Кристе.

— Конечно, после операции вы будете у меня на первом плане.

С Хильдой Вайдлих фрау Хольц разговаривает строже:

— Надо дышать, понимаете, дышать, даже Биргит делает это лучше, сделайте усилие, фрау Вайдлих, не будьте столь немощны.

— Зуза Хольц мне очень нравится, — говорит Марианна.

— Она значит здесь не меньше профессора, ты еще почувствуешь это на себе, — отвечает Криста.

Когда больницу только оборудовали, в отделении сердечной хирургии не было лечебной физкультуры. Работа в новой, не освоенной еще области заинтересовала Зузу Хольц, которая до того занималась с парализованными детьми.

Первая беседа с профессором Людвигом вселила в нее страх. Он сказал ей: «Работая здесь, вы будете отвечать за каждое воспаление легких. Ибо, если вы научите больных правильно дышать и кашлять, воспалений не будет».

Воспалений легких было много, и Зуза ходила растерянная, с покрасневшим от стыда лицом. Причиной заболеваний, наверное, была ее плохая работа с больными, но кто мог ей объяснить, что именно она делала неправильно?

Профессор указывал ей на недостатки: «Вы только суетитесь вокруг больных. Будьте более суровой, не позволяйте больным так много спать после операции. Не сама операция является причиной большой утомляемости, а наркоз и поверхностное дыхание. Будите больных, орите на них, если хотите, это не так вредно, как сон или поверхностное дыхание, в результате

которого уменьшается приток кислорода и тем самым еще больше усиливается усталость».

Он взглянул на нее, нашел, что в ее глазах светится слишком много доброты, и с опаской подумал: она навсегда останется сострадающей сестрой милосердия и с больными ей не справиться.

Зуза была обескуражена, часто плакала, когда оставалась одна, и сказала себе: в детском доме я хорошо работала, дети даже не хотели меня отпускать, уйду отсюда.

Но у нее было нечто большее, нежели глаза, говорящие о большой душевной доброте. Она изучала все публикации, посвященные сердечной хирургии и технике дыхания. Своей жертвой она избрала Кристу, беспрерывно ее выслушивая, основательно вгрызалась в свою новую работу и увлеклась ею. Как раз в этот период профессор однажды во время ночного дежурства в больнице громко и недвусмысленно сказал: «Наши больные спят, а вместе с ними спит и наш инструктор по лечебной физкультуре».

Зуза Хольц покраснела от гнева и после обхода пошла вслед за профессором. Он уже думал, она хочет объявить о своем уходе.

«Вы несправедливы ко мне, господин профессор, — сказала она, — я специально этому училась, теперь я знаю, как я должна выстукивать больного и как помочь ему садиться. При массаже я добиваюсь правильной вибрации грудной клетки, я знаю, как наилучшим образом обеспечить приток крови к коже. Сегодня, до вашего прихода, одна больная сказала: «После вашей процедуры мне глубокое дыхание дается гораздо легче». Я хотела просить вас, господин профессор, доставлять больных в отделение не накануне операции, а раньше, ибо одна техника еще ничего не решает, очень важно, чтобы я в течение нескольких дней имела с больными контакт, тогда после операции они по моему призыву уже автоматически дышат достаточно глубоко».

«Это великолепно, фрау Хольц, — отвечал профессор, — я вас поздравляю. Теперь остается только слишком продолжительный сон — будьте безжалостны, будите больных, ведь это в их же интересах».

«Я учту ваши замечания, господин профессор, — отвечала она. — Но могу ли я сказать еще кое-что: вы чересчур энергичны, когда во время обхода заставляете больного поднять руку. Вы требуете: ну давай, давай, и тут же начинаете дергать его. У больного это вызывает чувство протеста и напряженное состояние, и, когда я потом хочу начать с ним упражнения, он судорожно сжимает руку, возникает определенное торможение, что, естественно, затрудняет мою работу».

«Благодарю вас за указание». — И неожиданно оба рассмеялись.

Утром накануне операции Марианна лежит в постели и видит покрытые инеем вершины деревьев и особой голубизны небо, каким оно бывает в ясные зимние дни. В доме напротив на прибитом к чердачному окну куске жести сидит дрозд. Нахохлившаяся птица с взъерошенными перьями выглядит невообразимо черной на фоне белого снега.

В полдень Марианна наблюдает игру зайчиков на потолке… Когда я сюда вернусь, я все это увижу снова и у меня будет здоровое сердце. Сегодня оперируют Фриду Мюллер и фрау Майер. Вчера фрау Мюллер с таким счастливым выражением лица спросила: «Видели, как долго сидел возле меня профессор и желал мне всего самого лучшего?» Я не могла не улыбнуться такой наивности. Она действительно верила, что он уделил ей особое внимание, хотя это принято делать перед каждой операцией.

А когда сегодня утром профессор подал руку мне и произнес те же слова, я была так же счастлива, как Фрида Мюллер.

Мне хотелось бы еще раз написать родителям, сказать им, как велика моя вера в профессора и всех других врачей. Если мне не суждено остаться в живых, значит, спасти меня было выше сил человеческих. Родители должны это знать.

Странно как все устроено: при мысли о смерти многие прежние заботы вдруг представляются незначительными, а такие мелочи, как черно-белый контраст — дрозд и снег, — солнечные блики и даже яблоко на столе, делают меня счастливой. Это «если я умру» не вызывает страха, я объективно думаю об отдаленной возможности, боюсь я только боли. Наверное, при физической боли требуется иного рода мужество, нежели в печали и горе.

Моя Катрин мужественная, трогательно мужественная. Она преодолевает трудности, а когда испытывает страх, все равно не отступается. Как рано уже проявляются определенные черты характера. Что это? Пример, среда или наследственность? В бытность Карла на курсах в Берене я ждала его звонка и включила телефон в спальне. Когда раздался звонок, Катрин со сна закричала, но не залезла под одеяло. Войдя в спальню, я увидела, как она босая, в длинной белой сорочке стояла у телефона, держала в руке трубку и, всхлипывая, говорила: «Это я, мама сейчас подойдет».

Однажды она плохо себя вела. Карл дал ей пощечину и сказал: «Другую щеку!» — Катрин сжала руки в кулачки и подставила ему вторую щеку. Ударить еще раз Карл не смог.

Обычно он к Катрин относился хорошо. Серьезный вред ребенку причиняли только наши ссоры. Если Катрин слышала, что Карл меня бранит, она прибегала и становилась между нами на своих маленьких крепких ножках, беря меня под свою защиту, и слезы текли по ее лицу.

Марианна тоскует по Катрин.

Как теперь чувствуешь себя Биргит? Лежит, предаваясь сумрачным сновидениям, или бодрствует, мирно спит или борется за свою жизнь? Марианна рада, что Биргит не вернули сразу в палату, она не могла бы вынести страданий ребенка. Возможно, она увидит Биргит завтра, когда сама будет лежать между стеклянными стенами в отделении реанимации, предназначенном для только что прооперированных больных.

Криста уверяет, лучшие больные — это дети, так как они не знают, до чего может довести боль. Они не обременены, как взрослые, мыслями о тяжелых последствиях операции. Через неделю после сложнейшей операции они уже ползают в кроватке, в то время как взрослые утверждают, что не могут даже повернуться на бок. Дети обязательно хотят выздороветь. Из-за болезни сердца их до сих пор постоянно держали в отдалении от сверстников, они не могли играть с другими детьми, бегать, прыгать. Теперь они знают: когда я выздоровею, мне позволят все. Эта мысль придает им поразительную силу воли.

Должна ли уже Биргит кашлять? Как это возможно с только что наложенным швом на сердце, сжатой грудной клеткой? Как объяснить ребенку, еще не умеющему мыслить разумно, как взрослый, что, невзирая на боль, легкое должно свободно кашлять?

Эти разумные взрослые! Вчера вечером ее внезапно обуял страх. Ее терзала мысль, что перед операцией ей перекроют дыхание и вставят в горло трубочку, а ведь она знала, насколько смешно бояться столь несущественной детали при подготовке к самой операции.

Доктор фрау Розенталь объяснила ей действие наркоза, и когда к ней подошел доктор Штайгер, он был разочарован тем, что ей уже все известно.

Доктор фрау Розенталь и заведующий отделением Бург члены партии. Это она узнала от Кристы, они сами ни разу об этом не упоминали. Жаль, что она не знала этого раньше, приятно ощущать, что рядом с тобой товарищ по партии. Конечно, она не хочет никакого предпочтения, но одно слово, ободряющая улыбка, и здесь, в больнице, она почувствовала бы себя в еще более родной обстановке.

Но откуда вообще должны врачи знать, является ли больной

членом партии? Здесь это не имеет никакого значения.

Марианне приходит на ум одно происшествие, связанное с Карлом. Во время отпуска они хотели навестить его друга в Болгарии. (Этот план также расстроила ее болезнь.) Тогда с соответствующим заявлением она отправилась в управление Народной полиции. Чтобы ускорить процедуру, Карл вынул из кармана свой партийный билет. Унтер-офицер, женщина, бросила на него уничтожающий взгляд.

«Уберите это сейчас же. И вам не стыдно рассчитывать на особое отношение к себе потому, что вы член партии? Мы живем в демократическом обществе, вам следовало бы знать это, и ко всем гражданам у нас одинаковое отношение».

Карл покраснел.

Карл тогда… Нет, сегодня она хочет думать только о хорошем, ибо завтра…

Профессор сам берется только за очень тяжелые операции. Будет ли ее оперировать заведующий отделением? Она хотела бы этого, невзирая на демократию. После профессора Людвига он в отделении самая большая величина, она едва ли осмелится к нему обратиться. Но могло бы случиться, что, окажись они вместе в одном семинаре в сети партийного просвещения, она занималась бы и отвечала лучше, чем он. Она представляет себе такое занятие кружка, и ей становится весело.

Завтра… Можно ли ей будет поставить фотографию Катрин на ночном столике в реанимационной?

Родители уже знают об операции, вчера утром она написала им об этом. Они так же мужественны, как и она…

Лишь после предварительных обследований в больнице Марианна сообщила матери о своем намерении развестись. Ей не хотелось подробно обо всем говорить, она только сказала: «Мы больше не любим друг друга».

Мать с ее богатым жизненным опытом сочла одну эту фразу недостаточной. В дополнение Марианна начала перечислять детали. Но ей самой показалось, что они не затрагивали самого существенного. Было бы глупо сказать: потому, что он не помогал мне по дому. Не произнесла она и следующих слов: даже уголь я должна была таскать сама. Если это основание для развода, половина браков должна быть расторгнута.

Доводы, которые она была бы в состоянии привести, были перечислением обычных трудностей, которые в общем-то случаются и должны быть преодолены. У нее тоже были свои недостатки. Сначала она слепо восхищалась Карлом, потом ее разочаровали в нем мелочи, с которыми более умные женщины быстро справились бы. Все ухудшила болезнь.

«Подожди, пока выздоровеешь, а затем попытайся еще раз», — сказала мать. Но не одна болезнь убила ее чувство, причина этого крылась в поведении Карла.

Если бы в приступе ярости он поднял на нее руку или завел возлюбленную, каждый признал бы ее право на развод. Но разве грубость, бранные слова, особенно в присутствии ребенка, не приносят столько же бед и причиняют меньшую боль, нежели пощечины? В заключение она сказала матери: «И ночи с ним стали для меня невыносимыми».

У матери, которая во время разговора не оставляла шитья, опустились руки.

Один только раз она прервала дочь: «Я думала, он хороший член партии».

Марианна удивилась.

«Да, он хороший член партии, это несомненно. И через некоторое время добавила: — Если бы ему потребовалась характеристика, в ней и как о педагоге, и как о члене партии нельзя было бы сказать ничего дурного. В ней все было бы только положительным».

Марианна хотела на несколько дней оставить ребенка у дедушки с бабушкой и съездить к Карлу. Мать ее не отпустила, так как врач требовал оградить больную от волнений. Она приготовила для дочери и ребенка постели, и с письмом Марианны отправилась к Карлу. Это была та самая мать, которая учила своих детей самим находить выход в сложных ситуациях.

Марианна не могла знать, о чем думала мать, едучи к Карлу. Мать сидела прямо, не прислоняясь к стенке, в углу купе, держа черную сумку на коленях.

Я так близка с детьми, что мне не нужно видеть их лица, чтобы знать, как они себя чувствуют; манера поведения, голос, даже то, как они едят, — этого достаточно. И тем не менее я не подозревала, что моя Марианна в замужестве так страдает. Возможно ли это? Что же я проглядела, или я была слепа?

Письма Марианны с первого места работы: «Один учитель здесь очень, очень милый». И вскоре после этого: «Мамочка, я влюбилась». Боже мой, можно было лишь удивляться, что с этой красивой веселой девушкой это произошло впервые. И несколько позднее: «Мама, я его люблю».

Субботу и воскресенье Марианна провела дома. Она много рассказывала про Карла. Мать тогда задумалась. Достаточно ли он добр, поймет ли Марианну, ее непосредственность, силу ее чувства, ее благородство?

Через несколько недель Марианна привела его с собой. Материнское сердце сжалось. Карл произвел впечатление

трудолюбивого, умного, внимательного человека, хорошо выглядел, свое будущее ясно себе представлял. Мать крепко пожала руку другу своей дочери, накрыла на стол, предложила второй кусок пирога и прислушивалась к разговорам.

Ничего, решительно ничего не было в нем такого, что могло бы не понравиться, но, конечно, для твоей девочки любой недостаточно хорош, должен появиться прекрасный принц, чтобы ты сочла его подходящим для своей дочери. Будь же благоразумна! Дети выходят замуж не для того, чтобы сделать счастливой мать, а Марианна счастлива.

Со временем мать стала кое-что замечать. Всегда решал Карл, что пришла пора собираться домой, и никогда не спрашивал Марианну, хочет ли этого она.

«Ты это не поймешь», — услышала она однажды, как он сказал Марианне. Тогда она сдержанно спросила: «Почему же Марианна это не поймет?» Это был единственный раз, когда она возмутилась. Они любили друг друга, это главное. Вмешиваться она не будет, ни одному браку это еще не приносило добра. Да и Марианна не такой человек, как она сама. Какой смысл судить о семейной жизни дочери со своих личных позиций?

Но как же все-таки она не заметила, что их отношения ухудшились? И почему дочь не поделилась с ней раньше? Ее молчаливость, порой угнетенное состояние она приписывала только болезни.

Разве не было в школьном коллективе ни одного человека, с кем Марианна могла бы отвести душу, если она не хотела быть откровенной с матерью? Мы ведь, всегда говорим, что у нас никого не оставляют в одиночестве, но никто не заметил, что моя девочка нуждается в помощи, не поняла этого даже родная мать.

Или есть вещи, которые человек сам должен пережить до конца и сам решать? Было ли это решением, которое никто иной не мог принять за нее? Но возможно, это решение все-таки было чересчур поспешным? Разве нельзя было молодого человека чему-либо научить? Брак не игрушка, которую легко отбрасывают в сторону. И у них ребенок. Нет, такие вопросы не решаются слишком быстро.

Но если и ночи больше не приносят женщине радости и она идет на всяческие уловки, лишь бы обрести покой, то есть ли смысл продлевать такое состояние? Разве не лучше в этом случае расстаться без тяжелых последствий, без тревоги за будущее?

Мысли сталкиваются и мешают одна другой. Даже пожилой женщине, почти прожившей жизнь, нелегко найти правильное решение. И кроме того, ясно мыслить мешает то, что она страдает и упрекает себя, как все матери, дети которых несчастливы…

Марианна слышала, когда мать поздно вечером возвратилась от Карла и тихо, чтобы не разбудить ребенка, позвала ее. Медленно, видимо очень усталая, мать сняла в передней пальто. Что она могла сказать дочери?

Она передала Карлу письмо Марианны. Он не хотел верить полученному известию и предположил, что теща прибыла, чтобы уладить дело. Он привязан к Марианне и против расторжения брака. Мать была тронута, быть может, еще есть надежда… Что, собственно, по-настоящему плохого случилось в этом браке? Она дала Карлу выговориться. Начал он со ссылки на то, как много было им сделано для Марианны. Он говорил, она кивала. Постепенно он заговорил быстрее и с большим жаром. Марианна упомянула о его недостатках, он вправе сказать о недостатках Марианны: «ленива, медлительна, несамостоятельна, лжива… Она вам обо мне всякого наболтала… То же пыталась сделать и на учительском совете… Квартиру я оставляю за собой».

Тогда она поднялась и ответила: «Да, квартиру ты оставляешь за собой, но в нее Марианна никогда больше не вернется».

«Мама», — снова позвала Марианна.

Мать вошла в комнату и села на край кровати.

«Было очень скверно?» — спросила Марианна.

«Думаю, ты поступаешь правильно».

В больничной палате сумерки смягчают белизну стен и простынь. В последний вечер перед операцией Марианна все-таки вновь думала о Карле, нет, больше о матери, и это были добрые мысли, она хочет уснуть с добрыми мыслями…

Дети работают в школьном саду, выпалывают сорняки, поют, щебечут, разрыхляют почву граблями, задают вопросы. Их маленькие переживания очень много значат для их возраста; потому так важно принимать их всерьез.

Катрин высоко поднимает свой носик, чтобы потереться им о нос матери, и говорит: «Знаешь, кто так здоровается, — ящерицы».

Но нельзя смеяться над ней: «Эскимосы, Катрин».

Марианна рассказывает о снежных хижинах, северных оленях, детях, одетых в шкуры животных. По глазам Катрин видно, что все услышанное она хорошо запомнила.

Как-то у друзей Катрин впервые увидела себя в большом зеркале. Она остановилась перед ним как зачарованная.

Когда мать пришла за ней, она раскачивалась, кружилась перед зеркалом, поднималась на цыпочки и приседала.

«Что ты здесь делаешь?»

Катрин увидела ее в зеркале, улыбнулась и сказала: «Мы

танцуем».

Несомненно, были у Марианны дни, полные страха и тревоги, часы отчаяния, но даже тогда, когда почва совсем ускользала у нее из-под ног, в ней оставалась воля к жизни. Как раз во время развода домой в отпуск приехала ее школьная подруга Ханна Шмидт, очень добрая и сердечная женщина. Ее муж работал приборостроителем в Клингентале; она была там контролером по качеству на предприятии, изготовляющем кетгут. В детстве она жила в том же доме, что Кесснеры. У Марианны словно на душе легче стало, когда она рассказала все подруге.

«Удивляюсь, откуда у тебя силы, чтобы со всем этим разделаться», — сказала Ханна.

Имеет ли право называться сильным человек, который сам себе кажется неразумным и никогда, может быть, не преуспеет в своей профессии, человек, так плохо организовавший свою семейную жизнь, человек, который не в состоянии поднять обыкновенный кофейник?

«Ведь у меня ребенок», — ответила Марианна.

Она могла бы сказать еще и другое: мне было бы стыдно перед матерью, или: я не могу просто так бросить свою работу, отказаться от участия в строительстве нового общества. Нет, так она никогда не скажет. Почему честные и хорошие мысли выливаются порой в пустые, громкие фразы? И еще могла бы она сказать: я хочу видеть лес весной, когда юные листики так малы, что стволы деревьев просвечивают сквозь листву далеко в глубине леса; когда сверкающая зелень так прозрачна и нежна, что ощущение от нее как бы переносится на окружающих тебя людей…

Марианна кашляет. Она кладет голову выше на подушку и ждет, пока пройдет приступ.

Завтра утром ее оперируют.

Ландшафты, думать о ландшафтах. Лишенное красок озеро зимой, утки, лебеди, чайки, блеклый камыш, голые тонкие ивы. Висящая в небе серая пелена тумана тает, освобождая солнце. Теперь камыш мерцает желтоватым цветом. Над водой скользят зеленовато-голубые металлические колечки — шейное оперение уток; ослепительно белый щит вздымается над сверкающими жемчужинами — лебедь расправляет свои крылья.

Чайки кричат — Марианна думает о море.

Чайки кричат, море шумит — Марианна уснула…

Утром ей делают уколы. Она еще чувствует, как движется ее койка и как она останавливается. Она ощущает давление на ноге поверх стопы и еще успевает подумать: это разрез в вене для яда, оказывающего парализующее действие.

Глухо, как бы через многие покровы и издалека, в темноте доносится до нее оклик:

— Проснитесь же, фрау Мертенс, проснитесь!

Что случилось? Только что сделали разрез в вене, а ее тут же будят? Ведь должно быть светло, в темноте оперировать нельзя.

Темно, так как она лежит с закрытыми глазами.

Чудовищно напрягаясь, она пытается поднять веки, но приоткрывается только один глаз, и всего на долю секунды. До того как ее вновь охватывает мрак и сон, она успевает услышать:

— Операция удалась.

Какую-то долю секунды она чувствует себя бесконечно счастливой, затем она больше ничего не сознает.

Пробуждение, сон, полузабытье. Проходят секунды, проходят часы? Один раз она чувствует, как поднимают ее руки, на теле она ощущает прохладную гладкую ткань и думает: ночная сорочка, отутюженная.

Однажды она просыпается, так как должна чихнуть, в носу что-то ползает. Затем она просыпается, так как ледяной простыней ее окутывает холод. Она слышит, как стучит от холода зубами, тело охвачено дрожью, от сильного озноба ее всю трясет.

— Мне холодно, — шепчет она, — мне холодно.

Она лежит в реанимации и впервые после операции заговорила.

Какое блаженство эти одеяла и грелки. Вместе с теплом возвращается ощущение счастья, огромного счастья: я живу, теперь это позади, все хорошо.

Спала ли она снова, и как долго? Как жестоко с ней обходятся, сестра забирает грелку и одно одеяло. Как может она быть такой суровой, не проявлять никакого сочувствия?

— Пожалуйста, сестра, грелку.

Можно ли отказать тяжело больному в такой малости?

— Лекарства вас достаточно согревают, если вы будете перегреваться, температура не спадет.

Марианна спит и просыпается, спит и просыпается. Она слышит, как шумит море и кричат чайки, и, бесконечно счастливая, думает: теперь все это позади, я живу.

Она не испытывает жажды, не чувствует боли, а дыхание почти не вызывает затруднений.

Ну а память? Не пострадала ли она? Она так устала. Но ей необходимо это проверить. Сначала даты рождения — ее и Катрин. Их она помнит. Но ей нужно обрести полную уверенность: трижды семь двадцать один, четырежды семь… Марианна спит. Марианне снится сон.

Все это неправда. Операция ей еще предстоит. Она на берегу

моря, слышит, как оно шумит, значит, ее еще не оперировали. Она просыпается и не осмеливается открыть глаза. Отчетливо слышит, как ударяется о берег морской прибой.

Когда она поднимает веки, кто-то бинтует ей руку.

— Сестра, когда меня будут оперировать?

— Операция уже позади, вы чувствуете себя хорошо, уже пять минут вы лежите в реанимации.

— Мой нос…

— В нос введены две маленькие тоненькие трубочки, через них поступает кислород, это облегчает дыхание.

Спать, спать. Страшные сны. Марианна сидит на высокой стеклянной горе, и Катрин пытается к ней добраться. Она прилагает огромные усилия, чтобы взобраться на гору, но все время соскальзывает, падает вниз. Ребенок не может дотянуться до матери.

Марианна просыпается:

— Катрин, моя Катрин.

И вновь шумит море. Она должна знать, действительно ли она бодрствует, действительно ли плачет Катрин.

— Сестра, я слышу море.

Сестра улыбается.

— К морю вы сможете поехать через шесть недель, если захотите. — Обе прислушиваются. Сестра смеется. — Это не море, это просто капельница.

Марианна чувствует, ее ноги лежат на шине, в ногах кровати она видит сосуд с кровью, связанный системой трубок с веной на ноге. Этот сосуд для нее — часы. Каждый раз просыпаясь, она прежде всего бросает взгляд на него и сразу понимает, где она находится. По содержанию бутылки она определяет, как долго она спала. Начинаются боли, ее мучает жажда. Сосуд становится опорой и утешением.

До сих пор она вообще не делала сознательных движений, теперь она поворачивает голову и через стеклянную перегородку заглядывает в соседнюю кабину.

После операции прошло два часа. Впервые она думает о чем-то другом, кроме себя самой.

За стеклянной стеной находится Биргит.

Она сидит обложенная подушками и широко раскрытыми глазами смотрит на Марианну. Ни один мускул не дрожит на ее белом лице. Такое впечатление, будто Биргит спит с открытыми глазами.

Марианне мучительно хочется уснуть. Что должна я сделать, чтобы, невзирая на боль, найти в себе силы улыбнуться? Она пытается это сделать, что получилось — улыбка или страшная

гримаса? На лице ребенка не дрогнул ни один мускул.

В лицо Биргит надо вдохнуть жизнь.

Марианна с трудом пытается поднять руку, но у нее слишком мало сил, ей это не удается.

Сдаюсь, двигаться так мучительно больно, я хочу спать, я хочу спать — но хотя бы поднять руку, разочек подмигнуть Биргит. Хаотическая вереница мыслей: Биргит, Катрин, все дети, Вьетнам, дети, бомбы, — а я трушу.

Тот, кто не сдается, непобедим.

Она поднимает руку и кивает.

Я улыбаюсь — я с этим справилась.

Биргит серьезно кивает в ответ.

Смертельно усталая Марианна засыпает.

От яркого, резкого света больно закрытым глазам.

— Сестра, уберите, пожалуйста, лампу.

Тихий смех.

— Это же солнце. Оно светит вам прямо в лицо.

Таких диковинных вещей Марианне еще никогда не доводилось переживать. Она лежит в реанимации под непрерывным наблюдением. Два часа назад ей сделали операцию на сердце. Разрез идет от начала выпуклости груди до спины. Под разрезом дренаж, через который стекает жидкость из раны, в ногу вставлена канюля для переливания крови, в носу раздражающе царапают трубочки, через которые поступает кислород, на руке манжета для измерения кровяного давления, оно контролируется каждую четверть часа, ее мучают жажда и боли — и все-таки сияет солнце, солнце сияет над ее кроватью.

Бодрствовать, забываться, спать.

Она чувствует руку на своем лице. Ее разбудил профессор. Он улыбается, гладит ей щеку и говорит:

— Удачная операция, вы вновь будете здоровой.

Человеческая доброта трогает ее до слез. Ей хочется сказать слова благодарности, но она уже снова спит.

Будят ее боли.

Чтобы их победить, нужны силы. Она слаба, как упавший на землю лист.

— Сестра, ужасные боли.

— Знаю. — Сестра откидывает ей волосы со лба и увлажняет губы. Марианна пытается высосать несколько капелек из мокрого платка, но сестра быстро его убирает. — Скоро вы почувствуете себя лучше.

Как добры эти люди. Марианна кладет голову сестре на руку и шепчет:

— Побудьте со мной еще немного!

Сестра Траута, у которой так много дел, что она не знает, как ей с ними справиться, остается и держит Марианну за руку.

Как все к ней добры. Они понимают, как ее мучают жажда и боли.

Но кажется, люди перестают быть добрыми. У Марианны одна потребность: сон. У нее нет сил, необходимых для того, чтобы бодрствовали мозг и глаза. Как прекрасно, когда ею овладевает сон, несущий избавление от жажды и боли. Благословенный сон; спать до полного выздоровления — о таком здесь, пожалуй, и не слыхивали. К кровати непрерывно подходят люди и грубо ее будят. Палатный врач, фрау Хольц, медицинские сестры, даже изящнее, молчаливые сестры из Бирмы, которые едва говорят по-немецки и необычайно скромны, кричат ей прямо в уши:

— Пожалуйста, меньше спать, пожалуйста, глубоко дышать!

Через оконные стекла между реанимационной и палатой для специального наблюдения за больными Марианна видит лицо незнакомой сестры. Она молода, у нее рыжие волосы. Сестра куда-то исчезает, вдруг опять появляется и прикладывает к губам бутылку с сельтерской водой. Марианна отчетливо видит профиль сестры, пристально смотрит на бутылку, где капельки стремительно обгоняют друг друга, на влажный рот, на движущееся горло и со стоном проводит языком по сухим опухшим губам.

Марианна спит, Марианна просыпается. Завтра к ней придет фрау Хольц, тогда она должна будет кашлять и поднимать руку. Она пробует кашлянуть сейчас, не издает ни звука, но даже одно только беззвучное движение способно, кажется, разорвать грудную клетку.

— Сестра Траута, я думаю, если я начну двигаться, разойдутся швы.

У сестры Трауты широкие бедра, она небольшого роста и полна доброты.

— Что ты, дитя мое, рана зашита кетгутом, ничего не может случиться.

Кетгут! Ханна Шмидт, контролер по качеству, так же надежна, как и в школьные годы. Она не пропустит ни одной плохой нити. Когда-нибудь она обязательно навестит Ханну Шмидт в Клингентале, там, вероятно, красиво. И тогда она скажет:

— Знаешь ли ты, Ханна, твой кетгут…

Марианна пытается хотя бы поднять руку. Правой она берет левую больную руку и осторожно кладет ее на себя. Внутри все ноет, болит, горит огнем. Пот струится по ее лицу и, остывая,

вызывает ощущение зуда. Усилие, потребовавшееся для того, чтобы его вытереть, отнимает последние силы. На глазах рука наталкивается на очки. Почему? Может быть, у нее повреждено зрение?

Марианна спит. У нее болят глаза. Ей должны сделать операцию на глазах, она слепнет. У нее шрамы на лице. Катрин больше не узнает мать, она не может видеть Катрин.

Марианна пробуждается. Сосуд с кровью почти пуст. Еще интенсивнее стали боли, еще мучительнее жажда. Это был лишь сон, но она проводит рукой по лицу. Если сон повторится, она хочет запомнить, что рука ощутила, гладкую кожу.

У Марианны всегда был прекрасный цвет лица. «Тоже признак митрального стеноза», — сказал врач. Не выглядит ли она бледной и безобразной теперь, когда у нее нет стеноза?

— Сестра, могу я попросить зеркало?

— Зеркало?

Сестра Траута выполняет просьбу Марианны и говорит:

— Это очень правильно, надо быстрее возвращаться к нормальной жизни.

После того как сестра закрыла за собой дверь, Марианна с трудом подносит к лицу маленькое круглое карманное зеркальце. Беспрерывная жажда, боли при малейшем движении, при каждом вздохе, помутненное сознание от уколов и лекарств — все равно она должна знать, как она выглядит.

Белая, почти такая же белая, как Биргит, на носу очки, но без стекол, на них держатся трубочки, подводящие кислород, — страшно выглядит она, стара и безобразна.

Напряжение было слишком велико, Марианна хочет положить зеркальце на ночной столик, оно падает и откатывается в сторону.

Спать, только спать.

— Ну проснитесь же.

У кровати стоит рыжеволосая сестра. Она очень красива, и уже видно, что ждет ребенка.

— Ну, давайте же, давайте! — Сестра замечает лежащее на полу зеркальце и раздраженно говорит: — В этой палате только и делай, что постоянно нагибайся! — Выходя, она бормочет: — Какое все-таки кокетство!

Теперь Марианна больше не может выносить боль и сдерживать стоны. Слезы градом льются из глаз, если, она зарыдает, все внутри разорвется, ее тошнит, вот-вот вырвет, она задыхается, она очень больна и очень одинока, и именно эта сестра беременна… Была бы здесь мать. Позывы к рвоте, боли, недостаток воздуха, она должна позвонить. Но если снова войдет

эта сестра — все разорвется, даже кетгут Ханны не сможет здесь помочь, она умрет.

Открывается дверь, сестра Траута — слава богу, сестра Траута. Она уже у кровати:

— Глубоко дышать, дышать глубоко и спокойно, так, хорошо, вдох-выдох-вдох-выдох. Отлично — глубже, еще глубже, вдох-выдох. Но вы очень неудобно лежите, дорогая, погодите минутку, мы поправим подушки. Вот так лучше. Когда я сегодня шла сюда, я видела в пекарне первые рождественские коврижки. Ну, к рождеству вы будете уже дома, станете подниматься по лестнице сразу через две ступеньки — не забывайте о дыхании.

— Сестра, останьтесь, сестра, мне очень больно.

— Да, больно, но уже недолго, с каждым днем будет лучше. — Сестра пахнет крахмалом и снегом, от нее веет чистотой и теплом. — У меня есть для вас кое-что приятное. — Сестра опускает руку в карман фартука: — Телеграмма — прочесть ее вам?

Марианна качает головой:

— Хочу сама…

— Очень хорошо. — Сестра улыбается и покидает палату.

Марианна вскрывает телеграмму, она из дому. Буквы расплываются. Она опускает листок, закрывает глаза, отдыхает и делает новую попытку. Неудача. От напряжения ей становится плохо. В третий раз. Наконец она различает отдельные слова. Еще одна передышка.

«Поздравляем перенесенной операцией, будь мужественной и бодрой, все думают о тебе. Мама».

У Марианны текут по лицу слезы. Будь мужественной и бодрой.

Сестра Траута возвращается еще раз. Марианна спит, телеграмма крепко зажата в ее руке.

Пробуждение на следующее утро мучительно, боли подчиняют себе сознание еще до того, как Марианна открывает глаза. Все внутри склеено, покрылось твердой коркой, при каждом вдохе обжигает, разрывает и колет в груди. Малейшее движение требует мужества. Во время обхода профессора у нее не возникает желания открыть глаза, и он вынужден дважды просить ее об этом. Сегодня он не улыбается, серьезно смотрит на нее и говорит:

— Мы свое дело сделали, теперь делайте вы свое. Без вашего активного сотрудничества вы не выздоровеете. Дышите энергично, кашляйте, и главное — не спать так много.

Скорее бы они все ушли!..

В следующий раз ее будит Зуза Хольц.

Разве можно при таких болях делать массаж? Марианна пытается его избежать и, тяжело вздыхая, говорит:

— Мне так больно.

— В каком месте?

Слишком усталая, чтобы продолжать разговор, Марианна кладет руку на рану.

На фрау Хольц это, по-видимому, не производит большого впечатления.

— Завтра вы уже почувствуете себя лучше. Прошу вас, садитесь и выпрямитесь, — требует она, поддерживая рукой плечи Марианны.

Боль в ране, общая оцепенелость, головокружение — и вместе с тем чувство огромного изумления: я могу сидеть, действительно сидеть, я не опрокидываюсь и не разваливаюсь.

— Еще больше выпрямиться, хорошенько выдохнуть, пожалуйста, не дремать. Вы должны быть бодрой, расслабиться, глубоко дышать, наркоз — это яд, его необходимо удалить из дыхательных путей.

Зуза Хольц массирует руками спину Марианны. Голова тяжелая, а мозг легкий как дым. Если она должна будет долго сидеть, он улетучится из головы.

— Пожалуйста, ложитесь.

Фрау Хольц ребром ладони бьет по грудной клетке и приближается к ране. Марианну охватывает страх. Фрау Хольц начинает ее массировать. Массаж приятен.

Зуза Хольц говорит не умолкая:

— Расслабиться, не засыпать, если вы будете так поверхностно дышать, легкое не очистится и температура повысится. Повышение температуры с 37 до 37,1 градуса означает четыре лишних биения сердца в минуту, с 37 до 38 градусов — больше на сорок ударов, представляете, какая это нагрузка.

Пока массаж оживляет ее тело, Марианна чувствует, как ослабевает напряжение в грудной клетке, и наслаждается благотворным действием процедуры.

И тогда она слышит наводящие страх слова:

— Пожалуйста, откашляйтесь.

Она хочет быть мужественной, собирает последние силы — и пищит как испуганная мышка.

— Я вам немного помогу и положу вам руку на горло, это вызывает кашель; прошу вас не спать, если вы не очистите легкое кашлем, придется делать это путем отсасывания. Вы ведь хотите быстрее выздороветь, добиться этого можете только вы сами.

Фрау Хольц нажимает на горло. Раздается слабое хрипение.

Оно болезненно и требует больших усилий, У Марианны слипаются глаза.

— Еще несколько движений рукой. Вы ведь знаете, рана должна зажить так, чтобы рука сохранила подвижность. Добиться этого можно только гимнастикой.

Если бы фрау Хольц знала, как мало волнует ее сейчас рука.

— Хорошенько откройте глаза.

Марианна с трудом поднимает веки, смотрит мимо фрау Хольц и видит Биргит.

Биргит наблюдает за Марианной через стеклянную стену. Ее лицо еще бледнее, чем вчера, глаза еще больше, но она улыбается — по крайней мере улыбается рот.

— Пожалуйста, хорошенько поднимите руку.

Ощущение такое, будто она добровольно опускает руку в полыхающее пламя.

— И еще раз — и еще раз.

Биргит все это видит.

— Вы это проделали отлично. — Фрау Хольц гладит ее по лицу. — После обеда я снова приду.

Теперь Марианна может спокойно лежать и спать. Она еще слышит, как фрау Хольц подходит к второй кровати.

— Криста, милая, проснись.

Уже со вчерашнего дня она знает, что Криста находится рядом с ней. Обе надеялись попасть в то же отделение реанимации, чтобы вместе откашливаться. Но она еще ни разу не повернулась к Кристе, такое движение ей пока не под силу.

Снова ее будят, и возвращается прежняя боль. Она видит перед собой поднос — на нем белый хлеб и чай — и качает головой.

— Пожалуйста, ешьте, о пожалуйста, ешьте, — говорит маленькая сестра из Бирмы и поднимает миниатюрные ручки.

Биргит по-прежнему наблюдает за ней.

Чай кажется ей помоями, белый хлеб соломой.

День проходит в усталости и болях. При рождении Катрин схватки были ужасны, но они приходили с интервалами, в промежутках можно было набраться сил. Эта же боль неотступна, при каждом вдохе она действует как удар ножа по открытой ране, и, хотя от слабости Марианна едва может поднять руку, она глубоким дыханием должна сознательно усиливать боль, а кашлем делать ее буквально невыносимой.

Однако она хочет жить. Нельзя допустить, чтобы перенесенные ею страдания оказались напрасными. Катрин ждет, и родители на нее надеются.

И сразу ее охватывает глубокая тоска по дому.

Который теперь час? Может быть, сейчас они сидят на кухне за столом с потертой клеенкой? Катрин подложила подушку с вышитыми розами, берет обеими руками чашку с молоком, залпом ее выпивает и тут же тянется за хлебом. Но Дитер отстраняет ее руку, Катрин должна ждать, пока возьмут хлеб остальные.

Дитера и Катрин связывают особые отношения. Приходя в гости, он сразу спрашивает: где Катрин? Вне себя от радости она бежит навстречу, он подхватывает ее и хохочет. Катрин едва может дождаться, пока он с ней поиграет. Во время игры они как двое детей одного возраста — ссорятся и прибегают вспотевшие, обвиняя друг друга: «Дитер сказал мне „ябедница“», «Катрин сказала мне „обезьяна“».

Катрин с ревом убегает, грозится никогда больше с Дитером не разговаривать и через несколько минут, затевая новую игру, цепляется за его длинные ноги.

Дитер дает Катрин самый маленький кусочек хлеба. Та жалуется бабушке, которая входит с большим кофейником и укоризненно смотрит на Дитера.

Когда Марианна последний раз наполняла этот кофейник и несла его к столу, она думала: даже это небольшое напряжение дается мне с трудом, вызывает такое чувство усталости. Что же будет дальше?

И снова к ней возвращается ощущение огромного счастья. Придя домой, я первым делом подниму кофейник. Конечно, на самом деле она прежде всего обнимет свою Катрин, не думая о каком-то старом кофейнике. И она уберет квартиру, и будет ходить, бегать, танцевать, поднимать вещи, нести их, плавать и…

Марианна спит, просыпается, спит…

Каждый раз, пробудившись, она бросает взгляд в сторону Биргит. Если от боли у нее выступают на глазах слезы, она ложится так, чтобы Биргит их не увидела. Биргит тоже снегурочка, с черными глазами, темными волосами и белой кожей, снегурочка в стеклянном гробу.

Марианна улыбается ей, кивает и подмигивает. Большего она сделать не может. Но и это много значит для девочки.

Боли делают сегодняшний день самым длинным в ее жизни. Сто раз может она сказать себе: завтра будет лучше — сегодня, сейчас это не помогает, не смягчает боль. Бывают моменты, когда она хотела бы уйти из жизни, лишь бы только прекратить мучения. Она не думает о том, что болеутоляющие средства от многого ее уже избавили, что она редко бывает в полном сознании; она знает лишь, что боль довлеет над секундами, минутами и часами ее жизни. Только вечер приносит

долгожданный успокаивающий укол. Чудесный глубокий сон гасит все боли. Спокойной ночи Катрин, спокойной ночи Биргит. Марианна спит.

На следующее утро она разочарована, так как профессор на обходе не присутствует. Ей нужен его ритм, его подъем. Вместо него спокойный, скромный заведующий отделением доктор Бург. Он объясняет Марианне:

— Ваш сердечный клапан мы раскрыли без затруднений. Он был сужен до одного сантиметра, нам же удалось расширить его до пяти сантиметров. Легкие и печень у вас в хорошем состоянии. Вы знаете, что нарушенная циркуляция крови может повлечь за собой повреждение этих органов.

— Скажите, доктор, как широко открывается здоровый клапан?

— На пять-шесть сантиметров. Мы рады за вас, но теперь вам нужно хорошенько прокашляться — не правда ли?

— Доктор, это вы меня оперировали?

Он смеется.

— Это государственная тайна.

Не только профессор, все врачи неповторимы.

С нетерпением ждет Марианна фрау Хольц, надеясь, что с ее помощью прекратится это болезненное сжатие в груди.

Сегодня Зуза Хольц сначала массирует Кристу. Ладно, вчера первой была Марианна. Но разве фрау Хольц необходимо так долго сидеть на кровати Кристы и беседовать с ней?

Или Кристе отдают предпочтение?

Но ведь настолько же больна и я. А врачи, разве они также не задерживаются слишком долго у Кристы? Понятно, операционная сестра их любимица, пожалуйста, но не за счет же других больных. Кашляет Криста довольно плохо, я сделаю это лучше.

Наконец подходит фрау Хольц. Она считает пульс, смотрит Марианне в лицо и, довольная, говорит:

— Вижу, сегодня вам лучше.

А Марианна только хотела сказать, что боли остались такими же.

Фрау Хольц рассказывает о погоде, спрашивает о дочурке, ее возрасте, имени и говорит:

— Катрин наверняка уже очень радуется за вас.

В течение всей процедуры Марианна бодрствует. Во время кашля, звучащего, как тихий писк, она, невзирая на сильную боль, искоса посматривает в сторону Кристы, но Криста спит.

— Сегодня уже довольно прилично, не хочется ли вам чего-нибудь?

Марианна шепчет:

— Мне так хотелось бы знать, как чувствует себя Биргит.

Зуза Хольц ласково смотрит на нее:

— Ребенку тяжело. Для слабого сердца и нормальное кровообращение — большая нагрузка. Но у Биргит очень сильная воля к жизни и поразительная энергия. Сегодня ей уже лучше.

Перед обедом в реанимационную по соседству доставляют Хильду Вайдлих и укладывают рядом с Биргит, Марианна наблюдает, как вокруг больной хлопочут сестры. Надо надеяться, она не будет так распускать нюни, как перед операцией, и не послужит дурным примером для Биргит.

Фрау Вайдлих знобит. Неужели прошло всего сорок восемь часов с того момента, как она сама в таком же состоянии была доставлена в реанимацию? Впервые она сознает, что, несмотря на боли и слабость, ей лучше, но пределом желаний все еще является сон.

После дневного обхода в два часа доктор Паша задерживается у постели Кристы. Марианна отворачивается. Вновь Кристе отдается предпочтение.

— Как вы себя чувствуете? Муж просит передать сердечный привет, спрашивает, не нужно ли вам что-либо. Что ему передать?

— Хочу его видеть.

— Милая, в реанимацию ему никак нельзя, позднее, в палату, возможно, это удастся. Могу я что-нибудь сделать для вас?

— Доктор, я не хочу все время думать о боли, спойте мне песню.

Врач опешил и краснеет.

— Песню вашей страны.

Доктор Паша оглядывается, снимает роговые очки в черной оправе и смотрит куда-то перед собой.

Впервые за все время существования больницы в реанимационной, где лежат самые тяжелые больные со свежезашитыми ранами на сердце, звучит песня.

— Наши женщины поют эту песню во время уборки хлопка. Сейчас, — он распростер руки, — я спел ее для двух женщин этой страны.

Марианна смотрит ему вслед, когда за ним закрывается дверь… Для двух женщин этой страны…

— Криста, очень плохо?

Криста хочет протянуть ей руку, но слишком сильна боль.

Марианна подвигается на край кровати и гладит плечо Кристы:

— Мы с этим справились, все будет хорошо.

Они не успевают снова заснуть, как приходит Ханс.

Он останавливается в коридоре и, как дети в вагоне поезда,

прижимает нос к оконному стеклу. Он икает, его кадык ходит взад и вперед, и он стискивает зубы. Потом он с этим справляется, и он сияет. Криста пытается улыбнуться ему в ответ, и слезы текут по ее лицу. Ханс заглядывает в комнату сестер. Может быть, он мог бы прошмыгнуть на секунду к своей Кристе, чтобы она поскорее выздоровела. Все сестры повернулись к реанимационной спиной, только рыжеволосая смотрит в эту сторону и внимательно наблюдает.

Марианна желает ей зла. Но как может она пожелать плохое будущей матери.

Тройню! — разгневанно решает Марианна, именно это, пусть у нее будет тройня!

Входит сестра Траута, измеряет давление и расправляет простыню. Как ловко она все делает. Если утром она моет больного, тот чувствует себя действительно помытым, а не чуть облизанным; если она делает укол, больной знает, что ему больно не более того, чем это действительно необходимо.

Она подает Марианне таблетки.

— Ваши родители звонили заведующему отделением, просили передать вам сердечный привет и сообщить, что малютка чувствует себя прекрасно.

— Спасибо, сестра, спасибо.

Марианна закрывает глаза: теперь отец с матерью возвращаются с почты домой под руку. У отца очень много знакомых, их все время останавливают и расспрашивают. Каждый раз он отвечает: моя дочь перенесла операцию хорошо. Но он не был бы ее отцом, если бы тут же не использовал разговор для того, чтобы пригласить собеседника на очередное собрание, вытащить из кармана пальто подписной лист, рассказать о письме из Западной Германии, свидетельствующем об опасном развитии событий. И так как отец человек пожилой, он очень обстоятелен. Мать тянет его за рукав, знакомые, возможно, торопятся, да и Катрин одна дома, спит после обеда.

Когда она снова будет с ними?

Марианна забыла, как у родителей тесно, как велико бывало порой ее желание иметь свой дом, как часто раздражала ее страсть отца к коллекционированию. Нет большего счастья, как иметь таких родителей. Ей не нужно тревожиться о ребенке, а когда она возвратится из больницы, мать будет любовно за ней ухаживать. Все-таки как ей хорошо. Ей очень хотелось бы доставить родителям радость, но что может она сделать в промежутках между бодрствованием, сном, болью, кашлем, переливаниями крови и уколами?

Осторожно поворачивается она к ночному столику. Во время

обеда она сама подносила ложку ко рту, значит, должна удержать и шариковую ручку.

«Дорогие мама, папа, Дитер и…»

Нет, такой дрожащий почерк родителей только перепугает.

Несколько раз пытается она написать черновик, делает передышку и начинает сначала.

> «Мои дорогие, итак, позади уже два дня. Я бесконечно рада, хотела бы всех вас обнять. Но я очень слаба, любой пустяк мне не под силу, а спать я могу беспрерывно. Хочу быть мужественной, чтобы вскоре снова быть с вами. Поцелуйте мою Катрин. Я так счастлива».

Больше часа писала она это письмо и сейчас настолько слаба, что не в состоянии написать на конверте адрес.

Когда она просыпается, уже горит свет.

Биргит в горе. Слезы текут по ее лицу. Боли, тоска по дому или дурной сон?

Тщетно пытается Марианна обратить на себя внимание. Криста спит. Хильда Вайдлих едва ли еще пришла в сознание, да и, чувствуй она себя лучше, вряд ли позаботилась бы о ребенке.

Наконец Биргит смотрит в ее сторону. Ее вьющиеся волосы отбрасывают тень на стене. Когда она видит Марианну, слезы текут сильнее.

Как отвлечь Биргит от ее горестей?

Тени!

Марианна кладет подушки пониже, поднимает здоровую руку вверх, два пальца превращаются в заячье ухо, три пальца образуют голову и мордочку: заяц шевелит на стене губами, утка открывает и закрывает клюв, цветок колышется на ветру.

Медленно высыхают слезы на лице Биргит, медленно берет она свою игрушку, с трудом поворачивается на бок и заставляет тень барашка прогуливаться по светлой стене в честь Марианны.

Тень скользит и исчезает, Биргит и Марианна спят.

На третий день Марианна, едва проснувшись, чувствует нервное возбуждение. До сих пор она была чересчур больна, чтобы расстраиваться из-за мелочей. Сегодня ее раздражает, что нога прочно привязана к шине, а дренаж под ребрами стесняет движения. Еще вчера ее успокаивала мысль: если мне станет плохо, немедленно кто-нибудь подойдет, сестры за стеклянной стеной меня видят, это почти то же самое, как если бы кто-то сидел у моей кровати. Теперь же мысль об этом вызывает протест:

вечно за тобой наблюдают, тебя контролируют.

И тогда она слышит, что еще до обеда дренаж удалят. Вместо радости ее охватывает панический ужас. Вчера все ее хвалили за большую энергию — очень редкий случай, чтобы через сорок восемь часов после операции больной написал письмо, — сегодня она лишится своей хорошей репутации. И когда рыжеволосая сестра еще только вкатывает в реанимационную столик с инструментами, Марианна уже дрожит от страха. Но сестра лишь ассистирует доктору Штайгеру. Один-единственный болезненный рывок — и все.

Часы страха перед одной секундой боли. Каким глупцом может быть человек, и все-таки как легко и счастливо себя чувствуешь, когда все уже позади.

Сегодня у нее впервые нормальная температура. Значит, день обещает быть хорошим.

Ее окликает Зуза Хольц и подсознательно, еще не очнувшись от сна, Марианна начинает глубоко дышать.

Она сидит, радуется процедуре и беседе с фрау Хольц. Ее взгляд падает на соседнюю кабину, и она сразу сникает.

— Что с Биргит? Ее кроватку отгородили ширмой.

— Ничего плохого, отсасывают легкое. Вам нельзя так волноваться, вам это вредно, смотрите, как сразу подскочил пульс.

Марианна опасалась худшего, но и то, что ребенок должен так мучиться, очень огорчительно и несправедливо.

— Из всех вас Биргит самая мужественная, — говорит Зуза Хольц.

Марианна старается не спать, пока не уберут ширму, но, очевидно, все-таки уснула, так как сестра Траута стоит у ее кровати и говорит:

— Вы никак не хотите проснуться, а у меня для вас хорошее известие.

— Самым лучшим было бы дать мне поспать двадцать четыре часа подряд.

Сестра Траута смеется.

— Моя новость получше: сегодня вы возвращаетесь в свою палату.

Из этой стеклянной кабины в палату — такое кажется невероятным.

— На мою кровать у окна, это правда, так распорядился профессор?

— Профессор сказал: «Прочь из этой обстановки, ей надо быть среди людей».

— Значит, он заметил, что утром я нервничала.

— Наш профессор замечает все. И не волнуйтесь так, дорогая.

В палату! Переводят ли туда и Кристу? Ведь их оперировали в один день. Криста спит.

У Марианны одно желание, пусть уберут ширму до того, как она покинет это помещение. Она хочет видеть Биргит. Для малютки будет ударом, когда она взглянет в ее сторону и увидит пустую кровать или лежащего на ней незнакомого человека.

Может быть, послать записку фрау Вайдлих, чтобы она обратила на ребенка внимание? Нет, не имеет смысла, Хильда Вайдлих не интересуется даже собственной жизнью, она вообще не пытается бодрствовать и отказывается принимать пищу.

Марианну кладут на передвижную койку. Криста спит, кровать Биргит все еще закрыта ширмой…

Окна в палате широко раскрыты, на стене играют световые блики, как тогда перед операцией — пять дней назад.

Для большинства людей это была нормальная неделя: встать, позавтракать, узнать, какая погода, пойти на работу, просмотреть газету, поужинать. Для Марианны это спасенная жизнь, путь к выздоровлению.

В реанимации это чудесное ощущение было лишь просветом между тучами и туманом, теперь же оно определяет все течение дня. Марианна глубоко дышит и счастлива. Боли постепенно утихают, она поднимается и садится сама с помощью бечевки, прикрепленной к краю кровати. Она все еще очень слаба, дает себя знать усталость, но она и засыпает и пробуждается в радостном настроении. Она знает, что должна еще очень беречься, пока сердечная мышца, которая ослабла, не привыкнет перегонять полное количество крови через расширенный клапан. Донимает иногда то тут, то там, еще слишком высока реакция оседания эритроцитов (РОЭ), плохой аппетит, и она заставляет себя есть. Но все это мелочи, отдельные комариные укусы на протяжении ничем не омраченного летнего дня.

Позавчера, когда ее перевели в палату, у нее вновь повысилась температура.

— Сместившийся зубец, — говорит сестра Гертруда Зузе Хольц. Марианна чувствует себя несчастной. Неужели на сердце имеются зубцы и один из них у нее переместился? Нет, фрау Хольц пошутила. Это повышение температуры ничего не означает, почти все больные, возвращенные в свою палату, так от радости волнуются, что у них повышается температура.

Вчера, когда возвратилась и Криста, Марианна тут же спросила ее о Биргит.

— Вероятно, ей стало лучше. Когда я проснулась, ее в реанимации не было, надо думать, она уже в детской палате, —

говорит Криста. — Но фрау Вайдлих все еще огорчает врачей, лежит в кровати неподвижно, как куль с мукой.

У Кристы нет особого желания разговаривать, да и Марианне сейчас приятнее всего спокойно лежать и мечтать. Она хочет почувствовать на лице лучи солнца, убирает из-под головы подушку и сползает по наклонной сетке кровати вниз. Целые два года ей приходилось избегать солнца, так как сердце не переносило жары. Возможно, это было не так уж и важно, но молодому человеку грустно всегда находиться в тени, никогда не загорать на пляже, не носиться на байдарке по сверкающим волнам.

Марианна закрывает глаза, и ей кажется, что она чувствует лучи летнего солнца. Веки скорее всего ощущают тепло.

Внезапно она замечает что-то новое, поднимается и рассматривает свою постель. Я лежала в горизонтальном положении, я вновь могу лежать горизонтально, не чувствуя себя как рыба на песке. Я лежу горизонтально, я лежу горизонтально! Ей хотелось бы громко об этом запеть.

Марианна еще только собиралась заговорить о своем счастье, как Криста сказала:

— В твоих глазах сегодня впервые вспыхнули золотые искорки.

Теперь у каждого дня много своих «впервые».

— Я хотела поговорить с тобой о фрау Вайдлих, — продолжает Криста, — сегодня она возвращается в палату.

Марианна желает фрау Вайдлих всего самого доброго, но ей было бы приятнее, если бы та перешла в другую палату, а беседовать об этой больной у нее вообще нет никакого желания. Она хочет одного — лежать вот так, вытянувшись, погрузиться в собственные мысли и — радоваться.

— Сестра Траута и Зуза разговаривали со мной, — говорит Криста. — Фрау Вайдлих чувствует себя не хуже, чем мы. Ее операция прошла успешно, но, несмотря на это, если она будет так вести себя дальше, она не выздоровеет, ибо выздороветь не желает. Жизнь потеряла для нее цену, так как муж не проявляет никакой заинтересованности в том, чтобы она осталась жить.

— Как ты можешь говорить такое, я не хочу знать об этом.

Марианна обороняется, не желая вникать в чужие дела. Криста — медицинская сестра и одновременно больная, и интерес с ее стороны понятен, но Марианна всего-навсего больная и не желает слышать ничего плохого или вызывающего волнение. Она всегда была готова нести ответственность, и не только за себя, но также и за других. Она охотно поможет, но не теперь, не в эти дни. Ей самой еще далеко до выздоровления. Самое плохое,

правда, позади, но и эта палата своего рода реанимационная для тяжело больных. Не проходит и пятнадцати минут без того, чтобы какая-либо сестра не подходила к той или иной кровати. Главный врач приходит ежедневно, посетители не допускаются, так как любые волнения больным категорически противопоказаны. Даже мать она не может увидеть, так как это могло бы ей повредить, а с фрау Вайдлих она должна мучиться. Нет, она не желает никакого вмешательства в со драгоценные беззаботные часы, они нужны ей, чтобы поскорее выздороветь. И ей самой еще надо много работать над собой. Сейчас, например, везде возобновились боли. От уколов на ней нет живого места, и она не знает, как лечь. И РОЭ у нее еще не в порядке, сказал доктор Штайгер. В груди она ощущает какую-то тяжесть, это, наверное, что-то плохое. Завтра будут снимать швы, надо надеяться, рана при этом не откроется.

Всего этого Криста не учитывает. Картина жизни фрау Вайдлих постепенно раскрывается…

На протяжении многих лет бесхитростная и довольная своей участью вела Хильда Вайдлих домашнее хозяйство. Она делала все так, как того хотел и требовал ее муж. Ссор и сердитых слов они не знали. Его удовлетворяло то, что она давала ему, она же, исполненная восхищения, была влюблена в его наружность, мужественность, гордилась тем, что он начальник цеха. Охотно смиряясь со своим положением, она не замечала его эгоизма, пока не обнаружилась ее сердечная болезнь. Как реагировал господин Вайдлих на присутствие усталой нервной женщины, неизвестно. Об этом фрау Вайдлих никому не рассказывала.

Ее подлинное крушение началось, когда она узнала о существовании «другой». Ведь и будучи здоровым человеком, она была беспомощной и зависимой. Возможно, в течение нескольких дней она устраивала ему сцены, потом смирилась и хранила печаль в своем сердце, там же, где гнездилась болезнь.

Господин Вайдлих слышал о том, что возможна операция, и начал на ней настаивать. Наверно, она спрашивала его, полная удивления и горечи: почему тебе так важно, чтобы я выздоровела? И он отвечал: неужели ты считаешь меня таким уж плохим? Ведь я к тебе привязан.

Постепенно она дозналась, в чем дело: муж был наслышан об операциях подобного рода со смертельным исходом.

— Возможно, ему были известны и удачные операции на сердце, — говорит Марианна, — может быть, он действительно не желал ничего дурного. И вообще, откуда вам все это известно?

Господин Вайдлих был у профессора. Он оказался настолько бесчувственным, что привел с собой любовницу. И вот, лишь коридором отделенный от жены, только что перенесшей

операцию, он сидел в консультации, и по его вопросам нетрудно было догадаться, какой ответ он ожидал услышать.

Когда всю свою неукротимую энергию профессор обрушивал на противника, она действовала столь же сокрушающе, сколь целительна она была в других случаях.

Криста знавала и такого профессора. Преисполненный гнева, с глубокой складкой на переносице, делающей черные глаза еще более сдвинутыми, с взъерошенными волосами, он походил на самого сатану. Только сатану без адской жары и чистилища. Словами ледяного презрения он так кромсал свою жертву, словно держал в руках анатомический скальпель.

Зуза Хольц видела, как они выходили из комнаты: бледный, с поникшей головой мужчина и дрожащая, вытирающая глаза носовым платком женщина.

Но эгоисты быстро приходят в себя. Обещанное им ласковое письмо жене так и не поступило.

«Попытайтесь, милая, вы, — сказал профессор, обращаясь к фрау Хольц, — медицина не сможет спасти эту женщину, она у нас умрет, так как сама этого хочет…»

Криста засыпает, но Марианна, теперь взволнованная, бодрствует. Все происходящее она не может объяснить только тем, что фрау Вайдлих ограниченный человек, не интересующийся ничем, кроме крохотного мирка своих домашних дел. Марианна никогда не осталась бы с таким подлым человеком. Но кто возьмет здесь на себя роль судьи…

Задолго до того, как она порвала с Карлом, когда еще любила его и страдала от унижений, которым он ее подвергал, она думала порой: я должна от него уйти. И мир становился пуст. Не было больше книги, написанной для нее, музыка оставляла ее полностью равнодушной, солнце и звезды отливали тусклой желтизной и не сверкали, как прежде, золотом, у всех людей оказывались одинаковые лица, и произносимых ими слов Марианна больше не воспринимала. Многим ли отличалось это от капитуляции перед тяжелой болезнью?

Как установить контакт с фрау Вайдлих в ее нынешнем состоянии? Нельзя же просто позволить ей умереть…

Сестра Гертруда приносит почту, и Марианна забывает об окружающих.

Когда они беседовали о Хильде Вайдлих, Криста спросила: «Что больше всего помогает тебе здесь, в больнице?»

Марианна хотела ответить: обходы профессора, процедуры фрау Хольц, но она сказала: «Письма моей матери».

Мать, которая обычно писала редко и неохотно, ежедневно присылала несколько строк. Рассказывала она почти

исключительно о Катрин. Марианна могла бы также сказать: больше всего помогает мне мысль о моем ребенке. Вот что писала об этом мать:

> «Сегодня на завтрак Катрин съела три бутерброда. Теперь она много играет с маленьким Петером, живущим по соседству. После обеда пошел дождь, и я дала ей одну из оставленных здесь тобой детских книг с картинками. Она их рассматривала. Наблюдала также, как дедушка прогонял с заднего двора черную кошку. Потом подошла ко мне, обняла и сказала: бабушка, но маленьких кошек дедушка не прогонит? В ее книжке я нашла изображение котенка, лакающего из мисочки молоко.
>
> Я так счастлива, что ребенок у нас, и дедушка тоже. Когда вы рылись иногда в его вещах, вы получали подзатыльники. Катрин позволено все. Я уже слежу за тем, чтобы ее не слишком баловали. Как часто она говорит: когда же моя мама будет здесь! Вчера мы отправили тебе посылочку с пирожными, яблоками, медом и шерстью. Понравились ли тебе фотографии Катрин? Их сделал Дитер».

Десять раз в течение дня перечитывает Марианна эти письма.

Если пишет отец, каждое слово так полно отражает его верное доброе сердце, что ей тут же хочется обнять его и сказать ему что-то очень ласковое и нежное.

В его письмо вложен фотоснимок из журнала: санаторий «Чайка» в Сочи. На переднем плане пальмы, отец пишет, что именно от этих пальм тот сеянец, что теперь так хорошо растет у них дома.

Отец привез деревце из своего прошлогоднего сказочного путешествия. Всю жизнь мечтал он о поездке в Советский Союз. На шестьдесят восьмом году жизни, когда были установлены почетные пенсии для борцов против фашизма, у него впервые оказалось достаточное для этого количество денег.

Вначале пальмовое деревце было таким крохотным, что никому не мешало, но скоро оно заняло в небольшой комнате не меньше места, чем занимает человек, что вызвало новые нарекания со стороны матери.

Последняя фраза в письме отца, как всегда, гласила:

> «Конверт с маркой сохрани для моей коллекции».

Родителям Марианна писала:

«С каждым днем я чувствую себя лучше. Профессора я по-настоящему люблю, он прост, сердечен и полон жизни. Я сплю и сплю, но эта усталость приятна. Мне так хорошо, когда настежь распахнуты окна, и я знаю, все это уже позади, а впереди у меня прекрасная жизнь. Катрин хорошо ухожена, вы заботитесь обо мне, и я могу спокойно выздоравливать… Всего, что чувствую, не выразить словами».

Дитер писал забавные письма, она читала их Кристе, и они вместе смеялись. В одном из них он писал:

«За успешную практику меня премировали; отец же перестал сердиться на меня за то, что ношу слишком остроносые ботинки».

Ее ученики, с которыми она была разлучена уже более года, слали письма, словно понимали, что значат письма для человека в больнице, как укрепляют его волю к жизни. Написанные малышами строки и их рисунки, изображающие реку, солнце, спортивную площадку, читали даже сестры. Марианна дала их и фрау Вайдлих.

— Если бы у меня были дети… — больше в этот день она не произнесла ни слова.

Профессор убеждал Хильду Вайдлих:

— Операция создала все необходимые условия для вашего выздоровления. Картина крови у вас хорошая, давление нормальное, сердечные шумы исчезли, легкое работает. Но все это изменится, если вы не будете нам помогать. Вы должны глубоко дышать, заниматься гимнастикой и прежде всего есть. Ваш пульс и значительная потеря веса внушают опасения. — Крохотный ротик Хильды Вайдлих начинает подрагивать. — Возьмите себя в руки. Уважайте наш труд и помогите нам. Многие, готовые на все, чтобы выздороветь, ждут этой операции.

Фрау Вайдлих рыдает.

Фрида Мюллер и Ангелика Майер уже несколько дней назад из реанимации возвращены в свою палату. Ангелика упорствует в своем неприятии медицины. Подошедшему к ее кровати профессору она заявляет:

— Весь этот яд только усиливает мою болезнь, пусть сестры прекратят его давать, иначе я не выйду отсюда.

— Без медицинской помощи вы бы давно умерли, — отвечал тот. — Вы отлично себя чувствуете, но, чем лучше вы себя чувствуете, тем больше брюзжите. Завтра встанете вы, а фрау Мюллер уже сегодня.

Поддерживаемая с обеих сторон, фрау Мюллер подходит к окну.

— Как новорожденная, — говорит шестидесятипятилетняя со стимулятором у сердца. Снова лежа в постели, она шепчет: — Если бы мой муж дожил до этого.

— Вот порадуются ваши дети и внуки, — говорит Марианна. — Кем, собственно, был ваш муж?

— Мой муж был кочегаром на локомотиве… — Она вытирает слезы. — Умер три года назад — от болезни сердца. Не думайте, что кочегар такая простая профессия. Муж, — продолжает она, — всегда говорил: кто работает головой, экономит мускулы. Боже мой, как долго не могла я вспомнить эти слова… какая удачная операция. Кто же ее все-таки делал? Могу ли я послать всем врачам сразу корзину грибов, или они обидятся?

— Они очень любят грибы, — говорит Криста.

— Да, мой муж всегда говорил: бывают кочегары, которые швыряют лопатой черное на черное. С ним такого никогда не случалось.

— Не совсем понимаю, — говорит Марианна.

— Настоящий кочегар ждет, пока угли нагреются до красного каления, и лишь тогда подбрасывает новые, Некоторые работают бездумно, не следят, сколько вагонов тащит локомотив и чем они заполнены. И получается, что такой кочегар для перевозки пяти вагонов с древесной шерстью расходует столько же угля, сколько для состава из пятнадцати вагонов со станками. Хотите верьте, хотите нет, но некоторые для собственного удовольствия пять раз в течение дня открывают аварийный вентиль, не думая о том, что при этом каждый раз бесполезно сжигается полтора центнера угля. Некоторые…

Приносят обед.

Ангелика ковыряет вилкой в тарелке, морщится и сетует:

— Всегда один и тот же соус, все здесь невкусно.

Марианна с трудом сдерживается:

— Вы всегда чем-нибудь недовольны, по-моему, еда вкусная.

— А вы сразу все подводите под политику, — говорит Ангелика, набивая рот картофельным пюре.

Марианну охватывает бессильная ярость. Ей хотелось бы сказать то, что она думает: на такую вот мы расходуем шесть тысяч марок в твердой валюте, чтобы сохранить ей жизнь.

После обеденного перерыва появляется Зуза Хольц с елочными ветвями, лентами и свечами.

— Я пыталась дома изготовить к рождеству елочные украшения, но, по-видимому, оказалась очень неумелой. Фрау Вайдлих, не будете ли вы добры мне помочь? Ведь садоводы это

умеют.

Фрау Вайдлих берется — впервые без настоятельной просьбы, еще колеблясь и неловко — за бечевку, помогающую больному садиться. К ее постели придвигают маленький столик.

— Хорошо пахнет, — она обнюхивает ветви, — мне нужна еще проволока.

— У Ханса, безусловно, найдется, — быстро говорит Криста.

— Конечно, — восклицает Зуза Хольц, — как я могла забыть!

Она направляется в отделение медицинской электроники и нервничает, так как там проволоки не оказывается.

— Сейчас она важнее всех ваших колдовских машин.

— Слыхали, новый метод спасения человеческих жизней с помощью проволоки, — ворчит Ханс.

— Совершенно верно, — отвечает фрау Хольц, — иногда случается и такое.

Когда она возвращается, Хильда Вайдлих спит, окруженная еловой зеленью.

Марианна и Криста сообщают, что она произнесла по меньшей мере четыре фразы и на ее лице появилось некоторое подобие улыбки.

— Как у грудных детей, когда порой не знаешь, была это улыбка или гримаса, — объясняет Марианна.

Как прекрасны раннее пробуждение и уверенность в том, что каждый день приносит с собой выздоровление.

Вначале солнце появляется в ногах кровати Марианны. Ей хотелось бы попросить землю быстрее вращаться, чтобы солнце светило ей в лицо.

А может быть, не дожидаясь, самой добраться до солнца?

Осторожно пытается Марианна сползти на конец кровати. Она не может опираться на левую руку и скользит вдоль постели на спине. Но как ей повернуться? Спускать ноги с кровати строго запрещено. Пока другие напряженно за ней наблюдают, подают советы, она достигает цели, счастливая и обессиленная кладет голову на железные прутья. Как она уже самостоятельна, она заново отвоевала два метра свободы.

Чувствовать, мечтать, думать… Окно открыто на расстояние шириной в две ладони.

Здесь я лежу и сквозь узкую щель наслаждаюсь теплом солнца, которое, находясь на расстоянии около 150 миллионов километров, меня лечит, согревает и радует, словно там, высоко в небе, этот гигант находится специально для этой больничной койки, для моего лица, чтобы оно загорело, для моей раны, чтобы она зажила. Я читала где-то, что на каждый квадратный метр земли оно расходует 1,374 киловатта энергии. И это мои 1,374, с

помощью которых оно обеспечивает мне персональный комфорт.

Меня радует, что, кроме меня, этим комфортом наслаждаются миллиарды других людей. Человечество совершило великие открытия. Люди когда-нибудь научатся по своему усмотрению включать над своими странами энергию солнца и свежесть дождя.

К чему людям было изобретать, как посредством искусственно полученной энергии убивать, душить, сжигать миллионы людей? Неужели это единственный выход из ими же созданных трудностей? Никому не позволено решать возникающие конфликты, уничтожая своих соседей или братьев, это противоречит морали и закону.

Но разве убийство не преступление во сто крат более страшное, если речь идет о миллионах людей? Даже сама возможность подобного преступления должна быть исключена, а любая попытка оправдать его должна сурово караться, объявляться вне закона.

Мысли, чувства, мечты вращаются вокруг квадратного метра земли, вокруг всего земного шара…

Сегодня Марианна еще ничего не знает о Биргит. Как только кто-нибудь зайдет, она попросит передать ей привет. У сестры Трауты она хотела бы узнать, не разрешат ли ей повидать Биргит, это не только доставило бы радость Марианне, но, возможно, хорошо подействовало и на ребенка. По-видимому, ей не разрешат.

Пакет с шерстью лежит в ящике ночного столика. Марианна хочет к рождеству связать шарфик, шапочку и перчатки для Биргит и маленький костюм для барашка. Он должен выглядеть как в сказке, которую она ей рассказывала. Она заказала красную шерсть, этот цвет хорошо подойдет к черным волосам, темным глазам и смуглому лицу. Пока еще Биргит бледна, но скоро она сможет бывать на свежем воздухе. Для Катрин она хочет подготовить такой же комплект из синей шерсти; но для вязания еще не хватает сил.

Теперь она поговорит с фрау Вайдлих, а если ей это не удастся, побеседует с Кристой о том, как фрау Вайдлих помочь. Пока Хильда Вайдлих занята изготовлением елочных украшений, она втягивается в общий разговор, но уже через несколько минут устает и замолкает.

Однако фрау Вайдлих упорствует в своем желании умереть. С каждым днем ее лицо становится все тоньше и все больше бросаются в глаза впадины над ключицами.

Уже второй раз — для фрау Вайдлих — рассказывает Марианна историю своего развода. Как тяжело расставаться с

человеком, даже если ты в нем разочаровалась. Рушится мир, и, кажется, не остается ничего, ради чего имело бы смысл жить дальше. Но никто не стоит того, чтобы из-за него гибнуть, и меньше всего тот, кто причинил тебе столько горя. Надо быть гордым, нельзя позволить унижать себя, плохо с собой обращаться. Уж лучше тогда расстаться и жить одному. Очень важно при этом желание построить для себя новую жизнь.

Возможно, фрау Вайдлих прислушивается, но слова других ей не помогут, ведь это всего лишь слова.

По мнению Зузы Хольц, от еловых ветвей как вида трудовой терапии, а также от добрых слов нечего ждать чудес, но для фрау Вайдлих они могут иметь решающее значение.

Криста говорит:

— Мне кажется, она особенно хорошо относится к Марианне после той сказки об овце.

— Не могу же я каждый день выдумывать детскую сказку для фрау Вайдлих, — отвечает Марианна.

Неприятно удивленная смотрит на нее Зуза Хольц. Но такова жизнь: нетерпение и сострадание чередуются; забота о другом человеке требует постоянных усилий, Говорить о разводе — значит думать о нем, и минуты эти отнюдь не самые светлые…

И внезапно возвращается ощущение радости: резвиться вместо с ребенком, нести тяжелый поднос, легко справляться с работой. Как много прекрасного ждет ее впереди.

Ей представляется уже естественным, что она не всегда будет одинокой. И хотя ни о ком определенном она не думает, она ждет этого времени.

Лежать горизонтально, дышать, не испытывая страха.

Марианна натягивает одеяло на голову, сооружает из него нечто вроде пещеры и лежит в темноте с открытыми глазами, пока обеспокоенная Криста не стягивает с нее одеяло.

— Я кое-что проверяю, — объясняет Марианна.

— И довольна результатами?

Марианна кивает.

Палатка и ее удушье, отчаянные попытки победить страх — и вот теперь она спокойно лежит в узком пространстве при ограниченном притоке воздуха.

Разве забудет она когда-нибудь годы своей болезни?

Кто думает о болезнях, если у него все в порядке? Все хорошее, нормальное представляется совершенно естественным. Она хотела бы еще раз залезть под одеяло, чтобы быть абсолютно уверенной, чтобы заново вкусить радость; но ей неловко перед другими.

Ее радость граничит с озорством. Ей приходит на ум модная

песенка, которую она не выносила за сентиментальный текст, но теперь она приобретает двойной смысл. Тихонько она напевает:

Сердце, его ведь не купишь,
как дефицитный товар,
но если кому повезет,
но если кому повезет,
тому принесут его в дар.

Сестра Траута приносит укрепляющее лекарство для фрау Вайдлих.

— Вот это здорово, — говорит она, — песни через девять дней после операции.

— Когда разрешат мне впервые встать и обойти вокруг кровати? — спрашивает Марианна.

— Скоро, если так пойдет дальше.

Сердце, его ведь не купишь.

Громко шаркая, входит медлительная уборщица, бабушка, у которой двенадцать внуков. Щеткой она задевает за ножки кроватей, не понимая, как это мучительно для больных, ее тряпка запутывается за любой встречающийся на пути предмет. Когда ей нужно нагнуться, она кряхтит и жалуется на трудную жизнь, жалобы, по-видимому, тоже относятся к радостям жизни.

…но если кому повезет,
но если кому повезет…

Совок для мусора полон апельсиновых корок, уборщица ногой нажимает на педаль закрытого ведра. Крышка поднимается.

Марианна видит голову принадлежащего Биргит барашка, торчащую из листа скомканной газетной бумаги. Глупая старая женщина, не знающая, что означает он для Биргит; вероятно, игрушка выпала из кроватки, пока ребенок спал.

И вдруг она понимает:

«Биргит умерла».

Марианна это только прошептала; крик пронзает сердце, рвет свежий шов, ударяется о стенки, жгучей болью врывается в кругооборот крови, заполняет легкое и подавляет дыхание.

Криста звонит.

Сестра Траута поворачивает Марианну, вырывает у нее из рук

одеяло и пытается ее посадить.

Вызывают доктора Штайгера, который делает ей укол.

На протяжении нескольких часов в палате не слышно ни слова.

Ночью у Марианны жар, она дышит порывисто и поверхностно. Утром ее бечевка лежит неиспользованной в ногах кровати, она лежит с закрытыми глазами и лицом, обращенным к окну.

Почему должна была умереть Биргит? Кому этот ребенок причинил зло?

Биргит, ведь ты мне уже кивнула после операции. Напрасны твои страдания, сложная операция, столько людей, боролось за твою жизнь.

Родители звонят: как чувствует себя Биргит?

Операцию она перенесла хорошо.

Родители звонят: как она себя чувствует?

К сожалению, мы должны вам сообщить…

Это слишком бессмысленно, слишком жестоко… Красивый ребенок с его смехом, слезами, переживаниями, мыслями, маленьким теплым тельцем, теперь же он просто больше не существует, он мертв, как стена, как подоконник, мертвее, чем барашек в мусорном ведре.

С Марианной разговаривает Криста, ее убеждает Фрида Мюллер, Ангелика Майер начинает фразу, обрывает ее и сморкается в большой и не очень чистый носовой платок.

Хильда Вайдлих широко простирает руки:

— Я вас понимаю. Пусть бы вместо Биргит это произошло со мной. Теперь же я боюсь, что вновь заболеете вы. Пожалуйста, не грустите так сильно.

Криста внимательно смотрит на Хильду Вайдлих.

Марианна думает: к чему все эти разговоры — к чему?

— Что мы можем сделать для фрау Мертенс? — косички Хильды Вайдлих возвышаются над головой, как два вопросительных знака. — Может быть, она любит елочные украшения?

— Несомненно, — шепотом отвечает Криста, — И съешьте что-нибудь ради нее на завтрак. Мы должны вывести Марианну из этого состояния уныния, отвлечь, рассказать ей что-нибудь интересное, а во время занятий гимнастикой затронуть ее самолюбие.

— Да, мы сделаем это. — Хильда Вайдлих складывает хрупкие костлявые пальцы. Ее кольца лежат в ящике ночного столика, они стали ей велики.

Марианна лежит с закрытыми глазами. Смерть Биргит словно

лишила смысла ее собственную жизнь.

Она всегда была бездарной, ее семейная жизнь разбита, в своей профессии она никогда не добьется высокого мастерства. И никогда, вероятно, она не станет по-настоящему сильной и здоровой. На чем же основано ее право на жизнь, если такие дети, как Биргит…

— Браво, — говорит Зуза Хольц, обращаясь к фрау Вайдлих, — наконец-то вы стали садиться.

— Отлично, — говорит, обращаясь к ней же, сестра Траута, — впервые ваша тарелка пуста.

Марианну возмущает заряженный энергией голос профессора, бодрость Зузы Хольц, улыбчивая деловитость сестры Трауты.

Она не знает, что за несколько минут до того, как она сама покинула реанимационную, Биргит умерла от отека легких. Она не знает, что после этого сестра Гертруда сидела в бельевой на табуретке, чтобы хоть немного побыть одной, что Зуза Хольц перед тем, как продолжить работу, ходила взад и вперед по парку, жадно глотая воздух, чтобы вести себя перед больными так, словно ничего не случилось.

Ну а профессор? Ведь он оперировал Биргит!

Хирургическое вмешательство было таким же тяжелым, как у Эльки. Вечером во время ужина у него от усталости слипались глаза.

Весть о кончине Биргит поразила его, как смерть каждого больного. Она поразила его сильнее, ибо это был ребенок. Но пока не изобретен аппарат, который в самые первые дни после операции помогал бы работе сердца, больные, у которых левый желудочек сердца не в состоянии справиться с нормальным кровообращением, умирают. Если их не оперируют, они умирают несколькими неделями, несколькими месяцами раньше.

Врач никогда не считается с тем, сколько сил напрасно затратили он и коллектив, он не думает о тысячах марок, которые стоит использование аппарата «сердце-легкие», — каждый имеет право на то, чтобы ему спасли жизнь, если имеется хотя бы малейший шанс. Доброе и великодушное отношение к человеку проявляет государство, на которое профессор порой обижался из-за разного рода повседневных бюрократических неурядиц.

В день смерти Биргит профессор еще раз зашел в реанимацию, куда помещали больных сразу же после операции, бросил взгляд на Кристу и Марианну и сказал, что врачу фрау Розенталь следует поговорить с родителями Биргит. Она лучше всех справится с этой грустной обязанностью, за которую каждый брался с большой неохотой.

Домой он пришел поздно. Дети уже спали. Только Сибилла, которой через несколько месяцев предстоял экзамен на аттестат зрелости, еще сидела над домашними заданиями. Он гордится тем, как легко давалась ей учеба. Недавно он разрешил ей присутствовать на операции. В ее глазах он прочел те же чувства, какие испытал сам, впервые увидев работающее человеческое сердце. Тетради двух других девочек лежали на его письменном столе — задача по математике была решена неправильно, а сочинение написано просто и вместе с тем оригинально и подкупающе искренне.

Возможно, дети услышали беседу отца с матерью — в пижамах и домашних туфлях они спустились по лестнице. Девочки одна за другой забрались к отцу на колени. Четырехлетний, считавший себя уже мужчиной, энергично пожал руку своему дружку — отцу. Мужественность, однако, исчезла, когда выяснилось, что малыш, который должен был ежедневно относить картофельную кожуру в мусорный бак, так сильно размахивал при этом ведром, что путь его следования превратился в настил из картофельной шелухи, бак же остался пустым. В результате нечем будет кормить свиней в сельскохозяйственном производственном кооперативе, в результате ни ветчины, ни мяса… Детей отправили спать. В дверях мальчик еще раз обернулся:

— А если бы мы ели рис, что бы тогда получали свиньи?

После того как родители обсудили все события дня, профессор сказал:

— Я хотел бы кое-что записать, ты еще не собираешься спать?

Она поняла: посиди со мной, я не видел тебя целый день.

Работал он долго… Когда же наконец будет она создана, машина, помогающая сердцу, чтобы такие дети, как Биргит, не должны были больше умирать!

На следующее утро он пришел в больницу крайне утомленный. Это почувствовали все, кроме больных.

Может быть, ради них он притворялся?

Это не было притворством. Как только он входил в палату, больные находили в нем то, что было им так необходимо: обнадеживающую силу и помогавший им оптимизм.

Едва он вступал в операционный зал, с него слетала всякая усталость. Во всеоружии своих знаний и мастерства, отчетливо видя то, что предстоит сделать, брал он в руки первый инструмент.

Позднее он ощущал беспримерное напряжение этих часов. И тогда бывало, что в его секретариате загорался красный сигнал тревоги: «Беспокоить только в самых экстренных случаях»,

угасавший лишь через четверть часа.

— Сегодня фрау Марианне уже немного лучше, — шепчет Хильда Вайдлих, расчесывая волосы. До сих пор она предпочитала, чтобы эту процедуру выполняли сестры.

— Ей еще долго будет плохо, — быстро отвечает Криста, — постарайтесь, чтобы елочные украшения были достаточно большими и красивыми.

Больше всего ей хотелось бы попросить Марианну поправляться как можно медленнее — ради фрау Вайдлих.

О Марианне Криста больше не тревожится. Повседневность, таящая в себе сладость выздоровления, победит трагизм пережитого.

Криста подбросила Марианне записочку. В ней всего три слова:

«Никогда не сдаваться…»

Много дней спустя Марианна вдруг скажет ей «спасибо».

Передвигаясь на костылях, Аллан Маршалл торжествовал победу, мать вместо павшего родила другого сына, отца избивали до крови, но побежденными оказались его палачи.

Марианна много читает и пишет письма. Вязать она теперь не хочет. Зуза Хольц отняла у нее красную и синюю шерсть.

Спустя восемнадцать дней после операции Зуза Хольц говорит Кристе:

— Сегодня ты можешь спустить с кровати ноги.

Марианна тут же спрашивает:

— А я?

Фрау Хольц отвечает:

— Точно еще не знаю.

Марианна просит, умоляет. Она не перенесет, если это важное, драгоценное мгновение будет отложено. Рассудок пытается ее убедить: какое значение имеют еще один-два дня; но она не может справиться с охватившим ее разочарованием.

Фрау Хольц соглашается попросить об этом заведующего отделением.

Криста и Марианна пять минут сидят на краю кровати и вне себя от счастья.

— Сегодня мы встаем, — говорит фрау Хольц через три дня, — сначала фрау Мертенс.

Подошвы касаются твердого дерева, подкашиваются ноги, зудит кожа, и, пока ноги не почувствовали себя уверенно стоящими на земле, у нее все кружилось перед глазами.

— А теперь немного походим.

Марианна цепляется за руку Зузы Хольц. Делая первый шаг, она еще сама себе не верит, едва поднимает ногу и шаркает по полу. Второй удается лучше, но очень мал. Третий ей хотелось бы сделать побольше, но она падает на фрау Хольц. Четвертый удается, пятый тоже.

Я хожу, я хожу, я хожу. Кому может она рассказать о своих ощущениях, кто поймет, что она с трудом сдерживает слезы радости?

С каждым днем расширяется мир. Марианна проходит по палате, впервые выходит в коридор и просит:

— Можно мне одной в туалет?

Она возвращается счастливая, смеется и думает: как это прекрасно, теперь я снова независимый человек.

Три, шесть, двенадцать, семнадцать лестничных ступенек.

Каждый раз она после упражнений так устает, что едва добирается до кровати. Она спит крепче, чем ночью, и просыпается свежей и бодрой.

Первая прогулка в саду! С каким нетерпением она ее ждала. Но погода туманная и сырая, Марианна очень скоро устает, внезапно ее охватывает страх перед здоровым и шумным внешним миром. Ей хочется скорее вернуться в палату.

На следующий день сияет солнце. В саду чудесно, Марианне так хотелось бы выйти из ворот и пешком идти до самого дома.

Еще четыре дня и ночи, она уже не может дождаться этого часа. Катрин, любимая моя Катрин.

Ангелику Майер и Фриду Мюллер уже выписали.

Фрау Вайдлих делает первые шаги по коридору. Она без головного убора. Что будет с ней дальше, толком никто не знает. Последний день.

Сколько времени больница заменяла ей родной дом — во всяком случае, значительно дольше проведенных в ней шести недель.

Ей тяжело расставаться с Кристой. Они обещают писать друг другу. Марианна хочет записать адрес и обнаруживает у себя в кармане записочку Кристы, состоящую всего из трех слов. Она сохранит ее навсегда.

Сестра Траута дежурит ночью, Марианна не сможет с ней проститься, она жалеет об этом.

Фрау Вайдлих долго пожимает ей руку, и внезапно Марианна говорит:

— Могу я пригласить вас на несколько дней к себе, у меня очень хорошие родители.

Вообще в их квартире фрау Вайдлих при всем желании поместить негде, и совершенно невозможно предвидеть, какая

ответственность может лечь на Марианну. Но просто так расстаться с ней Марианна не может.

Она хотела бы проститься с доктором Юлиусом, доктором Штайгером, доктором Паша и в первую очередь с профессором. Ей хотелось бы еще раз их поблагодарить. Но врачи оперируют, они заняты сейчас с самыми тяжелыми больными.

— Фрау Мертенс, за вами пришли.

Марианна в последний раз проходит по коридору: мимо мужской палаты, детской и в заключение мимо аквариума.

Биргит так радовалась рыбкам.

Ее ожидает Дитер. У него рождественские каникулы. Она просила, чтобы он приехал за ней один. Родителей и Катрин она хочет увидеть уже дома.

Дитер обнимает ее.

Молча направляются они к выходу.

Тогда на улице у этого обнаженного дерева Марианна — кажется, это происходило в ином мире — подняла розовый камешек.

Захлопнулась дверца такси, на ветровом стекле играют в салки сверкающие дождевые капли, но никогда ни одна из них не догонит другую.

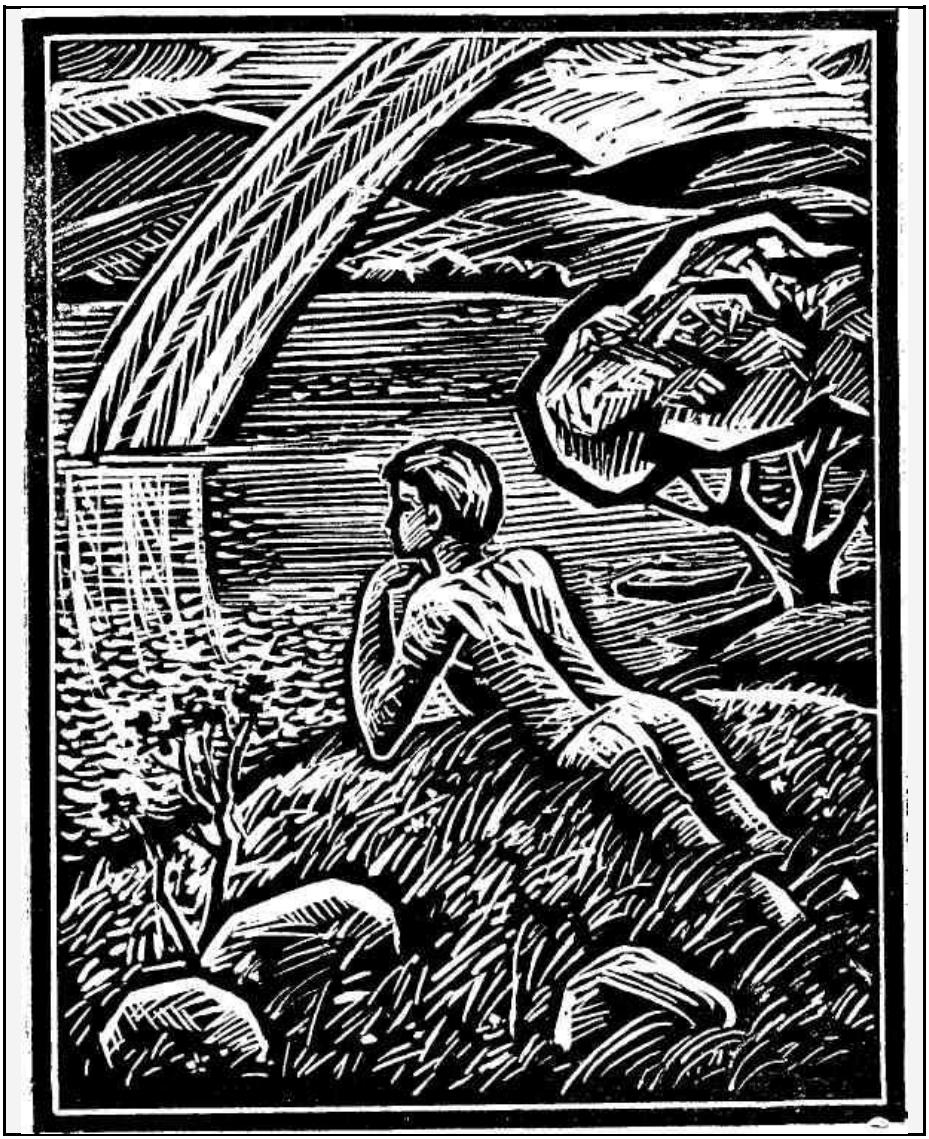
На крытом перроне шумно, Марианне он кажется бесконечным. Она стоит перед лестницей, ведущей к платформе, и недоверчивым взглядом окидывает поднимающиеся перед ней ступени. Они ей слишком хорошо знакомы.

Дитер, у которого все болезни вызывают ощущение тревоги, осторожно берет сестру под руку.

Она снимает его руку. Ступенька за ступенькой, не считая их и не останавливаясь, поднимается она вверх по лестнице.

Перевод И. Зильбермана.

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
Повесть



EIN SOMMERTAG
Berlin, 1966

Редактор *А. Гугнин*

Андреас с закрытыми глазами лежит на склоне холма.

Сперва он долго обдумывал, где бы ему прилечь. На самом берегу озера было бы здорово. Там можно наблюдать за птицами, которые стоят на плоских камнях, и даже увидеть, как рыбы выскакивают из воды.

Но наверху, на холме, тоже прекрасно. Оттуда открывается широкий вид на озеро, и вдали Андреасу даже удается разглядеть старую Тарновскую мельницу, с которой во время войны сорвали крылья.

И наконец Андреас выбрал середину холма. Там, на склоне, есть плоский лужок, откуда так просто не скатишься.

С каким бы наслаждением он сейчас побежал к воде и выкупался! Ему не терпелось ощутить себя таким, каким бываешь после купанья: легким, прохладным и счастливым. Но идти сейчас одному в воду казалось ему предательством по отношению к родителям. В первый день каникул такая радость должна быть общей. Он мог бы встать и посмотреть, не проснулись ли они; но почему он сам в это утро чувствует себя таким усталым?

Андреас засыпает, во сне он уже не на берегу Тарновского озера в Мекленбурге, а в Гарце, в детском летнем лагере. Он играет в футбол, все бегают, орут и потеют. Всей их команде вместе сто десять лет. Этот подсчет выдумала фрейлейн Мальке, она даже на каникулах не расстается с арифметикой. Вдруг футбольный мяч начинает расти, становится все больше и больше, теперь это уже воздушный шар. Он поднимается к небу, а в гондоле сидит Андреас. Фрейлейн Мальке стоит внизу, на земле, складывает руки рупором и кричит: «Чистить зубы!» Андреас согласен, но, едва он протягивает руку к зубной щетке, щетка уплывает. Воздушный шар как раз уже достиг состояния невесомости, он летит вокруг Земли Теперь зубная щетка попала в космический скафандр Андреаса и щекочет ему спину. Он дергается, но щетина колется все сильнее.

Андреас просыпается от того, что трава, колеблемая легким порывом ветра, точно веер, обмахивает его лицо, от солнца, которое бьет ему прямо в глаза, и от зудящей боли в спине.

Просыпаться ему совсем неохота, ему хочется, пока он не открыл глаза и не пошевелился, удержать убегающий сон. А может, он и вправду еще спит. Иногда Андреасу снится, что он проснулся, и он замечает, что ошибся, только по тому, что сновидение продолжается.

Однако спина не дает ему покоя, он садится и начинает озираться. До пояса голый, он во сне скатился в чертополох. Андреас пытается вытащить из кожи мелкие колючки.

Сны снятся только считанные секунды, так всегда утверждали

взрослые. Никогда Андреас в это не верил, А теперь они и сами поняли, что годами говорили какую-то чепуху. Теперь они говорят, что сны продолжаются много дольше.

В детском лагере было замечательно: игры, спортивные состязания, песни у костра, по вечерам в палатках подушечные битвы и всякие проказы вместе с Гюнтером, его лучшим другом. В последний день ему дали характеристику: «Андреас хорошо освоился в коллективе, но ему следует вести себя спокойнее и дисциплинированнее».

Еще чего, думает Андреас и озирается.

В первый день каникул с родителями все по-другому. Андреас так же спокоен, как окружающая его природа.

Ветер улегся, деревья на берегу не шелохнутся, и ни одна волна не нарушит сон озерной глади. Замерли даже высокие травы на краю луга, оживающие от малейшего дуновения.

На ногу Андреаса садится комар, он склоняется над комаром и следит, как тот его жалит, и лишь потом прихлопывает. Хорошо, что он не промахнулся, а то уж очень это глупо — зазря лупить по собственной ляжке.

Андреас встает, он решил пойти наверх, к родителям, чтобы отец вытащил из его спины колючки.

Родители лежат на одеяле и спят.

Андреас называет свою мать «Мум», а отца «Па». Когда один раз они понадобились ему оба, он крикнул: «Мупа!»

А отец сказал: «Это звучит так, как будто я араб». Арабов Андреас видел по телевизору. У них черные волосы и черные глаза. Они гордые и умные. «А может, ты правда араб», — сказал тогда Андреас. Па тоже черноволосый и черноглазый, и к тому же умный. Вот только двигается он не так проворно, как арабы. Па очень спокойный человек. Другое дело — Мум. Она быстро говорит и быстро двигается, но никто не примет ее за арабку. Волосы у нее желтые, как цветущий дрок, а глаза голубые. И веснушек у арабов не бывает.

У Андреаса тоже голубые глаза, только потемнее, чем у Мум. И волосы каштановые. А веснушки у него только на носу.

Па лежит на спине, Мум положила голову ему на плечо, а свою ступню ему на ногу. Вот так они спят. Возле одеяла стоит рюкзак. Андреасу известно его содержимое: хлеб, помидоры, «Нойес Дойчланд», соль, пластырь, ящик с тушью, бутылка сока и сковородка. Из завязанного рюкзака торчит ручка сковородки, а на ней дрожит стрекоза с крылышками из серебристо-серых шелковых нитей.

Отец, мать, рюкзак, каникулы, лужайка!

Счастье Андреаса уже в нем не помещается, оно рвется из

горла, и Андреасу приходится его глотать.

Но рюкзак стоит на солнце, масло тает, сок будет теплым, и только один Андреас не спит.

Он хватает рюкзак и бежит к воде, ставит рюкзак под переднее сиденье гребной лодки, где уже лежит его вещевой мешок.

Он проверяет, хорошо ли Па закрепил лодку. Ничего не скажешь, Па человек основательный. Но разве не надежнее было бы обмотать цепью ствол большой ольхи? Андреас отвязывает лодку, перевязывает ее по-новому, покрепче, идет наверх, к родителям.

По одеялу ползают муравьи, нельзя, чтобы они мешали спать Мум. Он сметает муравьев с одеяла, тем самым сбивая их с дороги, по которой они бегают туда и обратно почти вплотную друг к дружке.

Солнце светит Мум в лицо. Па ничего не сделается, он только станет еще смуглее, а вот Мум может и обгореть.

— Хоть бы придумали средство против веснушек! — сегодня утром сказала она.

— Зачем? — ответил Па. — Мне будет не хватать каждой твоей веснушки.

За это она поцеловала его, потом он поцеловал ее, а потом они вместе поцеловались. Андреас любит, когда они такие.

Он опять спускается к лодке, достает надувной матрац и ставит его на бок возле Мум так, чтобы ее лицо было в тени.

Андреас бежит через луг к лесу и выбирает себе палку. Луг теплый и светлый, а лес наоборот — прохладный и темный. Андреас озирается, не грозят ли родителям еще какие-нибудь опасности.

Между холмами появляется стадо коров. Они бредут к озеру. Андреас мчится на берег.

Коровы стоят в воде и шумно пьют. Между рогами и на боках у них сидят сотни мух. Коровы бьют себя хвостами, мухи с жужжанием взлетают и тут же садятся снова. Коровы изо всех сил мотают головами, отряхиваются, но бесстрашные мухи почти не обращают на это внимания.

Андреас тоже пробует отряхнуться по-коровьи. Но ничего не получается.

Коровы своими копытами истоптали весь берег. Андреас сердится, ведь он хотел именно на этом месте устроиться потом с родителями.

Но может быть, коровы тоже думают: зачем этот мальчик нам мешает, топает тут по нашему корму, а там еще двое взрослых накинули одеяло на нашу траву. А вдруг коровы и вправду так

думают?

Андреас понимает, что на самом деле коровы думать не умеют, они ведь не знают слов, с помощью которых можно думать. Но они все чувствуют.

Они чувствуют, идет дождь или светит солнце и какая трава — зеленая и сочная или серая и сухая. И мычат они тоже не всегда одинаково. Один раз он слышал, как корова облизывала своего новорожденного, и слышал, как у нее отнимали теленка. Тогда он, зажав руками уши, убежал куда глаза глядят.

Коровы выходят из озера. И так уж вода от разворошенного ила будет мутной, а теперь они еще и лепешки оставили на берегу. На них тут же уселись синие мухи, Андреас снова сердится. Он все еще держит в руках палку и теперь лупит ею коров по заду. Они удирают большущими скачками, Андреас мчится следом и гонит коров вдоль лощины. Каждая корова раза в четыре больше него. Но Андреас сильнее, он гонит перед собой двенадцать коров.

Последняя корова вдруг останавливается, оборачивается и косится на Андреаса. Опускает голову с острыми рогами. Он так и застывает на месте. Не может даже позвать отца: у него пропал голос. Корова поднимает голову. Дышит ему в лицо. И опять уже Андреас может двигаться, он во весь дух мчится к водопою и по шею влезает в воду. Затем медленно оборачивается. Корова наверху мирно жует траву. Андреас для нее просто не существует.

Родители все еще спят. Андреас уже знает: в первый день отпуска они спят долго.

Он смотрит на небо. Солнце еще не добралось до дуба на вершине холма, полдень еще не скоро.

По склонам растет ежевика. Заросли такие густые, что туда никому не проникнуть. Андреас решил набрать ягод на десерт. Взяв полиэтиленовый пакет, он идет на солнечную сторону. В тени ягоды еще неспелые. Это хорошо, значит, в лесу будет малина. Последние ягоды малины засыхают, как раз когда ежевика поспевает на теневой стороне.

Андреас каждый год ездит сюда отдыхать с родителями.

Черные блестящие ягоды висят среди зеленых листьев. Он отправляет в рот полную горсть и медленно давит ягоды языком. Зимой он иногда вспоминает вкус первой ежевики, и ему даже страшно делается: что, если это время больше не наступит?

Он становится на цыпочки и тянет руку сквозь шипы. На загорелой коже остаются белые полоски. А пакет все тяжелее.

По зеленому листку справа от него что-то движется. Андреас замирает с вытянутой рукой. Даже головы не поворачивает, только зрачки у него бегают. Лист легонько дрожит, но никакой

зверь не поднимается со светлой зелени.

Солнце слепит Андреаса, он теперь плохо видит. Осторожно шевелит рукой, И вдруг через его руку перепрыгивает крохотная лягушка. Не простая коричневая, какие во множестве скачут по траве у его ног, когда он ходит к маленькому пруду, а настоящая квакша, чуть-чуть побольше мухи, такая же зеленая, как лист, на котором она сидела, и потому совсем незаметная. И вдруг, как будто он натренировал свой взгляд на первой лягушке, Андреас видит три… пять… шесть махоньких лягушек, которые сидят на листьях. Он прекрасно знает, что сможет поймать от силы одну, только он ее схватит — остальные ускачут.

Квакши встречаются редко. Бывало, они с Па все каникулы искали их, но зря.

Андреас расставляет ноги пошире, чтобы увереннее стоять, и задерживает дыхание. Одно молниеносное движение — и вот уже в его кулаке бьется холодная щекотная лягушка. Свободной рукой Андреас быстро срывает несколько листочков и опрометью бежит к лодке, вытаскивает из-под кормы стеклянную банку, засовывает в нее листья, сажает на них лягушку, закрывает банку бумажной крышкой с дырочками и завязывает. Потом он сделает крохотную деревянную лесенку, лягушки любят лазать. Но с лесенкой можно не торопиться, лягушка и так карабкается вверх по стеклянной стенке. Андреас думает о том, что людям все-таки многого недостает. Умей мы запросто держаться на любой стене, строителям не понадобились бы леса, а дома можно было бы строить без лестниц.

От страха его лягушка побледнела, вот в этом она похожа на человека.

Андреас возвращается к зарослям ежевики. Лягушек там больше нет, а ему так хотелось бы поймать еще одну. Вон она, на кусте шиповника! У Андреаса глаза лезут на лоб, но он продолжает смотреть, хотя и не хочет этого видеть. Он прикрывает глаза рукой, но все равно смотрит. Маленькая лягушка дрожит, приподнимается, пробует повернуться и не может сдвинуться с места. Она напоролась на острый шип, а по соседству висит скелет жука. Шипы увешаны останками мертвых животных!

Андреас размышляет. Помогать лягушке не имеет смысла. Она все равно умрет, даже если он ее и снимет с шипа, слишком велика рана. Андреас любит птиц, но жулана ненавидит, ведь он так ужасно мучает живых тварей. Прежде чем сожрать, он насаживает их на колючки. Андреас понимает, что ненавидеть за это птицу — глупо. Улитке ведь тоже неприятно, когда дрозд разбивает ее домик, чтобы полакомиться ею.

А что он сам делает с дождевыми червями? Выкапывает их из теплой темной земли, живьем насаживает на острые крючки, опускает в холодную воду и радуется, когда рыба расправляется с ними.

А кто не дрогнув берет нож и отрезает у пойманной рыбы голову?

— Я не против жулана! — пять раз повторяет про себя Андреас и опять глядит на лягушку, у которой еще дергаются лапки. Ему хотелось бы сейчас лежать между Па и Мум. Они освободят ему местечко, что-то пробормочут во сне и все-таки будут знать, что он с ними.

Он медленно бредет по лугу — и ноги у него прирастают к земле. Перед ним гриб. Чуть подальше второй, и еще один. Андреас находит пять великолепных шампиньонов. Они как раз такие, как он любит, — не слишком маленькие, когда у них шляпка как шарик, и не слишком большие, когда шляпка как тарелка. Андреас обнюхивает каждый гриб. Если шампиньон пахнет аптекой и от него желтеют пальцы, значит он несъедобный. Будь тут Мум она бы с каждым шампиньоном бегала к лесничему Бертраму спрашивать, не умрет ли от них вся семья. Вообще Мум и грибы… Иногда это портит ему все удовольствие от поисков…

Прошлый год выдался на редкость грибным, потому что было много дождей. Они в первый же день поплыли на лодке к большому лесу. И на Андреасе, и на родителях были серо-зеленые брюки и темные рубашки, по цвету похожие на древесную кору. Они высадились в заросшей кувшинками бухточке и тихо вошли в лес, стараясь не спугнуть зверей и птиц. Андреас внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить на сухую ветку.

И вдруг, забыв об осторожности, радостно подпрыгнул.

На поляне, среди высоких буков, где за все годы он не видал ни одного гриба, Андреас обнаружил множество толстых боровиков, и тут, и там, и везде. Он не знал, с какого начать. Коричневые шляпки у них как бархат, а ножки белые, крепенькие, без единого червяка. Нет гриба красивее, и ни один не пахнет так здорово.

«Нашла!» — закричала Мум.

«И я, Анди!» — закричал Па.

Тот день в лесу был как сон.

«Гляньте-ка на этот гриб, — сказал Па, — надо будет проверить по книжке».

Гриб напоминал экзотическое морское растение.

«Он несъедобный», — решила Мум и нахмурила лоб.

«Погоди, я сначала проверю». — Па достал из рюкзака

книжку.

Андреас уже догадывался, что будет дальше.

«Съедобный, — сказал Па, — называется коралл золотисто-желтый».

Мум подносит гриб к картинке.

«В книге он гораздо желтее».

Она обнаружила вторую картинку, с зачеркнутыми черным крестом ядовитыми грибами.

«С таким же успехом он может быть и ядовитым».

«Рената! — Па подносит гриб ко второй картинке. — Тут никак не спутаешь. Наш безусловно желтый, а ядовитый — белый и немножко лиловый, поэтому он и называется: коралл бледный».

«Нет, наш не похож на съедобный, и я его не возьму».

Андреас и Па переглянулись.

Андреас едва заметно пожал плечами.

Па едва заметно покачал головой.

«Рената, — сказал Па, — ну рассуждай же логически. Забудь о том, что ты должна готовить эти грибы для нас, а взгляни на них с научной точки зрения. Тогда тебе будет ясно как божий день, что этот гриб как раз такой, как на картинке, и что он съедобный».

Мум обняла отца за шею.

«Ты прав, я все признаю, но нельзя ли нам собирать только такие грибы, в которых я уверена?»

Па вздохнул.

Андреас вздыхает, собирая на лугу шампиньоны. Уж такая наша Мум, и переделать ее будет нелегко. Он считает грибы и кладет в ряд, по росту. Тридцать штук!

Андреас слышит кашель отца и смотрит вниз. Хорошо, что он наконец проснулся. Па сидит на одеяле и курит. Андреас прячется за куст. Его не проведешь: вовсе отец не хочет кашлять, а просто хочет, чтобы Мум проснулась тоже. Но она повернулась на живот и спит себе дальше, уткнувшись лицом в сложенные руки.

Отец берет прядку ее гладких волос, которые спадают до плеч, и щекочет ей спину. На купальнике у нее большой вырез. Мум вздрагивает и просыпается. Теперь они оба сидят и озираются. Он знает, что они его ищут. Пока родители смотрят на восток, он молниеносно перебегает по склону вниз, к следующему кусту.

— Анди! — зовет Мум.

Он молчит и подкрадывается ближе. Теперь будет посложнее, потому что перед ним открытое пространство.

— Может, он у воды, — говорит Па довольно громко и толкает Мум в бедро. Оба они смотрят на озеро, пока он крадется к ним.

— Ура! — Он приземляется как раз на середину одеяла. Мум вскрикивает от неожиданности. Па смеется, Андреас ликует. Па боксерским приемом сбрасывает его с одеяла, он заползает обратно, крепко ухватившись за ногу Мум. Па опрокидывает ее на спину, и она катится вниз, увлекая его за собой, а Андреас валится на них обоих. Их хохот вспугивает птиц на кустах. Куча мала. Мум выбирается из нее, вскидывает руки и поет:

— У меня о-о-отпуск!

Она мчится вниз, волосы цвета дрока развеваются вокруг ее головы.

Андреас и Па сидят неподвижно и смотрят. Мум уже в воде, купальник лежит на берегу.

Чем быстрее влезаешь в воду, тем меньше мерзнешь. Родители заплывают далеко, Андреас сперва плывет с ними, а потом поворачивает назад. Он пробует, сколько времени ему удастся пролежать на спине. Потом выскакивает из воды и растягивается на песке «пляжной бухты». На озере поблизости есть еще три небольшие бухточки. Он их называет по-своему: «водопойная» — там коровы утоляют жажду; «лодочная» — там сейчас стоит рыбацкая лодка Кербе, на которой они переправились сюда из Тарнова; и еще «змеиная бухта», окруженная болотистыми лугами. Вопроса о ловле змей Андреас перед поездкой не касался. У Мум на ее предприятии всегда забот полон рот, а Па ей говорит:

«Существуют вещи, за которые надо браться, только если они у тебя под руками».

Вот так Андреас и будет действовать. Когда змеи в стеклянном ящике окажутся у Мум под руками, он посмотрит, как ему обойти запрет брать их с собой в Берлин.

Мум ненавидит змей. Андреас готов с этим считаться. Он будет хранить их не возле своей кровати в общей спальне у Кербе, а рядом, на просторном чердаке. Возле кровати будут стоять только банка с квакшей и ящерицы, которых он еще поймает. Если Мум не захочет, то он согласен не ставить их на ночной столик, хотя ему доставляет удовольствие, проснувшись, первым делом взглянуть на них. Андреас обожает ящериц. Утром он встает раньше всех и — так бывает каждый год — достает из-под кровати банку и вытаскивает оттуда «ящерицу живородящую». Этот вид совсем не пугливый. Ящерка сидит на белой наволочке и смотрит на Андреаса. Он кладет ее себе на запястье, как браслет, и она лежит, пока ей не надоест. Тогда она забирается под рукав

пижамы и лезет до самого плеча. Он вытаскивает ее и гладит.

Как только проснется Мум, он спрячет ящерку под одеяло, потому что для Мум все звери — разносчики микробов, которые могут вызвать всякие опасные болезни. Но ящериц Мум хотя бы терпит в спальне. Это уже прогресс. К саламандрам и жерлянкам с их красивыми оранжево-черными узорами на коже она привыкла, а вот к змеям — нет. Она даже вообразить себе не в состоянии, как горько и больно ему было бы в этом году вернуться домой без змей.

В прошлом году Па пытался ему помочь.

«Попробуй проанализировать свою неприязнь к змеям», — сказал он Мум.

Па — химик, и поэтому он все анализирует. А Мум, как инженер, говорит:

«Ты должен это детально разобрать» или: «Это надо реконструировать».

Итак:

«Проанализируй свою неприязнь, — сказал Па. — Во всех религиях, во всех сагах и сказках, даже в Библии змея — страшный зверь. Этот предрассудок засел и в тебе».

Мум не хотела терпеть в себе предрассудков и, сжав зубы, смотрела на ужа, которого Андреас ей принес. Уж был длиною в метр, недавно сменил кожу и красиво переливался всеми красками. Андреас принес его Мум на руках, как подарок.

«Смотри, — сказал он, — он серо-голубой, как твоя блузка, а какие на нем красивые черные пятнышки!»

Мум отшатнулась, когда он перевернул ужа и она увидела его белоснежное брюшко с черными блестящими поперечными полосками.

«Совсем как клавиши, — сказал Андреас, зная, что Мум любит музыку, — и глазки черные, как у Па».

«Глазки, как у Па! Что ты мелешь, — сказала Мум. — До чего же он отвратительно извивается, и этот раздвоенный язык, который он все время высовывает…»

«Он должен высовывать язык, потому что язык помогает ему нюхать, — сказал Андреас, — вот он его и высовывает, он ведь плохо видит».

Мум отвернулась.

«Анди, ты можешь собирать все что угодно, только не змей».

Андреас был подавлен. Веретеницы относятся не к змеям, а к ящерицам. Мум этого не знала, а значит, он мог взять домой хотя бы веретениц. После захода солнца они вылезают и отправляются на охоту за насекомыми.

В последние каникулы он видел четырех веретениц и поймал

только самую красивую. Она лежала на большом разбитом камне, у подножия Пастушьей горы, и в свете красного вечернего неба ее шкурка отливала медью.

У веретеницы было толстое брюшко, и Андреас этому очень обрадовался. Как только маленькие золотисто-мерцающие веретеницы начнут сновать в террариуме, Мум их полюбит. Перед младенцами она в жизни не устоит. Но это еще не все. Он поймал трех ужей. Они жили в большой банке из-под огурцов, которую дала фрау Кербе, а Мум об этом и не подозревала. Приближался конец каникул, и Андреас грустил из-за материнского запрета.

Он так никогда и не узнал, как Па этого добился, но в последний день Мум вдруг сказала:

«Ладно уж, бери своих змей с собой».

Андреас бросился к ней на шею.

В прошлом году он сначала отдыхал вместе с родителями, а потом поехал в лагерь.

«А кто же будет кормить змей, когда ты уедешь?» — спросила Мум.

«Никто. Они по месяцу могут ничего не есть, надо только давать им свежей воды, так это Па даст, ладно?»

Отец, казалось, был не слишком этим обрадован, но Андреас догадался, что он просто делает вид, будто змеи для него ничего не значат.

Андреас уехал в лагерь. Через три недели, очень довольный, он вернулся домой. Загорелый, поправившийся на четыре фунта, он выскочил из поезда. Вдоль всего перрона родители заключали в свои объятия детей. Па и Мум целовали его, а он чувствовал: что-то случилось, И только дома Мупа все ему рассказали.

В комнату Андреаса целыми днями никто не заходил. Потом отец все-таки решился дать змеям свежей воды. Андреас ему все точно объяснил: чуть-чуть отодвинуть стекло на террариуме, так, чтобы пипеткой накапать воды в мисочку. При этом отцу не надо дотрагиваться до змей, и они не смогут уползти.

Очень важно было как следует пригнать стеклянную крышку, потому что змеи могут удрать через самую крохотную щелку.

«Ну, все-таки для этого щелка должна быть не меньших их объема», — заметил Па.

«Нет, много меньше».

«По-моему, это нелогично».

«Они умеют становиться совсем тоненькими, поверь мне, Па!»

Итак, через неделю отец вошел к змеям.

«Что это у тебя такое лицо?» — спросила мать, когда он вернулся оттуда.

Сперва отец ничего не ответил. А потом сказал:

«Змеи исчезли».

Мать опустилась на ближайший стул.

«Что значит исчезли?»

«Исчезли, пропали, скрылись. Я вхожу — террариум пуст, там осталась только одна веретеница».

Мум побелела.

«Господи помилуй, значит, они здесь, в доме!»

«Давай поищем их», — предложил отец.

«Я не буду».

Сколько отец ни искал, змеи не нашлись. Он заглянул в «Жизнь животных» Брема. Веретеница живет среди листьев и мха, уж зимою спит в земляной норе, в остальное время обитает в лесу, неподалеку от водоемов.

Какое место могут облюбовать змеи в берлинской квартире, у Брема не говорилось. Перед тем как лечь спать, Па по просьбе Мум раздвинул кровати, ему пришлось еще скатать ковер и заглянуть под шкаф. Никаких змей нигде не было.

Мум никак не могла заснуть. В соседней квартире отодвинут кресло, а она говорит: «Змеи!»

Промчится с грохотом сверхзвуковой самолет, а она говорит: «Змеи!»

«Не могут они быть до сих пор в квартире, змеи ведь так ловки удирать, — утешал ее отец, — они нам это уже доказали».

Перед возвращением Андреаса Мум наконец вошла к нему в комнату, чтобы навести порядок. Она подмела, выбила и вытерла пыль, поставила на стол цветы.

Теперь все было в порядке, и только на стуле еще валялся портфель, которому тут не место. Мум взялась за него, и перед самым ее лицом с шипеньем поднялось змеиное тело. Она пронзительно закричала, в комнату влетел отец, она с плачем упала в его объятия. Они заперли комнату и еще заткнули одеялом щель под дверью. Все остальное пусть делает Андреас, когда вернется…

Андреас стоял перед пустым террариумом. А может, это он сам плохо закрыл крышку?..

Из парка он принес листья и мох, насыпал их в углу. Но змеи не желали сползаться на приготовленное для них место.

Он потратил много часов, прежде чем обнаружил двух беглянок за печкой, где деревянный плинтус немного отстал от стены.

С грустью опустил он своих змей в ящик — и веретеницу тоже, Мум настояла. На велосипеде он отвез их в лес за Кёпеник[12], здесь им будет неплохо. Уныло открыл ящик…

Ящик был пуст!

Но этого он отцу с матерью не рассказал.

Третья змея так никогда и не нашлась.

Андреас сидит на песке и размышляет, как ему в этом году быть со змеями. Хуже всего то, что Мум тогда заплакала от страха. Вот что его пугает, это ведь не в ее характере, вообще-то она храбрая. Сейчас она боится каких-то безобидных змей, а через минуту поможет спасти жизнь человеку, как тогда бедняге Кому-рыбы.

Это тоже случилось в прошлом году.

Если люди из года в год ездят в отпуск в одно и то же место, у них набирается много воспоминаний и бывает много приятных встреч, например с Кому-рыбы.

Когда Кому-рыбы был помоложе, он выходил на лов вместе с другими рыбаками. Но с тех пор, как его прихватил ревматизм, он стал ездить из деревни в деревню и продавать рыбу. Сначала он ездил на велосипеде, везя на раме пятьдесят килограммов рыбы в огромной корзине. Когда надо было подниматься в гору, велосипед приходилось толкать, и Андреас иногда помогал ему… Вот уже два года велосипед стоит в сарае, а он ездит на машине кооператива. Но клич у него остался тот же самый: «Кому рыбы! Кому рыбы!»

Это «кому» идет от самого сердца, и нет в округе дома, где бы его не слышали.

Мум иногда сердится, если он в Тарнове уже в семь утра предлагает свою рыбу, но Па это ничуть не мешает.

«Это тоже входит в наш отпуск, — говорит он. — По сравнению с нашим берлинским будильником — чистейшая музыка».

Кому-рыбы — высокий человек в резиновых сапогах сорок пятого размера, с красивым мужественным лицом; он очень молчаливый, кроме «Кому рыбы», почти ничего и не говорит. У него нет ни жены, ни детей.

В прошлом году июльским утром во время грозы Андреас услышал, как подъехала машина, открылась и снова захлопнулась дверца.

«Кому рыбы! Кому рыбы!»

Мум открыла глаза, Па улыбнулся в полусне, натянул на голову перину и опять заснул.

Андреас слышал, как внизу открылась дверь, наверно, фрау Кербе хотела купить селедок или вкусную мелкую ряпушку.

«Кому…» — И вдруг крик, страшный грохот, потом стоны, хрип, оханье.

Мум подскочила к окну.

«Вальтер, — сказала она, — Вальтер, вставай скорее!»

Мум и Па босиком, в пижамах бросились вниз по лестнице. Андреас за ними.

«Ты останешься наверху», — сказал Па тем особенным голосом, которого нельзя ослушаться.

Андреас подбежал к окну и глянул вниз. Кому-рыбы лежал на дороге в луже крови, широко раскинув руки. Машина скатилась вниз, к кладбищенской стене. Учитель уже мчался на велосипеде к дому медсестры. Мум и фрау Кербе на коленях стояли возле Кому-рыбы. Потом Мум бросилась обратно в дом, чтобы одеться. Андреас вытащил из-под кровати ее босоножки, встал на колени и застегнул их.

«Спасибо, Анди, — сказала она и на секунду взяла в ладони его лицо. — Кому-рыбы попал в аварию, вероятно, он стоял перед машиной, а тормоза были не в порядке».

У Андреаса и во рту, и даже в горле пересохло, зубы стучали.

«Он…»

«Нет, он жив, — сказала Мум. — Но потерял много крови. Я поеду с ним, если понадобится донор».

У Мум нулевая группа крови, которая годится всем людям.

Приехала «скорая помощь». Мум кивнула Андреасу. На ее бледном лице особенно четко видны были веснушки. Хорошо, что она ему только кивнула, а то у него и так уж глаза были полны слез.

Я не подойду к окну, не подойду. Я ведь могу перевернуть сушеные грибы, или убрать постели, или аккуратно перемотать леску…

Андреас подошел к окну, он должен был это увидеть.

Там собралось уже полдеревни. Санитары подняли Кому-рыбы, Мум тоже села в машину. Фрау Кербе принесла из сарая соломы и присыпала ею окровавленный песок. Па и трое других мужчин оттащили машину от кладбищенской стены. У Па хотя бы было дело, а он, Андреас, стоит тут и пялится. Конечно, Па тоже хотел поехать, но Мум сказала:

«Это ни к чему, лучше побудь с Анди».

И тут, словно вспомнив об этом, Па вошел в дом. Андреас отскочил от окна.

Что делают теперь Мум и Кому-рыбы? Наверняка лежат рядом на двух носилках. Медсестра сняла с Кому-рыбы только вельветовую куртку и резиновые сапоги, потому что нельзя терять времени. Теперь она ввела иглу в вену Мум, и кровь через шланг полилась в руку Кому-рыбы.

Если вместе с нею ему передалось и немножко веселости Мум, Кому-рыбы должен быть доволен, несмотря на случившееся

с ним несчастье. Приехала новая кооперативная машина, и рыбу перегрузили в нее. Какой-то чужак кричал:

«Свежая рыба, покупайте свежую рыбу!»

Но это никому ничего не говорило, и никто в деревне не желал ее покупать.

Па и Андреасу не хотелось завтракать. Па в волнении бегал взад-вперед по комнате, а Андреас думал, чем бы занять Па до возвращения Мум. Перечистить вместе всю обувь или накопать дождевых червей? Или взяться за веревочную лестницу?..

«Па, давай плести веревочную лестницу?»

Отец кивнул.

Когда они с лодки прыгали в воду и плавали, Мум было трудно влезать обратно в лодку. Андреас насобирал толстых палок, а фрау Кербе, которая никогда ничего не выбрасывает, подарила ему кусок каната. Они хотели смастерить для Мум подвесную лестницу, по которой она сможет залезать из воды в лодку.

Па и Андреас спустились во двор. Господин Кербе возил дрова, а фрау Кербе полола огород. Па и Андреас были одни, они уселись на скамейку возле дома. Кудахтали куры, светилась красным светом смородина, перед сараем стоял воз сена. Кому-рыбы просто не имеет права умереть.

Они плели лестницу.

Потом приехала Мум.

«Врачи говорят, Кому-рыбы выкарабкается».

Андреас бросился в дом. По лицу его текли слезы…

Андреас закрывается рукой от солнца и смотрит на озеро. Далеко-далеко он видит, как головы родителей то появляются, то исчезают в воде. Судя по солнцу, сейчас уже полдень. Он давно проголодался.

Шевелится камыш. Из него выскальзывает чомга. Андреас ждет, когда птица отплывет подальше, и тоже неслышно соскальзывает в воду и останавливается возле первого деревянного столбика. Чомгу он из виду не упускает. Птичья головка с черным хохолком и белой полоской вокруг глаз скрывается в воде. Какую-то секунду над поверхностью озера торчит только хвост, затем и он исчезает под водой.

Андреас тоже исчез, он длинными сильными рывками плывет под водой, пока ему хватает воздуха. Ни один настоящий спортсмен не прекращает борьбу, даже если его покинули силы. Еще один рывок, и еще. Если он сейчас не выплывет на поверхность, у него лопнет голова. И еще один рывок! Ему необходимо на воздух — и еще рывок, и еще! И только тут он

выныривает. Вытряхивает воду из ушей. У него кружится голова, и он не может сразу сориентироваться. Где столбик? Неплохо. Как бы ему пометить место, где он вынырнул, чтобы показать Па, сколько он проплыл под водой? И где осталась чомга, с которой он мерился силами? Просто чудо, как долго птица может оставаться под водой. Андреас выходит из воды и смотрит на озеро. Лишь очень далеко он обнаруживает похожую на свечку длинную светлую шею чомги. Наконец родители плывут назад.

Ему пора уже развести костер, он зверски проголодался. Андреас приволакивает с пляжа несколько камней и кружком укладывает на землю. Потом мчится к опушке и собирает хворост трех размеров. Когда родители идут вверх по склону, он уже уложил самые мелкие ветки решеткой на каменный кружок. Хворост покрупнее лежит рядом, наготове.

— Хорошо, — говорит Па. — Теперь надо почистить грибы. А где рюкзак?

— Я отнес его в лодку, тут наверху было слишком жарко, — говорит Андреас.

Мум вытирает волосы и улыбается, Андреас и Па бегут к воде.

Бухта пуста, лодка пропала.

Здесь не было ни души, и ветра тоже не было.

В лодке остался рюкзак, документы и одежда.

— Неужто я плохо ее закрепил? — сам себя спрашивает Па. Андреаса бросает в жар.

Справа и слева обзор загораживает колючий кустарник.

— Я выплыву немного и осмотрюсь, — говорит Па.

Он оглядывается назад в удивлении, что Андреас не идет за ним. Андреас понимает, что Па удивлен, но ему неохота, и точка.

Говорить что-то не имеет смысла. От того, что он что-нибудь скажет, лодка ведь не найдется.

— Вот она! — кричит Па. — Ее просто отнесло на несколько метров!

Теперь уж Андреасу и вовсе незачем что-то говорить, лодка ведь нашлась.

Па тянет лодку за собой, выходит на берег, держа в руке лодочную цепь, и бормочет:

— Все-таки я ее плохо закрепил.

Андреас поворачивается к отцу спиной и смотрит на свою лягушку в банке, которая теперь опять такая же зеленая, как лист, на котором она сидит.

— Па, это я закрепил лодку по-своему.

Па начал было:

— Андреас, как ты мог… — Но он видит лицо Андреаса и

замолкает. Потом говорит: — Давай-ка мы еще разок вместе закрепим ее как следует.

Они обматывают цепь вокруг дерева, делают узел и засовывают в него ветку для надежности. Вместе они поднимаются на холм. Андреас держит Па за руку.

Мум уже начала чистить грибы. Отец и сын помогают ей. Потом они высыпают шампиньоны в хозяйственную сетку Мум с мелкими ячейками и опять спускаются к лодке. Перегнувшись через борт, Андреас сильно полощет сетку в воде, пока ему не кажется, что грибы уже чистые. Па, чья основательность иной раз приводит в отчаяние Андреаса и Мум, отбирает у сына сетку и полощет, полощет ее до тех пор, пока Мум в нетерпении не зовет их назад.

Андреас поджигает хворост в каменном кругу, костер сразу разгорается. Он подбрасывает в огонь все новые и новые ветки и ставит на огонь сковородку. Жир шипит, скворчит и темнеет. Андреас вытряхивает грибы на сковородку, Па режет хлеб, а Мум мажет его маслом. У Андреаса уже слюнки текут.

— Наверно, готово, — говорит он, хотя знает, что его слова ничего не ускорят. Готово или не готово, решает Мум. Наконец она берет ложку и накладывает грибы на хлеб.

Андреас скрестив ноги сидит на лужайке и вытягивает вперед руку. Пряный дымок костра, проворные движения Мум, Па, который провожает взглядом канюка, блеск скатившейся в траву ежевики, первый вкус хлеба, пахнущего грибами, который он уже держит в руке…

— Ты почему не ешь? — спрашивает Мум.

Андреас ничего не отвечает, для этого просто нет слов…

Он съел очень много. Живот набит, как барабан, Андреасу лень даже пошевелиться. Но и спать не хочется, ведь он уже спал утром.

Мум достает из рюкзака «Нойес Дойчланд» и ложится на надувной матрац. Андреас надеется, что она использует газету вместо шляпы от солнца, но нет, она надевает темные очки и читает.

Андреасу кажется, что жизнь в отпуске должна в корне отличаться от обычной жизни. Поэтому в отпуске не следует читать газеты и уж тем более не следует брать с собой на каникулы школьные учебники. Мупа придерживаются другого мнения. Они считают, что и в отпуске надо знать, что происходит в мире, а в плохую погоду не грех заняться математикой, по которой у тебя едва-едва тройка. Вот она, «проблема поколений», думает Андреас. Это слово он подхватил из одного разговора родителей. Оно означает, что он и его друзья о многом думают

иначе, чем родители, а родители в свою очередь думают иначе, чем бабушки и дедушки. Андреас понимает уже много трудных слов, например «конфликт с совестью», «эгоист».

Когда родители говорят между собой, он слушает. Кое-что проскальзывает мимо ушей, но в голове у него словно магнит, который притягивает все, что его интересует. Особенно его привлекают незнакомые слова и выражения. Перебивает он родителей редко, обычно просто ждет — а вдруг из разговора он сам поймет, что это значит. Сегодня утром речь шла о «конфликте с совестью» у Мум.

Собственно говоря, они собирались встать вовремя. Сразу после того, как их разбудил крик Кому-рыбы. Это был первый день отдыха, сквозь липовую крону перед окном просвечивало синее небо. Но до чего же уютно лежать всем троим в одной комнате и о чем-то болтать, никуда не торопясь.

— Тишина, дивный воздух, Тарнов — единственный в своем роде, — сказала Мум.

— Да, если он не падет жертвой ОСНП[13], — ответил Па.

Немножко помолчав, Мум сказала:

— Знаешь, тут я вступаю в конфликт со своей совестью. Конечно, Тарнов мог бы принимать много больше отдыхающих, может быть, даже надо было бы обратить на это внимание профсоюза. Но мы этого не делаем, потому что мы эгоисты, потому что хотим сберечь это место для себя — тихим, без чужих людей, таким, как теперь. Мы даже боимся, как бы кто-нибудь не проведал о Тарнове, и мне стыдно за себя. По-моему, если человек называет себя социалистом, он…

— Стыдись лучше за меня, — сказал Па, — но увы, ты предаешь Тарнов.

Мум засмеялась, но, когда Андреас взглянул на нее, она была еще не в ладах со своей совестью.

Тарнов — единственный в своем роде, Мум права, И все-таки есть люди, которым здесь не нравится. Фрау Рёдер, например. В прошлом году Рёдеры не знали, где провести отпуск, и Па снял для них комнату в Тарнове. В городе Рёдеры и Мупа большие друзья, а тут случилось невероятное: Тарнов им показался скучным.

«Ресторан грязный, неуютный, — жаловалась фрау Рёдер, — и вообще тут ничего не происходит, в дождь тонешь в грязи, и дома такие убогие. Мне больше по душе нарядная тюрингская деревня».

Самое странное, что все, о чем говорила фрау Рёдер, верно. И тем не менее Андреас не может взять в толк, как это человек, который ему даже нравится, так думает.

Тарнов расположен на продолговатом холме. Извилистая улица то поднимается круто вверх, то обрывается вниз. Ни один дом не стоит на одинаковой с другим высоте или в одном ряду. К дверям ведут маленькие каменные крылечки, а замшелые крыши прячутся в листве вековых деревьев.

Где еще найти такую деревню, которую окружают три разных озера? Справа за домами длинное озеро Гольден с крутыми лесистыми берегами. Ольха, вязы, дубы, буки и ясени склоняются над прозрачной зеленой водой. Светлые камни, точно жемчужное ожерелье, окаймляют озеро, в котором отражаются обрывистые берега. Андреас любит сидеть на одном из камней и смотреть в воду. Длинные зеленые водоросли шевелятся под водой, а там, где их нет, можно на глубине десяти метров увидеть ползающих по песчаному дну американских раков.

За школой и гостиницей поля спускаются к Тарновскому озеру, приветливому, светлому и открытому. Оно совсем неправильной формы, изгибается, как ему угодно, или вдруг, ни о чем не заботясь, просто сужается, как ручей. Берега его очень разнообразны — луга, холмы, болота и густой высокоствольный лес. Но Андреасу всего краше кажутся четыре острова. Самый большой — длиной полкилометра, на нем есть прекрасное плоское место для купанья, без единого камня. Чтобы попасть на другие острова, Андреас должен проложить себе на лодке путь через камыши. Добравшись туда, он натягивает брюки и перчатки, чтобы исследовать джунгли. На северной оконечности самого маленького из островов живут жерлянки. Вообще-то они охраняются как редкие животные, но даже Па разрешает ему поймать несколько штук «в познавательных целях».

За околицей возле мельницы — озеро Гунт. Его берега как девственный лес. Вьющиеся растения опутывают деревья и кустарники.

Больше всего Андреас любит Тарновское озеро.

Па вытянувшись лежит на лужайке с закрытыми глазами, но не спит. Мум по-прежнему читает газету. Андреас отпивает глоток лимонного сока.

Есть еще одно выражение, которое он услышал сегодня утром, до того как они вышли из дому. «Уровень развития».

Мум опустила в кастрюльку с водой кипятильник, чтобы сварить яйца к завтраку, а Андреас следил за ними. Если скорлупа лопнет, вода сразу вспенится, ему тогда вменяется в обязанность попеременно то вытаскивать вилку кипятильника из розетки, то снова включать, чтобы вода не убежала.

Сегодня утром яйца не лопались. Андреас вышел из комнаты,

оставив, как часто это делал, дверь открытой, а Мупа решили, что он спустился вниз.

«Надеюсь, что в этом году он уже слишком взрослый для этой шуточки с яйцом», — сказал Па.

Андреас сразу понял, что имеет в виду Па. Он вовсе не подслушивал, а просто не видел оснований, почему у родителей должны быть от него какие-то тайны.

«Мне она и в прошлом году представлялась уже совершенно невозможной, — ответила Мум. — В конце концов, теперь ему десять лет, а шуточка эта на уровне развития шестилетнего».

«И я тем не менее должен притворяться удивленным, если он опять ее выкинет?»

«Хотя бы только сегодня, не надо в первый день портить ему удовольствие».

Яйца к завтраку бывали только на каникулах. Вот уже несколько лет Андреас каждое летнее утро незаметно переворачивал в рюмочке пустую скорлупу, пододвигал рюмочку отцу и невинным голосом спрашивал:

«Хочешь еще одно?»

Па кивал, брал ложку, чтобы разбить яйцо, и с изумлением взирал на пустую скорлупку.

И всякий раз Андреас покатывался со смеху.

Услыхав разговор родителей, он уже и сам не знал: действительно он верил в изумление Па или только не хотел отказываться от того, что было для него связано с утренними часами на каникулах? И вдруг его осенила блестящая идея. Он неслышно сбежал по лестнице, зашел на кухню к фрау Кербе и попросил ее сварить ему одно яйцо.

«У вас что, яйцо протухло?» — спросила она.

Андреас кивнул и продолжал переминаться с ноги на ногу.

Когда он вернулся, родители уже сидели за столом. Горячее яйцо в кармане брюк здорово припекало ляжку. Они завтракали и обсуждали планы на день.

Мум встала, чтобы заварить чай. (Если Андреас и Па были в комнате одни, они использовали для чая воду из-под яиц.) Па взял в руки хлебный нож.

«Хочешь еще яйцо?» — спросил Андреас и пододвинул отцу рюмочку.

Па поднял глаза на Мум, смиренно взял ложку и стукнул по яйцу. Таким озадаченным Па никогда еще за все эти годы не выглядел. Андреас зашелся от хохота.

А когда родители поняли, в чем дело, они тоже смеялись до слез.

«Это что, твой заключительный спектакль?» — спросила Мум,

когда смогла говорить.

Андреас сидит на лугу и смеется, вспоминая об этом. Па на секунду приоткрывает глаза, Мум отрывается от газеты. Андреасу нечего делать, ему скучно. Он вытаскивает ящик с тушью и открывает альбом для рисования.

Андреас любит рисовать тушью, карандашом он пользуется много реже. Как приятно водить мокрой кисточкой по тарелочкам с сухой тушью и смешивать краски на продолговатой эмалированной крышке ящика, добиваясь все новых и новых оттенков… Целые страницы в его альбоме испещрены мазками туши. Сегодня он хочет нарисовать пейзаж: холм, покатый луг с зарослями ежевики, группу деревьев на берегу и озеро.

Сам не сознавая, что он делает, Андреас вместо пейзажа нарисовал корову. Девять коричневых полос, два глаза — и вот она стоит, большая и сильная. Голову она наклонила, глаза — маленькие, черные, близко посаженные точки. Сразу видно, что она в ярости.

Андреас держит рисунок в вытянутой руке, подальше от себя, чтобы хорошенько его рассмотреть.

И вдруг Мум говорит, словно врываясь в этот пейзаж, в этот прекрасный летний день, в этот рисунок:

— Заочные занятия начинаются только с октября.

— Это хорошо, — отвечает Па.

У Андреаса по спине бегут мурашки.

— Мум, я думал, ты уж с этим покончила.

— Я-то покончила, но Па хочет начать.

Андреас смотрит на отца и говорит:

— Надеюсь, ты пролетишь на вступительных экзаменах.

Па сердится.

— А тебя вообще никто не спрашивает.

Андреас хмурится. Его не спрашивают! А кому будет худо от этих вечерних занятий?

Он противник заочною обучения родителей. Как часто уже в его жизни ему говорили: сходи в магазин; не шуми; вынеси мусорное ведро; мы не сможем пойти в зоопарк; нет времени возиться с готовкой.

И все из-за учебы Мум.

Теперь она уже инженер и после отпуска начнет работать в конструкторском бюро. Его лично она вполне устраивала и когда была мастером. Ему кажется, что мастером быть даже лучше. Приходят двадцать мужчин, все ростом выше Мум, и просят ее совета.

О трех последних неделях ее заочного обучения ему вообще вспоминать неохота. Мум раздражалась по любому пустяку. Он

вынужден был ходить на цыпочках и чуть не каждый вечер есть сардельки, которые сам же себе и покупал.

А Па не должен так поступать. Разве он не вздыхал, не говорил: «Когда же это кончится?»

А как они отпраздновали окончание учебы!

Мум купила новое платье и вечером долго приводила себя в порядок, пока не стала чужой и красивой. Потом Мупа пошли танцевать.

— Анди, — говорит Па и большим пальцем ноги скребет по траве — ведь ты же не хочешь вечно сидеть в четвертом классе.

Андреас не отвечает.

Сперва было сказано «Тебя никто не спрашивает!», а теперь Па хочет загладить свою вину. Но Андреас не желает сразу идти на примирение. Нашли добренького!

— Чем больше человек учится, тем интереснее ему жить, — продолжает Па, — даже если в иные дни и приходится заниматься зубрежкой. В химии открыто много нового. Разве тебе понравилось бы, если бы я сейчас сказал: мне уже тридцать четыре года, зарабатываю я вполне прилично, так зачем мне еще учиться?

Андреас молча рисует рядом с коровой совершенно ненужную траву.

Па подкатывается к нему поближе и заглядывает в альбом.

— Настоящий Пикассо, — говорит он с гордостью.

Андреас знает Пикассо. Он нарисовал голубя мира. Тут и Мум уже смотрит на рисунок.

— Если бы это висело на выставке, критики сказали бы: у коровы нет лица, ее глаза висят в воздухе, а ноги — просто полоски без копыт.

— Но ты посмотри, до чего же она живая, так и кажется, что сейчас она тебя забодает, — говорит Па.

— Попробуй-ка нарисовать корову еще разок, поточнее, — просит Мум.

Похвала Па радует Андреаса. Он переворачивает лист, берет карандаш, напряженно думает и очень старается. Есть у коровы пальцы? Где у нее на хвосте начинаются волосы? Он рисует и рисует. Наконец говорит печально:

— Получилась собака с выменем.

Родители утверждают, что с Пикассо такое не могло бы случиться.

— Но ведь он самое меньшее на семьдесят лет старше меня, — говорит Андреас. — Пойдем рыбу ловить. — Он уже по горло сыт рисованием.

Когда они собирают вещи, Мум озирается вокруг и говорит:

— По-моему, он должен стоять здесь.

— Тогда уж лучше на вершине холма, — отвечает Па.

— Нет, там слишком ветрено, — говорит Мум, — здесь самое подходящее место.

— Ладно, — ворчит Па, убежденный только наполовину. — Но обязательно с плоской крышей.

— Ничего не выйдет, наверху должна быть комната Анди, такая, знаешь, со скошенными стенами. И еще я хочу во время дождя слышать, как капли сбегают с крыши.

— Ты не можешь слышать, как они сбегают, — исправляет ее Па, — только как они падают.

— А по-моему, лучше всего такой, как белый гриб, — круглый и с круглой крышей, — говорит Андреас.

— А по стенам — плющ, и застекленная веранда, — подхватывает Мум.

— От плюща стены быстро отсыреют, — говорит Па, и это стоит принять к сведению.

— Ну хорошо, тогда мальвы, но вокруг всего дома, голубые, красные, лиловые, до самой крыши.

— Я не хочу лестницу, — поддерживает Андреас вариант Мум, — я хочу, чтоб с улицы на крышу вела стремянка, а на крыше будет дверь в мою комнату.

Это продолжается долго, покуда летний домик-мечта не будет построен, и домик этот не единственный. У них есть шесть излюбленных мест, и в каждом из них дом должен быть совсем другим.

Они влезают в лодку.

Мум гребет.

Наверняка существуют прекрасные мамы, которые не умеют ни плавать, ни грести, ни ездить верхом. Выбирать себе маму по этому признаку он не стал бы, но ему нравится, что она все это умеет.

Мум гребет вдоль берега. Па смотрит в бинокль.

— Тише, — говорит он, почти не шевеля губами.

Мум сразу же опускает весла в воду.

— Справа от ольхи выпь, — шепчет Па.

Андреас ищет, пытается взглядом пробиться сквозь густой камыш. Это продолжается долго, покуда он наконец не обнаруживает птицу.

Выпь чувствует, что на нее смотрят. И не удирает, стоит неподвижно в камышах, высоко вскинув голову. Ее оперение сливается по цвету с камышами, длинный, вертикально торчащий клюв почти неотличим от камышового листа.

Па хватается за фотоаппарат.

Андреас и Мум переглядываются.

Па фотографирует только с прошлого года. Начал он с того, что накупил целую кучу книг. Па все так начинает. Если его что-то интересует, он должен сперва все об этом предмете прочитать. И лишь когда он основательно изучил различные камеры, выдержки, дальномеры и видоискатели, он взялся за фотоаппарат. Потом он стал читать специальные книги о фотографировании птиц.

В первом же кадре он попытался применить все, чему научился по книгам. Конечно, он слишком долго раздумывал, а птица тем временем улетела.

Мум, наоборот, отказалась учиться фотографировать по-научному.

— Мне достаточно, если я знаю, что делать на солнце, а что в тени.

О видоискателе она и слышать не хотела.

— Я и сама справлюсь, — сказала она и попросила у отца аппарат.

— Осторожнее! — воскликнул он так, словно это была не камера, а новорожденный младенец.

И тут произошло нечто такое, над чем Андреас немало потом смеялся. Мум сделала три снимка, и все три оказались лучше, чем тридцать снимков Па.

Но примечательнее всего — это сам Па. Основательно изучив фотографию, он ожидал, что его снимки будут какими-то сказочно прекрасными. Он, к примеру, до сих пор верит, что если он десять раз подряд снимет одно и то же, то уж один-то кадр наверняка будет отличным, А потом удивляется что все снимки совершенно одинаковы.

Наконец Па опускает камеру.

— Я полагаю, это будут великолепные кадры.

Мум и Андреас молчат.

— Вы тоже так считаете?

Мум и Андреас покорно кивают.

— Все было так отчетливо видно: и оперение, и глаза, и клюв, и даже гнездо — такие кадры не часто встречаются.

Мум осторожно замечает:

— Ты знаешь, оперение было не так уж хорошо видно.

Па сердится.

— Обязательно тебе вылить на меня ушат холодной воды.

И тут Андреас говорит:

— Аисты!

Мум зажимает рот рукой, чтобы не расхохотаться.

Теперь Па может вдруг швырнуть в рюкзак свой обычно бережно хранимый фотоаппарат и в сердцах начнет грести к берегу. Но гроза миновала. Па только секунду кажется взбешенным, а потом и он заливается смехом…

Эта история произошла в соседней деревне.

В Либенхагене семейство аистов свило гнездо на крыше сарая возле церкви. Андреас каждый год ездил туда с родителями. Они ходили на либенхагенское кладбище, потому что Мум очень любила разбирать надписи на старинных надгробиях. Там есть большие и маленькие кресты, черные стеклянные плиты с серебряными буквами, поддельные стволы деревьев из цемента, а для богатых — кованые железные решетки с аркой. Над покойниками недавнего времени посажены цветы. Рядом с бурьяном, тысячелистником, лютиками и кустами сирени эти цветы выглядят ненатурально.

Только на одной маленькой могиле — «Герберт Беренд, род. 6.5.1912, ум. 1.4.1913. Спи с миром» — стояла банка из-под мармелада со свежесрезанными цветами.

Это принесла ему его мама, подумал Андреас.

Па не видел могилы, он был занят поисками наилучшего места, чтобы сфотографировать аистов, а потом долго дожидался, пока они слетят с гнезда. Это было необыкновенно красиво, когда они на своих огромных крыльях кружили в небе. Па нащелкал двадцать один кадр. Он восторженно говорил о «разных моментах их полета», лучшие кадры хотел отдать увеличить, чтобы повесить дома, в передней.

Он никак не мог дождаться, когда же наконец будет проявлена пленка и отпечатаны снимки, но потом не захотел их никому показывать. На каждом из двадцати одного кадра были видны лишь шесть черных точек. И невозможно было догадаться, что это птицы.

Выпь скрывается в камышах, и Мум гребет дальше.

Андреас точно знает, где ему сегодня хочется ловить рыбу. На пути сюда он видел в бухточке у самого берега щуку: ее большое зелено-желтое тело неподвижно стояло в воде, точно подвешенное на невидимых нитях.

В прошлом году Андреас радовался каждой мелкой плотвичке, которая попадалась ему на крючок. Но теперь он мечтает только об одной рыбе — о щуке. Среди рыб это одновременно и царица, и разбойница.

Оснащен Андреас отлично.

Уже за несколько недель до отъезда на сэкономленные

карманные деньги он купил четырехметровое бамбуковое удилище. Влезть с ним в вагон городской железной дороги было невозможно. Он привязал на кончик удилища красную тряпку и пешком топал с Александерплац до Кёпеника. Дома отец разъяснил ему, что маршировать с этой штукой сто двадцать километров до Тарнова не слишком приятно. Па купил короткие металлические трубки, служащие креплениями, и Андреас, хоть ж горько ему было, распилил удилище на три части. Теперь он мог без труда разобрать и снова собрать его. К удилищу он приделал катушку с пятьюдесятью метрами дедероновой лески.

Андреас много говорил с Па о рыбной ловле, но как страстно он хочет поймать щуку, не знали ни Па, ни даже Мум. Уже при одной мысли об этом сердце мальчика начинало учащенно биться. Когда сегодня утром он увидел щуку, вертикально стоящую в воде, у него даже в груди закололо.

Они приближаются к бухте. Заросли камыша здесь вдаются далеко в воду. Андреас тихо просит Мум подгрести вплотную к камышам. Потом наклоняет несколько высоких стеблей и зажимает их верхушки под съемным сиденьем на носу лодки. Па то же самое делает на корме.

И вот с одной стороны лодки расстилается море камыша, и солнце уже не светит Андреасу в спину. Это важно, потому что пугливая щука удирает, завидев даже тень удилища. Андреас также знает, что рыба в воде раньше заметит его, чем он рыбу, и потому использует камыш для маскировки.

Мум ложится в лодке на надувной матрац. Ее не видно, и она не мешает. Если только выдержит долгое молчание. Он знает, что ей это нелегко дается.

Андреас смотрит в воду. Мимо спешат мелкие прозрачные рыбешки. Но щука, видимо, скрылась. Может, они слишком близко подплыли? Па уже нацепил на крючок дождевого червя. Андреасу на щуку червь не нужен, он прикрепляет к дедероновой леске свою лучшую блесну, узкую, мерцающую серебром металлическую рыбку, хвост у нее — рыболовный крючок. Андреас сжимает в руке свой спиннинг. Сильным движением он забрасывает крючок, леска, жужжа, сматывается с катушки, образуя над водой как бы высокую арку.

Забросить крючок — целое искусство, которому Андреас долго учился. Жужжание лески — музыка, сопровождающая рыбную ловлю.

Для Андреаса не существует больше ничего, кроме озера и удочки. Далеко от лодки, там, где погрузилась блесна, по воде, дрожа, расходятся круги. Андреас наматывает леску обратно на катушку, и переливчатая металлическая рыбка по воде тянется в

сторону лодки. Сотни щук живут здесь, неужели ни одна не примет эту рыбку за живую, не поплывет за ней, не схватит зубами и не проглотит крючок?

Закрепленная в камышах лодка слегка покачивается. Предостерегающее чириканье птицы вспугивает тишину.

Одну-единственную большую щуку!

Андреас сам чувствует, что его волнение уже почти непереносимо, но ничего не может с собой поделать.

Щука очень сильная. Когда она проглатывает крючок, тут только и начинается борьба. В прошлом году Па один раз поймал четырехфунтовую щуку.

Блесна выныривает из воды. Ни одна щука не дала обмануть себя. С первого раза редко везет, для этого надо много раз забрасывать крючок. Блесна второй раз летит в воду. Едва Андреас начинает наматывать леску, он вдруг чувствует сопротивление. Этот рывок, точно молнией, пронзает его тело. Теперь он выбирает леску медленнее — сопротивление все еще чувствуется, оно даже становится сильнее, и вот уже леска останавливается.

Андреас похолодел от разочарования. Он тянет, дергает, и наконец леска опять свободно наматывается на катушку, а из воды появляется блесна и тащит за собой шлейф из зеленых водорослей.

Только бы Мум и Па не смеялись!

В лодке все тихо. Андреас снимает водоросли с крючка и снова забрасывает блесну. И еще раз. Все напрасно. На десятый раз, наматывая леску, он чувствует на полпути Сопротивление. На этот раз должна быть рыба, щука!

Блесна появляется на свет божий — на крючке барахтается окунь. Его чешуя блестит, большой колючий спинной плавник топорщится от страха.

В нем, вероятно, не меньше фунта. Прекрасный улов.

— Еще две такие, и мы с ужином, — говорит Мум, радуясь возможности хоть что-то сказать.

Андреасу повезло, в прошлом году он был бы до смерти рад.

Поплавок Па уходит под воду.

Только бы, только бы не большая щука!

Па вытягивает удочку. Лещ! Грамм на сто пятьдесят.

Настроение у Андреаса улучшается. Почему? Потому что Па не поймал щуку.

Неужто он хуже других людей, или иногда все так думают? А как это узнаешь? Никто, если даже так подумает, не скажет об этом. Но самые лучшие люди наверняка те, которые могут сказать все, что думают, и при этом им не будет стыдно.

Вдруг спиннинг дергается, чуть не выскальзывает у него из рук. Леска натягивается. Клюнула! Леска бегом бежит с катушки, рыба тянет ее за собой в озеро. Андреас забывает дышать.

Он должен обуздать рыбу и потому отпускает леску, пока она вновь туго не натягивается.

— Щука, — шепчет Андреас.

— Спокойствие, — говорит Па, — ты ведь еще не знаешь, что там попалось.

— Щука, — повторяет Андреас, который весь покрылся гусиной кожей. Он подтягивает рыбу поближе к лодке.

— Медленнее, медленнее, — говорит Па. — Помочь тебе?

Андреас качает головой.

— Щуки такие костлявые, — говорит Мум.

Как Андреасу хотелось бы сейчас быть одному! Щуки, видите ли, костлявые! «Помочь тебе?» «Медленнее, медленнее».

Он крутит катушку, укорачивает леску. Рыба неистовствует, но Андреас ее еще не видел. Он ослабляет леску, боится, что иначе рыба сорвется.

И опять натягивает, пусть рыба сперва устанет бесноваться.

Андреас отпускает леску ровно настолько, чтобы чувствовать, как рыба борется за свою жизнь. Как он ее поднимет на борт? Сколько она может весить? На крючке она кажется большой и сильной.

Снова Андреас укорачивает леску. И тут он в первый раз видит ее. Это щука — большая щука фунтов на пять весом! Но лучше сдержать нетерпение, у нее еще слишком много сил.

— Сынок, не надо так волноваться, — говорит Мум.

— Укороти еще немного леску, — советует Па.

Андреасу хочется лягнуть их.

Рыба в пяти метрах от лодки… в трех… в одном.

Теперь Андреас пытается вытащить ее из воды, леска натягивается, удилище гнется, у Андреаса дрожат колени.

Он даст рыбе еще поводить. Вот только сосчитает до сорока. Но может быть, рыба в своей борьбе за свободу все больше и больше освобождается от крючка? Может быть, Андреас чересчур осторожен?

Он сосчитает только до двадцати.

Андреас начинает считать. Подходя к десяти, замедляет темп, потому что очень уж он зачастил. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать.

Андреас вытаскивает рыбу из воды. Он видит плоскую голову, широкую раззявленную пасть, острые, внутрь растущие зубы. Вот щука уже вровень с бортом. Еще один крохотный поворот катушки.

Андреас вскрикивает. В самую последнюю долю секунды щука сорвалась с крючка.

Андреас съежившись сидит в лодке. Бледный как полотно, он повернулся к родителям спиной. Больше всего ему хотелось бы сейчас куда-нибудь забиться, в какие-нибудь кусты, в нору, куда-нибудь в темноту, где он был бы один.

Он слышит, как Па освобождает из-под сиденья камыши.

Не оборачиваясь, он проделывает то же самое. Сломанные и разодранные, свисают над водой камышовые головки.

Па садится на весла. Все молчат.

Равномерно и быстро скользит лодка.

— Я пристану у Пастушьей горы, — говорит Па.

Там, где озеро сужается, висят рыбацкие верши. Есть только одно место, где можно проплыть, не задев их.

— Анди, я правильно гребу? — спрашивает Па, который сидит спиной к вершам.

— Возьми левее, — говорит Андреас.

— Спасибо, сынок, — отвечает Па.

У Пастушьей горы Па без помощи Андреаса привязывает лодку.

Андреас поднимается на гору в двух шагах позади родителей.

— Жаль, что дрок опять померз, — говорит Мум.

— Что мы будем делать вечером? — спрашивает Па.

Пусть себе родители разговаривают. На вершине Пастушьей горы дует ветер. Три озера искрятся внизу среди волнистой земли. Очень ясно видна деревня: соломенная крыша Кому-рыбы, рядом замшелая черепица на доме фрау Шрайбер, а дальше дом Кербе.

— Широкий обзор, — говорит Па.

— А мне всего милее покой и красота, — говорит Мум.

Андреас не говорит ничего.

Мум протягивает ему кулек с конфетами.

— Самые вкусные — красненькие.

— Красных осталось только две, — говорит Андреас.

— Вот и съешь их, — говорит Па.

С горы Андреас идет впереди родителей.

У подножия Пастушьей горы лежит большой расколотый камень. Там Андреас в прошлом году нашел веретеницу. Глубокая трещина в камне — не природное явление. Андреас, как и все в деревне, знает историю этой трещины. Камень, который не под силу поднять и десяти мужчинам, несколько веков назад обрабатывал один каменотес. Сперва он проверял, с какой стороны лучше откалывать от камня тяжелые глыбы и куда им

лучше падать. Потом делал на камне насечки, одну за другой. В каждую насечку он вбивал по сухому липовому колышку. Потом начинал поливать эти колышки водой, и они так разбухали, что буквально рвали камень на части. Но на этот раз каменотес просчитался. Глыбу разорвало не так, как он предполагал, и она уже ни на что не годилась.

Андреас смотрит на камень, который лежит на этом месте уже триста лет. Может быть, каменотес вбивал колья в 1665 году? Испугался он, когда камень так неожиданно разорвало? А если он был крепостным, то, значит, его наказали? Андреас часто задается вопросом, для чего тогда использовали камень и почему этот уже ни на что не годился.

Но этого никто не знал.

На пейзаж у подножия Пастушьей горы Андреас сегодня смотрит без всякой радости и в красных конфетах чувствует привкус щуки.

Андреас кладет руку на камень. Вот здесь его касалась рука каменотеса.

Щука оказалась еще меньше, чем невзрачная плотвичка.

Андреас поджидает родителей.

— Можно мне на весла? — спрашивает он.

Обратно они плывут по озеру Гольден. Андреас намечает себе цель и держит курс строго на эту цель, ведь при гребле легко потерять направление. Лодка входит в канал, соединяющий Гольден с Тарновским озером.

Длина этого канала — сто метров. Если бы рыбаки его не расчищали, он бы уже зарос камышами.

И даже когда на озере волнение, в канале — штиль. Дно его сплошь покрыто водорослями. По поверхности плавает лягушачья икра. Пахнет гнилью. Птицы живут здесь тысячами, и нередко на них сверху камнем падает орел.

Приблизительно такими представляются Андреасу реки в девственных лесах.

Канал слишком узкий, чтобы грести. Андреас стоит на корме и правит одним веслом. И всякий раз с трудом вытаскивает весло из водорослей.

В самом узком месте канала перекинут мостик, через который ведет дорога к Либенхагену. Андреас садится и снизу хватается руками за мостик. Он хочет таким образом разогнать лодку, чтобы она проскочила в Тарновское озеро.

И тут он чувствует, как дерево подается; и едва он отпускает руки, полдоски свисает в воду.

— До сих пор не починили, — говорит Мум. — Один

субботник, и все было бы в порядке.

Слова Мум нарушают тишину девственного леса, но она права. Этот мостик ветшает с каждым годом. И перила уже развалились. В прошлом году Тарновский кооператив перегонял овец в Либенхаген. Три овцы перешли мостик, а у четвертой передние ноги провалились сквозь трухлявое дерево, и она поранилась. И тут возник спор: либенхагенцы утверждали, что мост принадлежит не им, и то же самое говорили тарновцы.

Если идти через мост, от деревни до деревни полчаса ходьбы, а по шоссе — целых пять километров.

— И ведь оба бургомистра — члены партии, — продолжает ворчать Мум, потому что такие вещи ее возмущают. — Доски у каждого на дворе есть, но они ждут, пока какой-нибудь ребенок не свалится с моста и не утонет.

Мум никак не может успокоиться, и Андреас уже начинает бояться, что она возьмет ремонт моста в свои руки. Он уже видит, как она сидит у бургомистров и как беседует с крестьянами. Она — такая, но это ли нужно в отпуске? Андреас считает вполне правильным, если они втроем иногда помогают на уборке урожая. Ему это доставляет удовольствие. И он хорошо понял, когда в прошлом году Мум вздыхала:

«Я так мечтала о солнышке, но, когда видишь, как пересыхают поля, начинаешь даже в отпуске молиться, чтобы пошел дождь».

Конечно, Андреас не хочет, чтобы его Мум была другой, он гордится ею, но она слишком много беспокоится по мелочам. «Ты просто не вправе так себя изничтожать», — уже говорил ей Па. Но именно этим она и занималась вчера в поезде и чуть-чуть не изничтожила заодно и радость Андреаса по поводу каникул. Когда они приехали на вокзал, посадка уже началась и люди устремились — нет, они с двух сторон стали буквально вламываться в вагоны. Андреас даже забывал толкаться и пихаться, настолько он был поглощен созерцанием взрослых. В первом купе на застекленной двери висела коленкоровая занавеска — наверно, служебное. Все ринулись к следующему. Там места были заняты пассажирами и багажом. Народ бросился дальше. В третьем купе было то же самое, но на этот раз Мум остановилась и спросила:

«Тут нет свободных мест?»

Неопределенное бормотание.

Мум повторила свой вопрос, громче.

Какой-то мужчина снял с соседнего сиденья свой чемодан и положил его в багажную сетку.

Мум осталась стоять.

«Может быть, есть еще место»?

Опять кто-то убрал свой чемодан.

В этом купе оказалось три свободных места.

Поезд тронулся, и тут Мум вошла в раж. Она отправилась назад, во второе купе, и потребовала, чтобы пассажиры сняли свой багаж с сидений. Она постучалась — так, словно была начальником поезда, — в закрытое купе, открыла дверь, обнаружила там пятерых мужчин с сигаретами и три свободных места.

В коридоре Мум повысила голос, она хотела, чтобы ее слышали во всех трех купе:

«Мало того, что у вас есть место, так вы занимаете еще два, чтобы ехать с удобствами и без помех, а остальные должны стоять».

Андреас отвернулся, ему все это было мучительно. Он не хотел, чтобы люди догадались, что это его мама, хоть она и была права. Он быстро взглянул на Па и почувствовал, что ему тоже несладко.

В этот момент Мум заметила их смущенные лица и сказала Па:

«Это вовсе не мелочь, это страшно, что люди у нас такие бесцеремонные эгоисты».

«Не очень-то о себе воображайте», — сказал молодой человек, который под взглядом Мум снял с сиденья свой чемодан.

«Женщина права», — сказал старик, усевшийся на это место.

Толстуха в лиловых бусах сказала:

«Прекратите, дайте отдохнуть».

Наконец в разговор вмешался Па:

«А как бы вы отдыхали, если б вам пришлось стоять в коридоре, когда тут были свободные места?»

«Я имею право на сидячее место».

«Другие тоже».

Толстуха говорила такие глупости, что в конце концов все приняли сторону родителей, но Андреас долго еще чувствовал себя не в своей тарелке и потому был обижен на отца с матерью, покуда не обнаружил мужчину рядом с Па, вернее, его бородавку. Она сидела на правой щеке и дрожала как-то совсем отдельно, а все лицо было неподвижно. Вот она перестала дрожать, а вот снова задрожала.

Андреас то и дело смотрел на бородавку и наконец глазами указал Мум — Па в этом ничего не смыслит — на странное свойство бородавки. Мум посмотрела и, чтобы не рассмеяться, зажала рукой рот.

Андреасу эта бородавка с каждой минутой казалась все

смешнее. Мум продолжала бороться с подступавшим смехом. Па неодобрительно посматривал на них обоих. Он терпеть не может, когда смеются над людской внешностью. Но Мум эта обособленная жизнь бородавки представлялась настолько потешной, что она чуть не задохнулась от смеха и спаслась бегством в коридор.

Чего только с ними не бывало на железной дороге. Мум часто рассказывала историю о лысине. Андреас помнить это никак не мог. Он, совсем еще маленький, сидел на коленях у Па, а рядом сидел мужчина без единого волосочка на голове. Андреас просто не мог оторвать глаз от этого гладкого полированного шара. Па попытался отвлечь его, рассказывая всякую всячину, но Андреас не сводил глаз с лысины. И вдруг, на секунду оставшись без надзора, Андреас протянул руку и погладил мужчину по лысине. Все пассажиры словно приросли к своим креслам, а Мум и сегодня еще корчится от хохота, когда описывает, какое у Па было при этом лицо.

Андреас стряхивает с себя воспоминания о вчерашнем дне, он уже пересек бухту Тарновского озера и теперь тормозит левым веслом, а правым гребет к берегу. Лодка делает поворот и, не задев столбики, въезжает под камышовую крышу лодочного сарая.

Рыболовные снасти и надувные матрацы они оставляют здесь, а рюкзак, зеленую лягушку и пойманную рыбу берут с собой. Фрау Кербе пожарит эту рыбу на ужин.

Если Андреас целый день провел на вольном воздухе, он с удовольствием возвращается в дом Кербе. Он идет через двор к черному ходу, потом по грубой деревянной лестнице взбирается на чердак, развешивает на веревке полотенца и плавки и, встав на цыпочки, смотрит через чердачное окно на Пастушью гору, которая высится за озером Гольден.

Андреас считает, что из чердачного окошка открывается куда более красивый вид, чем из большого окна.

Он открывает дверь в их комнату. Собственно, это тоже часть чердака. Только здесь побеленные стены и два широких окна выходят на деревенскую улицу.

Па любит смотреть на липовые кроны, он говорит, что зелень «прохладная и успокаивающая».

Мум за то, чтобы деревья спилили, тогда вид на Тарновское озеро будет еще лучше, но Па называет это «кощунством».

Комната у них большая, в ней много воздуха. Пол выскоблен до того, что виден рисунок дерева, а по потолку тянутся балки. Стол стоит на одной толстой ноге, за ним — плюшевый диван со спинкой и резными украшениями. Сиденье все в рытвинах, от

старости.

В углу стоит комод. Когда Андреас был еще таким маленьким, что не умел ходить, Мум выдвигала нижний ящик и укладывала его туда спать. Фрау Кербе до сих пор об этом вспоминает.

Теперь в комнате три кровати, и все-таки остается еще много свободного места. Рано утром каждый сам убирает свою постель, но фрау Кербе днем обязательно заправляет их по-своему. Ее перины лежат ровно-ровно, без единой морщинки. Дома Андреас и Мупа спят под одеялом и с перинами обращаться не умеют.

Перина, по мнению Андреаса, единственное неудобство на каникулах. Ему под ней слишком жарко. Вечером он пытается сбить все перья к ногам, но ночью они как-то опять оказываются на своем месте.

Кооперативный магазин вот-вот закроется, а Мум еще надо кое-что купить. Пока Андреас стоит с ней в очереди, Па идет в пивную, Мум и Андреас обещают тоже прийти туда, хотя там стало гораздо хуже с тех пор, как пивная перешла к «Распутину».

Распутин — высокий сухопарый мужчина. У него черные глаза, густые темные брови и черные, распадающиеся на отдельные пряди волосы, можно было бы сказать, такие же, как у Па, но Па и Распутин отличаются друг от друга, как свежая вода от болотной. И дело не в разнице возрастов. Распутин, несмотря на черные волосы, мог бы быть дедушкой Андреаса. Андреаса даже передергивает от такой мысли. Разница в другом. У Распутина во рту торчат обломки зубов, вместо носа у него какая-то причудливо искривленная складка. У него большой живот, хотя вообще-то он худощавый, и это выглядит много хуже, чем живот у толстяка. Его фигура напоминает грушу, а на грушу надета черно-коричневая узорчатая жилетка, всегда одна и та же вот уже три года. У Распутина вид какой-то неопрятный, и все, к чему он прикасается, тоже становится неопрятным. Кроме того, Андреас его побаивается, потому что Распутин постоянно что-то бормочет себе под нос.

У него есть жена. Говорят, четвертая. Говорят, «остальных он свел в могилу».

Все в деревне называют его Распутин. Па рассказывал Андреасу, что так звали одного страшного, мрачного монаха в России. Он был реакционер, очень могущественный, и в конце концов его убили.

Четвертая жена Распутина болезненная и затюканная. Когда Распутину что-нибудь от нее нужно, он молча делает ей знак мизинцем. Если она этого не видит, он ворчит, как собака.

В кооперативном магазине полно народу. Женщины целыми днями в поле и за покупками ходят только вечером. Но Андреасу не скучно стоять в очереди, потому что он всех здесь знает и уже целый год с этими людьми не виделся.

— Андреас очень вырос, — говорит фрау Шрайбер и ласково треплет Андреаса по голове. Ее муж — рыбак. А дети уже взрослые. Обычно, если фрау Шрайбер гладит его по голове, он и внимания не обращает. Но на сей раз он даже радуется этому, потому что теперь понимает — она больше на него не сердится.

В прошлом году он был у нее вместе с Мум, они хотели купить угря. В саду фрау Шрайбер еще цвел мак-самосейка. Все цветы кажутся красивее, когда их освещает солнце, но мак и в пасмурную погоду полыхает таким пурпуром, что солнце уже вроде и ни к чему. Когда Андреас был еще маленьким, он верил, что в плохую погоду достаточно приложить руки к цветку мака, чтобы согреться.

Комната у фрау Шрайбер очень низкая. Андреас хорошо помнит, что на окнах там стояли цветы в горшках, которые ее еще больше затемняли. Старая мать фрау Шрайбер сидела у печки, словно зимой, и штопала толстые шерстяные чулки. На комоде лежала большая раковина, а рядом стояла фотография. Андреас подошел к комоду, его заинтересовала раковина.

«Мум, здесь фашист», — сказал он, указывая на фотографию молодого человека с Железным крестом на мундире вермахта.

Три женщины прервали разговор.

«Это мой брат, — тихонько сказала фрау Шрайбер, — он погиб на Восточном фронте, от него у нас осталась только эта фотография».

Мать фрау Шрайбер опустила штопальный грибок с надетым на него чулком.

«Мой младший, — сказала она. — Зачем ты ругаешь мертвого? Вас этому нынче в школе учат? — Она сняла очки. — И оставь угря, от меня ты угря не получишь».

Андреас положил на стол рыбу, завернутую в газету. Старуха встала, положила красный гриб возле угря, голова которого высунулась из газеты. Старуха смотрела в окно, мимо Андреаса, глаза у нее были бесцветные, кан вода.

«Эту березу у забора он посадил, ему тогда было столько лет, сколько тебе. Береза растет и растет, а он… я даже не знаю, где он лежит, может, нигде он и не лежит, может…»

«Не надо, мама», — сказала фрау Шрайбер.

Лицо Андреаса пылало, руки он засунул в карманы брюк.

Старуха подошла к комоду, выдвинула ящик и поставила на

стол рядом с угрем и штопальным грибом отлитые в металле крохотные детские башмачки.

«Это его первые, Иоганн у меня начал ходить раньше, чем другие дети, только вот вечно сосал шнурки…»

«Мум», — прошептал Андреас.

«Мой Анди не хотел причинить вам боль, — сказала Мум, — для детей ведь существует только добро и зло. Конечно, он слышит в школе и дома, как страшно это было — Гитлер и война, и это правильно, то, чему их учат».

«Господи, — сказала фрау Шрайбер, — лишь бы это не повторилось… Возьми своего угря, мальчик, наша мама ничего такого не думала».

Андреас вопросительно взглянул на старуху. Она вообще ничего не слышит, подумал он, она сейчас далеко, с тем мальчиком, который сосал шнурки.

Мум кивнула ему.

«А не хотите немного укропа с грядки для соуса?» — спросила фрау Шрайбер.

Старуха подошла к столу, взяла гриб и сказала:

«Возьмите хрен, для угря нет ничего лучше».

Пока Андреас дожидается в магазине, он вспоминает не только эту историю, но и то плохое, что он узнал о Мум незадолго до рождества.

В тот день, минувшей зимой, он делал уроки, когда Мупа вернулись с работы. Он как раз обдумывал, как пишется слово «полотенце». Надо ли после «н» писать «т» — полотентце?

Это не имело ничего общего с тем плохим, что было связано с Мум. Просто он еще сидел за столом и смотрел на это «нце», как до него донеслись несколько слов из разговора родителей. Мум, держа в руках письмо, сказала:

— Мы с ней были еще в гитлерюгенде, и она по сей день так и не переменилась.

Андреас поднял глаза от тетради.

— Что ты сейчас сказала, Мум? Ты ж ведь не была в гитлерюгенде?

Мум секунду помедлила.

— Собственно говоря, мы все там были.

Андреас решил, что ослышался.

— Но не ты? Этого же не может быть. А Па?

— Па — нет. У него были другие родители.

— Мум, это неправда, ты просто так говоришь, чтобы надо мной посмеяться.

— С этим я не шучу. Но тогда так было. Мы не знали ничего

другого. Кончай свои уроки.

Но он отложил ручку и в отчаянии взглянул на Мум.

— Анди, в чем дело?

— Но ведь не ты, — повторил он, — не ты, Мум.

— Мне было десять лет, Андреас, — тихо проговорила Мум.

Она кричала «хайль Гитлер!», когда ей было столько лет, сколько ему сейчас. Она была за войну. Она говорила: «коммунистические свиньи». Когда Па было десять лет, на его глазах нацисты арестовали его отца, потому что он был красный. Как только Па мог полюбить Мум? Андреас чувствовал себя так, словно в комнате вдруг не стало стен.

— Это все неправда, — прошептал он про себя.

— Ну, хватит, — сказал Па.

Мум вышла из комнаты.

Па все ему объяснил. Рассказал о социализме, который может изменить миллионы людей и даже весь мир.

Ничего нового Андреас не узнал.

— Посмотри на Мум, есть ли человек честнее ее?

Андреас покачал головой. Но в этот вечер он не поцеловал ее перед сном.

— Как поживает ваша мама? — спросила Мум у фрау Шрайбер в магазине, и ответ спугнул мысли Андреаса.

— Наша мать при смерти, — говорит фрау Шрайбер. — Приехали в гости мои братья из Западной Германии, и мама сказала: «Я хотела еще разок увидеться с вами, но не хочу, чтобы вы второй раз пускались в такой далекий путь на мои похороны». И вот уже три дня не встает с постели.

Андреас никак не мог этого уразуметь. В прошлом году ей исполнилось восемьдесят пять, у нее до сих пор были дела — штопать чулки, пасти гусей, обрывать ростки со старой картошки, завязывать банты правнучкам.

И береза продолжает расти.

Ему становится грустно.

— Я буду тоже звонить в колокола, — говорит он.

— Сделай это, мой мальчик, — говорит фрау Шрайбер. — Пусть она порадуется.

Церковь стоит на деревенской площади, неподалеку от дома Кербе. Колокола висят не на колокольне, а на перекладине внизу, возле церкви.

Когда в деревне кто-то умирает, колокола звонят. Трое мужчин, стоя на церковном дворе, тянут за колокольный канат. Как-то у себя наверху Андреас услышал гудение колоколов, ужасающе громкое, оно заполняло всю комнату. Он посмотрел

вниз, на мужчин, на раскачивающиеся колокола, и стал гадать, кто же из стариков умер. Долго он не выдержал и побежал вниз.

Церковный двор огорожен старыми, наваленными один на другой камнями, найденными в поле. Все камни разной формы… Они не скреплены цементом, и все-таки стена стоит уже больше ста лет.

Андреас тогда в спешке перелез через стену и тоже ухватился за канат. Сверху это казалось совсем легко, но на самом деле это была тяжелая работа.

Мать фрау Шрайбер в своем черном платье с молитвенником под мышкой каждое воскресенье ходила в церковь. Неужели она верит, что теперь на небе предстанет перед господом богом и будет дальше жить на облаке?

Может быть, совсем старые люди и вправду в такое верят? А молодые?

Андреас один раз спросил ее правнука:

— А можешь ты мне наизусть сказать молитву?

Дитеру было одиннадцать лет.

— В обед, например, говорят: «Приди, господи Иисусе Христе, будь нашим гостем и благослови дары свои».

— А зачем вам каждый день гость к обеду? И почему он вам что-то дарит? Овощи твоя мама сажала, мясо — от вашей свиньи, а пудинг — из вишен и смородины, которые растут у вас в саду. И…

— Я покажу тебе барсучью нору, — сказал Дитер, и они побежали в лес.

Наконец подошла очередь Мум. Жевательную резинку Андреасу приходится покупать самому, потому что Мум этого не одобряет.

Здешнюю пивную никто не счел бы уютной, но другой в деревне нет, и потому по вечерам там всегда много мужчин.

Андреас еще с улицы слышит шум. Он поднимается на крыльцо и сквозь толпу протискивается внутрь. Мум следует за ним.

Распутин неподвижно лежит на полу. Фрау Распутин сидит на стуле и всхлипывает. Па стоит посреди зала, он потерял один башмак, щека у него в крови.

Остальные посетители стоят по стенам.

Андреас сразу понимает: Распутин Второй, так же как его предшественник, монах, убит.

И этот герой — Па?

Андреас поднимает глаза на Мум. Она шепчет:

— Но Вальтер!..

Тут «убитый» открывает глаза, садится и мизинцем подзывает

свою жену. Та подбегает и пытается ему помочь. Больше никто ему не помогает. Он бормочет что-то невнятное и, прихрамывая, выходит из зала.

— Но Вальтер… — повторяет Мум.

Мупа выходят во двор.

— Ты зря так испугалась, — говорит Па. — Я вхожу, открываю дверь на кухню, потому что в зале опять никого не обслуживают, и вижу, что Распутин стоит у плиты и колотит свою жену. Этого я стерпеть не мог, надо же в конце концов было высказать ему свое мнение!

— *Высказать* — да, — отвечает Мум.

Вилли Кён, толстый бухгалтер кооператива, догнал их.

— Вальтер, оставайся, так хорошо начался вечер.

— Каждый из нас поднесет вам по рюмочке, — говорит Эрвин, белокурый тракторист.

— Вы малый что надо, — говорит его близнец, скотник.

Выходят десять человек и приглашают Мум и Па сесть на стулья перед пивной.

— Не каждый рискнет связаться с Распутиным.

— Давно пора.

Андреас пылает от гордости, все хвалят его отца. Он взглядывает на Мум. Он знает, как она радуется, когда хвалят отца, но сейчас у нее такое лицо… Ему кажется, что дома она захочет «серьезно поговорить с Па».

Все чокаются с отцом, и он пьет вместе с ними. Кровь на щеке запеклась.

Андреас сияет, Мум молчит.

И вдруг Па произносит речь:

— Конечно, Распутин заслужил, чтобы ему всыпали, но почему вы никогда ему и слова не сказали? Почему вы позволяете ему чинить произвол, будто он паша какой-нибудь? Потому что все вы ему задолжали. Потому что у него есть маленькая черная книжечка, где записано, кто ему сколько должен.

Хвалы смолкают.

— Вам, городским, хорошо говорить, — отвечает Фриц Миндераль, председатель кооператива. — Что мы тут видим от жизни… и если еще по вечерам не пить пива…

— Погоняли бы целый день по полям… — перебивает его маленький широкоплечий крестьянин Эрих Финов.

— Просидели бы целый день в химической лаборатории… — отвечает Па. — Но речь идет не о нескольких кружках пива…

Сбитый с толку, Андреас слушает и чувствует себя разочарованным. Зачем Па это сделал? Как раз когда его хвалят и у всех прекрасное настроение, Па говорит то, что их сердит. Если

бы Андреаса кто-нибудь так хвалил, он не стал бы нападать на этого человека. Ведь так приятно слышать хорошие слова о себе, это как глазурь на торте, как электрокамин зимой.

Андреас хмурит лоб и трет подошвы о железную перекладину под столом. Но если из-за этого надо скрывать свое настоящее мнение, то это похоже на трусость. Тебя кто-то хвалит, и ты уже не видишь в этом человеке никаких недостатков.

— Поставь нормально ноги, — говорит Мум.

Па не поддался на похвалы — его Па не поддался, он был смелым с Распутиным, а с другими еще смелее… Па…

В дверях стоит Распутин. Глаз у него запух и почти не открывается.

— Заведение закрыто, — говорит он, — я сейчас еду в полицию и завтра уже не открою, — повторяет он, угрожающе глядя на Па.

— Делай как знаешь, сын мой, — говорит бургомистр, — но закрывать по собственному усмотрению ты не имеешь права — пивная останется открытой. Твоя жена ведь не едет. Или ты избил ее до полусмерти? Тогда немедленно сообщи полиции и об этом.

Распутин не решается ехать в полицию, но на глаза больше не показывается. Напитки разносит его жена.

Андреас уже не следит за разговором. Теперь речь идет о трудоднях, о новых удобрениях. И вдруг Мум оживляется. Она говорит о деревянном мостике через канал.

Андреас дергает ее за рукав.

— Я есть хочу.

Мум вскакивает. Уже поздно. Ей стыдно, что фрау Кербе одной приходится чистить картошку. Ведь фрау Кербе целый день работала в поле.

На обратном пути Па говорит:

— Я бы нашим ресторациям выдавал премии не за рекордную продажу алкогольных напитков, а за наименьшее количество пьяных.

Мум кивает…

Они ужинают в большой кухне вместе с мужем и женой Кербе и двумя их маленькими сыновьями.

Андреас очень любит фрау Кербе. Она никогда не пускается в нежности, но он знает, что и она его любит. Она легко смеется, когда рассказывает что-то смешное, и ему это нравится. Ему нравятся ее кудрявые волосы и круглое лицо.

О господине Кербе Андреас много думал. Он завидует его профессии. Франц Кербе работает на лесопилке, возит дрова из лесу. Казалось бы, ерундовое занятие, но если кто так думает, пускай поедет с ним в лес и посмотрит, как длинные тяжелые

стволы обматывают цепями и грузят на машину, а еще лучше — поможет их грузить.

Всякий раз, когда Андреас приезжает на каникулы и когда уезжает, Франц Кербе толкает маленькую речь: слушайся родителей, будь прилежным, только тот, кто учится, выходит в люди.

Франц Кербе постоянно работает, даже по праздникам. Либо он полет большой огород, либо трудится в поле, где растет рожь для свиней. Каждый год он что-нибудь новое делает для своего дома: водопровод, электрическое освещение, отделка чердака. Свой огород он хочет превратить в настоящую овощную плантацию.

В прошлом году Андреас один раз ездил в лес с господином Кербе.

У леса много лиц.

Андреас ловил бабочек и различал неслышное жужжание насекомых, взгляд его охватывал освещенные солнцем стебли, траву и цветы.

Андреас собирал грибы, и лес, казалось, весь состоит из поросших зеленым мхом полянок в тени толстых деревьев, из земли, засыпанной бурыми еловыми иголками и прелыми листьями.

Когда Андреас выслеживал дичь, он ощущал бесконечную тишину леса и его неисследованную глубину. Он увидел оленя, Андреас и олень переглянулись, не двигаясь с места. Это было как игра, кто надольше замрет. Обычно проигрывал Андреас, он шевельнется — и олень ускачет. Олени очень грациозные и красивые, но когда они, как собаки, рыщут по деревне, то ему на них и смотреть неохота.

Он наблюдал за птицами в лесу, и воздух был полон трелей, щебета и чириканья, а он следил за их полетом над верхушками деревьев. Он любил смотреть, как синицы кувыркаются на тоненьких ветках, но любимая его птица — пестрый дятел.

Один раз он совершенно неожиданно увидел дятла на причальном столбике у Тарновского озера. Дятел совсем не вписывался в это окружение. Он сидел от Андреаса всего на расстоянии двух весел. На фоне воды его красно-бело-черное оперение больше бросалось в глаза, чем в лесу. Опираясь на хвост, он сильными движениями головы вколачивал свой клюв в деревянный столбик. Но тут вдалеке загромыхал дизельный мотор господина Кербе. Дятел улетел.

Кому он мог об этом рассказать? Кто поймет, какое это было волнующее событие?. Разумеется, Па. Мум поняла бы это лишь отчасти. Мум любит природу иначе, чем Андреас и Па.

Па иной раз сердится, если Мум в нетерпении продолжает путь, когда сам он останавливается возле каждой живой твари.

«Твоя тяга к природе в основе своей поверхностна», — сказал он ей как-то раз. Мум обиделась.

Андреас понял разницу. Для Па наблюдать за животными — главное, все остальное в природе — прекрасный, неотъемлемый фон. Мум, правда, тоже радуется, глядя на гнездо с птенчиками, но она не станет ползти десять метров по колючим кустам, чтобы поглядеть на него.

Но за городом Мум всегда бывает радостной, счастливой и никогда не нервничает. Она принадлежит природе, и потому со стороны Па несправедливо было так говорить.

Когда Андреас в тот раз сопровождал господина Кербе, лес опять явился ему с новой стороны.

На проселочной дороге от тяжелой машины оставались глубокие колеи. От поваленных деревьев пахло смолой, голоса мужчин казались особенно гулкими, цепи, при помощи которых стволы втаскивают на грузовик, звенели, а на Андреаса напали тучи комаров.

Франц Кербе и его помощник грузили толстенное бревно. Кербе человек могучий, на шее у него вздулись жилы, он пыхтел, а его мокрое от пота лицо стало темно-красным.

Во время работы одна брючина у него задралась, и Андреас увидел такое, что перепугался насмерть. Вместо правой ноги — кожаный протез.

Андреас долго не мог успокоиться. Он знал господина Кербе столько, сколько помнил себя, а вот это обстоятельство было ему неизвестно. И не потому, что это от него специально таили, просто случайно он ничего не знал. И так же случайно в тот же вечер об этом заговорила фрау Кербе. Она рассказала, как в жару от пота протез натирает зарубцевавшуюся рану.

«Я тогда смазываю ему рубец французской водкой, — сказала она, — это немного смягчает боль».

На следующий день Андреас спросил:

«Па, господин Кербе — герой?»

Андреас должен был признать, что вопрос свой он задал ни с того ни с сего, и Па от неожиданности рассмеялся.

«Почему ты так решил? Франц — герой? Он человек трудолюбивый, очень деловой, его на мякине не проведешь. Но герой?»

«Я так подумал из-за ноги, ведь это же совсем у него незаметно», — помедлив, объяснил Андреас. Ему не нравилось, когда над его вопросами смеялись.

Тут Па сказал уже совсем серьезно:

«Может быть, ты не так уж неправ. Один раз совершить подвиг проще, чем, будучи калекой, никогда не терять мужества».

— О чем это ты замечтался? — говорит Мум, и Андреас вздрагивает. Он сидит за большим столом вместе со всеми, перед ним нетронутая тарелка супа, и за такое короткое время он успел столько всего передумать.

После ужина Франц Кербе, как всегда в первый вечер, идет в погреб, приносит оттуда домашнее вино из бузины и приглашает гостей в комнату.

Наверняка он опять скопил немало злости, чтобы излить ее всю перед Па и Мум.

Едва они сели, он начинает: запчасти для мотора не получены, а как прикажете ему доставлять стволы на лесопилку? Вот уже два года он дожидается черепицы для своей крыши. Члены кооператива недостаточно много работают, а председатель не в состоянии навести порядок. Во время страды мало работать по восемь часов, и как может ладиться хозяйство в целом, если из-за таких мелочей столько трудностей?

Среди бледных роз возле ограды появляется рыжий чуб Дитера Шрайбера. Андреасу уже поднадоели взрослые, и он смывается. Сперва, прыгая по ступенькам, он взбегает наверх в свою комнату за жвачкой, которую прилепил под доской комода. Спустившись вниз, он сталкивается в дверях черного хода с Рихардом.

— А, старый друг, — говорит Рихард. Они с силой трясут друг другу руки, Андреас даже вспыхнул от радости.

Рихард вдвое старше его, и стоит Рихарду сказать: «Может, мы еще сегодня вечерком сходим искупаться», для Андреаса этого «может» достаточно, чтобы битых два часа дожидаться у двери.

Время, в которое родился Рихард Домера, Андреас никак не может себе представить. Мать читает телеграмму, в телеграмме говорится, что ее муж умер. Так, как если бы Мум вдруг узнала, что Па… нет, это нельзя даже до конца додумать. Война, пожирая все на своем пути, добралась до города, где живет мать. Она берет на руки своего маленького сынишку и бежит по шоссе. Ребенок голодный, он почти совсем замерз. Мать замечает, что он уже едва дышит, тогда она вдувает ему в рот свое дыхание. И ребенок этот не какой-то там неизвестный, а Рихард, который стоит перед ним — сероглазый, светловолосый, загорелый. Андреас хотел бы стать таким, как Рихард.

Фрау Домера живет со своим сыном у Франца Кербе, в комнате, выходящей во двор. Она уже много лет собирает в лесу смолу. Каждое утро в четыре часа она выезжает из дому на

велосипеде. Мужчины сделали косые надрезы на стволах сосен. Они заметны еще издалека, кажется, что к каждому дереву приклеен большой рыбий скелет. Под средним надрезом висит что-то вроде цветочного горшка. Из раны на коре в него сочится липкая жидкость и затвердевает. Фрау Домера собирает горшки и выскребает из них смолу. Па один раз говорил с нею о разных сортах деревьев и об их соках. Андреасу так понравились названия, что он напевал их себе под нос: «Даммар… Копаль… Галипот… Сандарак…» Но фрау Домера, которая должна каждый день выскребать смолу из нескольких сотен горшков, при этом не поет. Она сказала:

— Это все ученые названия, куда лучше было бы что-нибудь изобрести, чтобы смола оставалась мягкой, это очень облегчило бы нам работу.

Мум, которая это слышала, попросила показать ей инструмент, которым выскребают смолу, и обещала подумать о том, как его усовершенствовать.

Когда они ехали сюда, Андреас спросил с укоризной:

— А где ваши подарки для фрау Домера?

В его чемодане лежит для нее картина, изображающая лес. Он каждый год рисует для нее одну или две такие картины, фрау Домера кнопками прикрепляет их к стенам своей комнаты. Андреасу смешно смотреть, как он рисовал в пять или шесть лет, но она любит все его картины.

Думая о фрау Домера, он видит перед собой большой фартук и пестрый головной платок. Ее лицо он вспоминает в последнюю очередь, потому что оно такое маленькое, да и вспоминает он не столько ее лицо, сколько улыбку. Андреас никогда не замечал, чтобы она воспитывала Рихарда. Никогда не слышал, чтобы кто-то из них повысил голос, все само по себе идет как следует.

— Мы хотели поиграть в прятки, — говорит Андреас. Какое-то мгновение он еще надеется, что Рихард тоже пойдет с ними.

— У нас хлеба созрели, молотить надо, — отвечает Рихард, — но, может, завтра сходим вместе, искупаемся.

Сперва их шесть, потом десять, а потом и двенадцать ребятишек. Чем меньше они видны в наступающей темноте, тем больше они хохочут и визжат. Андреас один из самых громких. Сперва он выискивал надежные укрытия: прятался за колоколом, в пустующей собачьей конуре у Кому-рыбы, между пожарным депо и кучей кирпича. Но теперь это уже ни к чему, они просто стоят вблизи водящего и при «двадцать пять — я иду искать!» ускользают, так и не узнанные. Девчонки пугаются. Они не хотят больше водить.

Выходят матери и зовут своих детей по домам.

Андреас еще раз заглядывает в старый сарай по соседству с двором Шрайберов. Играя в прятки, он видел, как оттуда вылетели летучие мыши. В сарае так темно, что приходится руками нащупывать перекладины стремянки. Он ложится на сено. Может, он привыкнет к темноте и сумеет потом разглядеть летучих мышей. Вдалеке стучит молотилка, но большинство хлебов еще не сжато.

В этом году он уже видел один раз хлебные поля, но тогда стебельки были еще серебристо-зеленые, а колосья совсем мягкие. В воскресный июньский день он вместе с мистером Джонсом гулял по меже. Этот день ему никогда не забыть.

Они ездили на машине, которую предоставило предприятие, где работает Па. Мистер Джонс, коммерсант из Англии, приехал закупать химикалии. Па должен был занять его в воскресный день, и ему пришло в голову показать англичанину окрестности Тарнова. Директор завода захотел узнать, какие достопримечательности имеются в Тарнове и как там обстоит с кооперативами. Гость ни в коем случае не должен пронюхать про низкую оплату трудодней, про полфунта масла на человека раз в десять дней. И лучше взять с собой пакет с апельсинами и бутерброды, чем заходить в какое-нибудь захудалое заведение.

Андреас случайно услыхал, как Па об этом рассказывал, и спросил:

«А можно мне тоже поехать?» — точно так же, как если бы он спросил: «А когда мне купят мотоцикл?» Но случилось чудо — Па взял его с собой. Мум из-за своей учебы должна была остаться дома и в воскресенье в пять часов утра, грустно взглянув на них, помахала им вслед.

А через два с половиной часа Андреас уже стоял на Пастушьей горе. Озера, тихие и ясные, лежали в своих земляных чашах, только посреди Гольдена, искрясь на солнце, двигалась цепочка волн. В небе кружили два коршуна, из бухты выскользнула рыбацкая лодка. Яркая желтизна рапсовых полей сменялась молодой зеленью лугов, на горизонте виднелись черно-белые коровы, ветерок обвевал лицо Андреаса. Неужели где-то есть Берлин, мощеные улицы и дома с сотнями окон?

Когда они гуляли по холмам, окружающим Гольден, мистер Джонс сказал:

«Многое человек теряет с годами, но для тех, кто любит природу, до конца жизни неизменной остается радость от встречи с ней. Мне даже кажется, что с возрастом эта радость становится интенсивнее».

Мистер Джонс мог об этом судить, у него были уже седые

волосы, а вокруг голубых глаз много морщин. Когда мистер Джонс говорил, Андреас смотрел на его губы, но понимал, только когда говорил переводчик.

Из травы и зарослей цветущего дрока взмывали в небо жаворонки. Их предостерегающие птенцов крики заполнили воздух. Напрасно Андреас искал на земле гнезда. Он видел, как жаворонки взлетали, но они были слишком умны, чтобы взлетать прямо с гнезда, сперва они немного плутали по траве.

В поле сидел заяц, только его уши торчали над стеблями. Жаворонок стрелой налетел на зайца и, казалось, стал щипать его за уши, покуда тот не обратился в бегство. Должно быть, он сидел слишком близко к гнезду. Даже мистер Джонс, заядлый охотник, ничего подобного никогда не видел.

На еловой ветке сидела белочка. Ни за что бы Андреас ее не обнаружил, если бы она не привлекла его внимания своим возбужденным «кс-кс». Он подошел поближе. Она осталась сидеть, сердито посмотрела на Андреаса, подняла лапки и задрожала всем тельцем: «Кс-кс»« Андреасу очень хотелось бы найти гнездо, он никогда еще не видел бельчонка.

Он побежал вслед за взрослыми, которые ушли вперед, но замедлил шаг, когда Па, не оборачиваясь, сделал: ему знак рукой.

За кустами стояла косуля. Что-то в ее взгляде и повадке сказало Андреасу, что она тоже защищает детеныша. Андреас точно заметил, где стояла косуля, и медленно пошел вперед. Вдруг толстый шофер расхохотался. Андреас, покраснев от злости, обернулся к нему, глянул назад и увидел, что косуля исчезла.

«Было бы замечательно, если бы мы обнаружили детеныша», — сказал мистер Джонс, блестя глазами.

Они втроем искали полчаса, покуда шофер и худой высокий переводчик сидели у холма. Возле них лежал галстук и пиджак мистера Джонса.

«По-моему, пора прекратить поиски», — сказал наконец Па, когда Андреас вылез из кустов.

«Нет, я еще поищу. И встречусь с вами в деревне».

Андреас услышал легкий шорох. В траве прошмыгнула ящерица. Он наклонился, она исчезла в кустах. Он раздвигал ветки, даже не чувствуя, как колючки впиваются ему в кожу.

Перед ним в гнезде из травы лежал косуленок. Это был самый прекрасный и самый трогательный новорожденный младенец, какого Андреасу приходилось видеть. Мать уже начисто вылизала его, один бок был еще влажный. Голову он держал набок, наверно, был еще слишком слаб, чтобы держать ее прямо. Косуленок был совсем крохотный. Отчетливо видны были белые

точки на коричневой спинке, шкурка отливала шелком. И вдруг, словно почуяв приближение Андреаса, детеныш поднял голову и без малейшего испуга взглянул на него большими темными глазами. Ведь это было его первое утро на свете, что он мог знать плохого? Если бы сейчас пришел волк или лиса, Андреас голыми руками стал бы защищать жизнь маленького косуленка.

Но он не дотрагивался до малыша. А вдруг из-за прикосновения человека мать бросит детеныша на произвол судьбы? Андреас тихо сидел под низко нависающими ветвями.

Потом он привел остальных посмотреть на младенца.

В деревне цвели яблони и над серой каменной оградой церковного двора нависла пышная лиловая сирень.

По деревенской улице они шли очень долго, потому что им то и дело встречались знакомые, которые приветствовали Па и его гостя. Мистеру Джонсу хотелось о каждом, кто с ними разговаривал, хоть немного узнать, а так как он никогда в этих местах не бывал, то одно объяснение влекло за собой другое.

Они катались по озеру на лодке, и мистер Джонс начал мечтать о том, чтобы провести месяц на этих тихих озерах.

Под вечер они пошли к Кербе пить кофе. Перед тем как фрау Кербе внесла пирог, Андреас хотел показать мистеру Джонсу комнату, где они живут летом. Они по двору прошли к черному ходу и вошли в кухню фрау Домера. Оттуда лестница вела на чердак. Кухня была выложена неровными желтыми кирпичами, в углу помещалась угольная плита, над ней на веревке сушилось тесто для лапши. Рядом стояла новенькая стиральная машина. Из-под плиты торчали деревянные башмаки фрау Домера. Между башмаками примостилась кошка. К стене был прислонен велосипед, на котором фрау Домера каждый день ездит в лес.

Андреас заметил, что переводчик нахмурился. Фрау Домера вышла к ним из комнаты, которая была много меньше кухни. Почти все место занимали две кровати. Над кроватями висела картина, изображавшая Иисуса на кресте. А над ней, как стенной фриз, — лесные пейзажи Андреаса.

Фрау Домера крепко обняла Андреаса, который просто повис у нее на шее, и лишь потом поздоровалась с гостем. И тут вошел Рихард. В старой, заляпанной краской спецовке, с грязными руками.

— Мой сын только раз в две недели приезжает домой на субботу и воскресенье, — как бы извиняясь, сказала мать, — и дел у него не обобраться. Вот сейчас он покрасил мне сарай.

Андреасу это было известно. Когда Рихард бывал дома, он чистил свинарник, рубил дрова, удобрял огород и пахал землю

под картошку.

— Ваш сын еще где-нибудь работает? — вежливо осведомился мистер Джонс.

— Изучает кибернетику в Берлине.

Переводчик перевел.

Мистер Джонс окинул взглядом ржавые спицы велосипеда, тесто для лапши и деревянные башмаки.

— Кибернетику… — повторил он.

У Кербе на столе стоял высокий «мраморный» кекс, клубничный торт, хлеб и мед домашней очистки. Щеки фрау Кербе цвели, как цветы на ее платье, оба ее сынишки были мокрым гребешком причесаны на пробор.

Господин Джонс похвалил пирог, но еще больше он хвалил мед. Разговаривал он главным образом с Францем Кербе, после того как выяснилось, что оба они страстные филателисты. Но в этом разговоре выяснилось и другое: полфунта масла, плохо оплачиваемые трудодни…

Переводчик опять нахмурился. Он все расскажет директору завода, подумал Андреас и обеспокоенно взглянул на отца. Но Па как ни в чем не бывало сидел и слушал. Иногда даже кивал.

Господин Кербе достал свои альбомы с марками, фрау Кербе заварила свежий кофе, непоседливые мальчишки убежали гулять, Па сдвинул свою чашку с золотым ободком на вышитую на скатерти мельницу. И наконец сказал:

— У нас есть гораздо бóльшие трудности, чем эти неурядицы маленького кооператива.

Он описал эти трудности, объяснил, отчего они происходят, и — Андреас даже не заметил, в какой момент он начал этот разговор, — Па заговорил о еще гораздо больших трудностях, которые «мы уже преодолели», и о многих важных вещах, «которые нам еще только предстоят».

Мистер Джонс уже довольно давно держал на коленях открытый альбом с марками, но смотрел только на Па.

— Интересно, очень интересно, — так часто вставлял он, что Андреас уже начал понимать по-английски. «Very interesting».

Па между тем заговорил о людях, о том, как они уже изменились и как еще должны измениться.

— У вас действительно нет больше расовой ненависти? — спросил вдруг мистер Джонс.

Па, видимо, удивился, он ведь говорил совсем о других вещах, и Андреас воспользовался паузой, чтобы спросить:

— А что такое расовая ненависть?

— Вот вам и ответ, — сказал Па.

Разговор продолжался. Под конец мистер Джонс сказал, что

никогда еще подобных разговоров не вел и что особенно он благодарен Па за его откровенность.

— Когда тебе преподносят все только в розовом свете, ты как-то этому не веришь, — сказал мистер Джонс. — Я чувствую, что страна ваша — честная и мужественная и с такими людьми, как вы, сможет многого добиться.

Андреас вспомнил о Мум, которая сидела дома и училась. Ему стало ее жалко. Как только мистер Джонс умолк, он сказал:

— Плохо, что Мум здесь нет. Она бы вас положила на обе лопатки.

На мгновение воцарилась тишина, потом все рассмеялись. Шофер, еще не успевший проглотить кусок пирога, подавился, и даже переводчик, у которого перед тем по лицу градом лился пот, улыбнулся. Андреас решил, что они все сдурели. То, что он сказал, верно. Но ведь это только так говорится, потому что Мум, наверно, вдвое меньше мистера Джонса. Этот рассмеялся несколько позже, когда ему перевели, и заговорил с Андреасом о школе. Увы, тут стало известно и о плохих отметках по математике и русскому языку. Переводчик окончательно успокоился и стал хвастаться своей дочкой, которая успевала по этим предметам. Шофер тоже начал распространяться о своих вундеркиндах.

Чтобы положить этому конец, Андреас спросил:

— У вас есть сын? Или внук?

Теперь только недоставало, чтобы это оказался очень талантливый ребенок.

— У меня был сын.

Больше мистер Джонс ничего не сказал, но все поняли, что это значит. В комнате стало тихо.

— У меня было два брата… — еле слышно произнес шофер.

— Мой отец… — сказал переводчик.

Андреас смотрел в пол.

Взрослые убивали друг друга… Почему… почему? Неужели зло было такое большое, что с ним можно было покончить, только убивая?

Неужели не нашлось достаточно разумных людей, которые были за то, чтобы самую жестокую ссору уладить без смертоубийства? И как он может уважать взрослых, если они не прекратили этого?

Он смерил их взглядом, всех по очереди, и они это заметили.

— Это не должно повториться, — сказал мистер Джонс.

— Если бы это зависело от нас… — сказал Франц Кербе.

— Это зависит от нас… — сказал Па.

Андреас лежит в сене и мерзнет. Может, от воспоминания об этом разговоре, а может, на дворе похолодало.

Молотилка смолкла, в деревне все тихо. Мимо проносятся летучие мыши. Мало-помалу он начинает согреваться в сене. Сильно растирает себе голую руку выше локтя и прижимает ее к носу. Кожа пахнет кремнем. Ему это приятно.

Сколько он сегодня пережил, и все за один день!

Андреас слышит шаги. Тихие мужские голоса. Наверно, возвращаются от Распутина? Но те, кто вечером выходят из пивной, говорят обычно громче. Голоса удаляются. Скрипит дверь, теперь еще тише, чем было, — и вдруг, первый удар колокола. Андреас вскакивает и затыкает уши.

Неожиданно он понимает, почему звонят колокола. Выбравшись из сена, он спускается вниз. Луна стоит рядом с облаком, за деревьями мерцает Тарновское озеро.

Андреас перелезает через деревянную решетку на церковный двор. Отчетливо видны раскачивающиеся колокола. Это звонят три сына фрау Шрайбер.

Андреас, как обещал, тоже хватается за колокольный канат. Четвертый сын, Иоганн, лежит неизвестно где, А мистер Джонс знает, где его сын?.. Но это все равно, знать или не знать, мертвый есть мертвый.

На этот раз Андреас не услышал, как скрипнула дверь, рядом с ним вдруг оказывается Дитер, он тоже помогает звонить. Дитер не плачет, он ведь знал, что прабабушка при смерти.

Наверху, в чердачном окне у Кербе, там, где живет Андреас, зажигается свет. Наверно, Мум беспокоится о нем, уже поздно, но она знает о его обещании. У него устали руки. На каникулах ему разрешается забираться в постель к Мум. Сегодня он хочет заснуть с ней рядом.

День был чудесный, и завтра опять будет такой же. Андреасу хочется жить долго-долго.

Перевод Е. Вильмонт.

notes

Примечания

1

В русском переводе: «Соня рапортует. Подвиг разведчицы». М., «Прогресс», 1980.

2

Рут Вернер. Соня рапортует. Подвиг разведчицы. М., «Прогресс», 1980, с. 131, 147, 149.

«Ваймарер Байтреге», 1979, № 9, с. 121.

4

Рут Вернер. Соня рапортует. Подвиг разведчицы. М., «Прогресс», 1980, с. 165.

5

Цит. по кн.: *Л. Г. Винницкий.* Бойцы особого фронта, Л., Лениздат, 1980, с. 5.

6

Райнер Мария Рильке. «Слова перед сном» (из «Книги образов»). Перевод В. Куприянова. — *Здесь и далее примечания переводчиков.*

7

Перевод В. Куприянова.

8

Стихи здесь и далее в переводе А. Гугнина.

9

Намек на известный архитектурный памятник — наклонную «падающую» башню в итальянском городе Пизе.

10

Болезнь представляет собой комбинацию четырех врожденных пороков: сужение легочной артерии, дефект перегородки между желудочками, декстропозиция аорты и гипертрофия правого желудочка. Название дано по имени французского врача E. L. A. Fallot.

11

DEFA — немецкое объединение киностудий (ГДР).

12

Район Берлина.

13

Объединение Свободных немецких профсоюзов.